

радуго

9-10'2018

ISSN 0131-8136

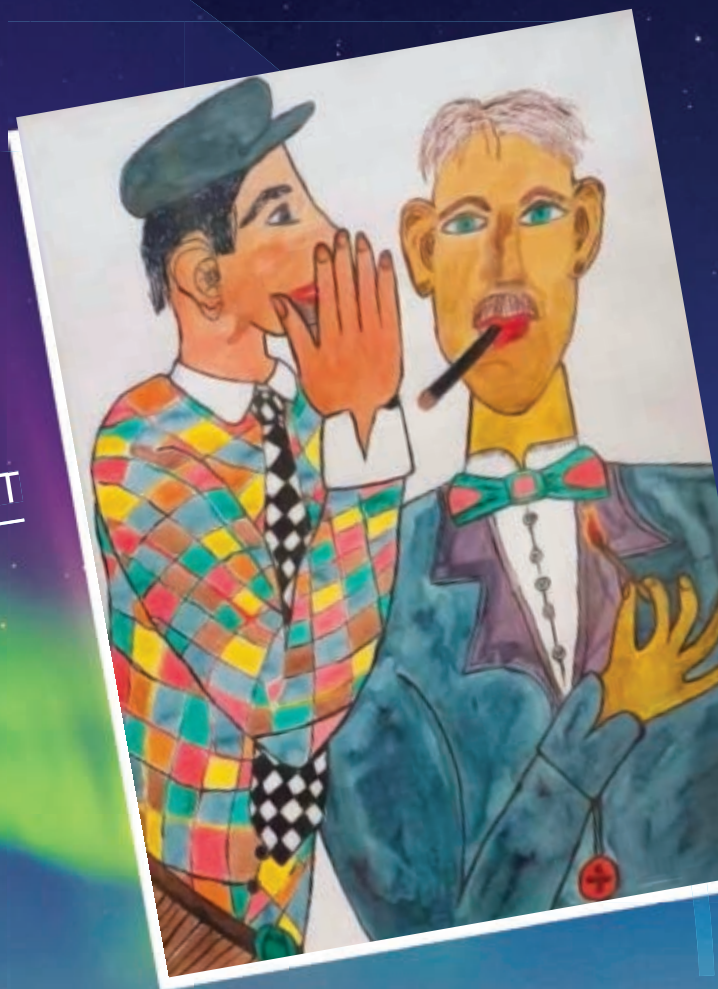
Рассказы
Ульи Новы, Полины Жеребцовой, Аси Петровой, Ованеса
Азнауряна, Сергея Акчурина, Александра Володарского

Александр Лозовский
НОЧНОЙ РАЗГОВОР
С МАРИНОЙ
Лирическая трагедия

Владимир Звизняцковский
ВСЕХ ПРИМИРИТЬ,
СПАСТИ И
ОСЧАСТЛИВИТЬ: ИВАН
ТУРГЕНЕВ. УЖЕ 200 ЛЕТ

Андрей Дмитриев
ПРЕДЧУВСТВИЕ
СТАМБУЛА

Марианна Гончарова
И ПАРОМ ПЛЫВЕТ...



Одесская международная литературная премия имени Исаака Бабеля'2018.

Церемония награждения



рагуга

Журнал художественной
литературы
и общественной мысли

Выходит с 1927 г.

9-10'2018

ПРОЗА

Улья НОВА.

Аккордеоновые крылья.

Рассказ 17

Полина ЖЕРЕБЦОВА.

Зайна.

Рассказ 30

Ася ПЕТРОВА.

Вратарь по жизни.

Рассказ 37

Ованес АЗНАУРЯН.

Давидовы сны.

Рассказ 47

Сергей АКЧУРИН.

Место, где были сны.

Рассказ 64

ПОЭЗИЯ

Виктор ШЕНДРИК 3

Инна ЛЕСОВАЯ 72

Андрей КОРОВИН 115

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

Александр ЛОЗОВСКИЙ.

Ночной разговор с Мариной.

Лирическая трагедия 89

КОНКУРСЫ, РЕЙТИНГИ

Премия Бабея. Продолжение 13

Премия Бабея. Третий сезон 204

УКРАИНСКИЙ МИР

Юрий КОВАЛЬСКИЙ.

Надо побеждать каждый день 123

К	и	е	в
2	0	1	8



МИР ВОКРУГ

Андрей ДМИТРИЕВ.

Предчувствие Стамбула 136

Марианна ГОНЧАРОВА.

И паром плывет... 140

ЛЮДИ И КНИГИ

Владимир ЗВИНЯЦКОВСКИЙ.

Всех примирить, спасти и осчастливить:

Иван Тургенев. Уже 200 лет 169

Рецензии. Впечатления

Ирина КАРПИНОС.

Между волком и собакой 206

Элла ЛЕУС.

Неприкаянные и окаянные серые пчелы 208

Владимир СПЕКТОР.

Реальность, как роман 210

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ

212

ШУТКИ В СТОРОНУ

Александр ВОЛОДАРСКИЙ.

Гоголя вызывали? 217

АВТОРЫ НОМЕРА

4, 16, 29, 36, 46, 63, 71, 88, 114, 216

Наблюдательный совет:

Андрей Снегирев, Владимир Булавин

Главный редактор Юрий Ковальский

Редколлегия: Галина Биленко, Дмитрий Бураго, Александр Володарский, Андрей Грязов, Андрей Дмитриев, Давид Дубинский, Марина и Сергей Дяченко, Валентина Ермолова, Владимир Звизняцковский, Владимир Каденко, Владимир Казарин, Петр Катериничев, Анатолий Крым, Андрей Курков, Анна Мережинская, Андрей Миллер, Олег Приходько, Ким Снегирев, Марина Туманова, Сергей Черепанов

Художественно-технический редактор *Татьяна Ильченко*

Корректор *Людмила Гребельник*

Верстка *Алексея Биленко*

На обложке рисунки из альбома арт-студии Клавдии Боголюбовой

«Мне это рассказал Исаак Эммануилович...»

1-я стр. — *Андрей Боголюбов, 15 лет, рассказ «Король»,*

4-я стр. — *Елизавета Гоян, 15 лет, расказ «У бабушки»*

Издатель: ООО «Журнал «Радуга»

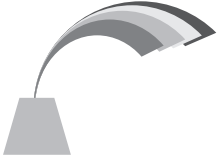
Свидетельство о регистрации: серия КВ № 730 от 16 июня 1994 г.



Виктор ШЕНДРИК

* * *

И недописана строка,
И недопроедена дорога.
Ни ветерка, ни сквозняка,
Ни вопреки, ни ради Бога.
Еще отбрасываю тень,
Еще готов пуститься в шашни,
Но завтрашний, далекий день
Не мил мне так, как день вчерашний.
Я им клеймен, вчерашним днем,
Там все понятнее и ближе.
И даже небо было в нем,
Не важно — выше или ниже.
Всего и вспомнить не берусь,
Но были окна нараспашку,
Случайных губ случайный вкус,
И белою была рубашка.
Все так, да ухмылялся Бог,
Когда я умолял о вдохе,
И развлекался Он как мог,
В узлы стянув мои дороги.
Хитросплетение узлов —
Кто с Ним за это поквитался?
И я спешил судьбе назло,
И в то же место возвращался.
Ну что ж? Крути, Старик, крути.
Морочь бродягу и поэта.
Коль недопроедены пути,
То, знать, и песенка не спета.



АВТОРЫ НОМЕРА

Виктор ШЕНДРИК. Стихотворения.



Виктор Шендрик родился в 1956 году. Прозаик, поэт. Автор двенадцати книг. Печатался в периодике, коллективных сборниках Украины, Бельгии, Германии, России. Лауреат литературных премий им. Виктора Шутова, им. Татьяны Снежиной, им. Владимира Даля, журнала «Радуга», дипломант премии им. Максимилиана Кириенко-Волошина. Победитель международного конкурса юмористической прозы и поэзии «Жизнь прекрасна» (Германия). Живет в городе Бахмут.

Виктор ШЕНДРИК



* * *

Позади — ничего. Пустота наступает на пятки.
Ни смазливых стихов, ни удачно оброненных слов.
Я не тешусь былым, я от бездны бегу без оглядки,
Чтобы глянуть поверх запрокинутых к Богу голов.

А вокруг шелестит с тормозов соскочившее время,
Время лжи и амбиций, дешевых искусов и смут,
Время новых боев и разборок то с теми, то с теми,
Где в кровавых соплях выползает на свет самосуд.

Мне пригнуться в нырке, уклониться удастся едва ли,
Но из чаши по кругу не так уж и страшен глоток.
Если мне суждено на веку своем петь пасторали, —
Не сейчас, не сейчас, когда болью пронзает висок.

Это горький удел — в панихидах оттачивать голос,
Но иначе нельзя. Уж такая досталась страда.
Мы еще попоем, расслюнявсь, разнежась, расхолясь,
А пока за спиной — пустота, пустота, пустота.

* * *

В плену смятения и лжи,
Среди гирлянд бумажных
Слабеет зрение души
Обыденно и страшно.

На перекрестке зрелых лет
Я сам изведаль это:
Как, спохватившись, ищут свет,
Когда не стало света.

Я сам топил в стакане страх
И взбрыкивал, пижоня,
Но был зависим каждый шаг
От шарящей ладони.

Я славословил, матеря,
И ухмылялся, плача...
Идущий без поводья —
Увы, еще не зрячий.



От воровства до простоты
Легли круги порока,
Где за забралом слепоты
Чужая боль чужой беды
Мелка и не жестока.

* * *

Не стращали меня Колымой и расстрелом,
Я не вытек из вспоротых вен,
И приятель, поэт, упрекнул, между делом,
В том, что я, мол, боюсь перемен.

Я кивал ему в тон, соглашался для вида,
Так уж принято в нашей среде,
И кололо под сердцем не то чтоб обида,
Но сомненье в его правоте.

Век юродив и юн, он сегодня на марше.
Всё — не так, те — не те, тот — не тот...
Но не в счет антураж. Если мы стали старше
И глупей — это тоже не в счет.

Но бесправен народ, чем тебе не в двадцатом!
На чеку не нужда, так напасть.
Льется кровь, журавлями взмывают солдаты,
И жиреет чванливая власть.

Если горя вокруг — разливанное море,
Запустение в душах и тлен,
С обезумевшим веком, я каюсь, не спорю,
Я не вижу ни в чем перемен.

Вот и бить, как и прежде, сподручнее в спину.
Как веки, бесчестному — плюс.
Этой жизни давно отломав половину,
Я уже ничего не боюсь.

Нас все так же морочат глумливой сказкой,
За семь бед сочиняя ответ,
И все так же верхами поэт не обласкан.
Это — к счастью, пока он поэт.



Мой приятель — поэт без лубочного глянца.
У него что ни слово — кремень.
Я готов подыграть, я согласен бояться,
Но не вижу я их, перемен.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вам случалось возвращаться до рассвета
И спускаться в мрак из теплого вагона,
Чтобы, смяв комок ненужного билета,
Ощутить собой устойчивость перрона?
И встречает в напряжении бессонном,
Желтой патокой лучей бесстрастно залит,
Городской вокзал, где флора по вазонам
И бельмо телеэкрана в дальнем зале.
Поведут меня неровные ступени
Мимо сквера привокзального с оградой.
Этот город за дорожные волнения
Подступил ко мне желанною наградой.
Уезжал я — здесь всю пылала осень,
Не матерая, а в самой ранней фазе,
А теперь уже вокруг газонов проседь,
И снега готовы рухнуть в одночасье.
Город холодом встречает, город занят.
Пробивают темень первые машины
И слепят глаза горящими глазами,
И ворчат, распространяя чад бензинный.
И саднит в груди от первой сигареты
Или, может, от последней этой ночью.
Фонари не в силах справиться с рассветом,
Расплываются и меркнут обесточив.
Накреньясь над тротуарами, пустеют,
Гасят свет многоэтажные громады,
И хранят тепло оставленных постелей
Лица встречные с пронзительностью взглядов.
Может, день с утра задастся не для многих,
Уведет в тупик с продуманного курса...
Дай им Бог познать напраслину тревоги!
Дай им Бог...
А мне не надо.
Я вернулся.



* * *

Как твой голос пьянит,
я не внемлю, я пью его звуки.
Нет, не так уж и зла
эта вздорная дама — судьба.
Только ты не спеши,
задержи на висках моих руки.
Мне теперь так нужна,
мне уже не страшна ворожба.
Мне уже не страшны
эти дни — будто очередь к плахе.
Как ни валят снега,
но к реке зажурчат ручейки.
Только ты не спеши
ни в ресниц вопросительном взмахе,
Ни во взмахе прощальном
едва отогретой руки.
Вот и валят снега,
торопясь оправдать обреченность.
И поди разберись,
что на свете к беде, что к добру.
Я немножко влюблен
и немножко играю влюбленность,
Чтоб твой голос пьянил,
как награда за эту игру.

* * *

Нанесет, навалится, накатит...
Что ни день, то новая печаль.
Будто отутюженную скатерть
Соусом залили провансаль.
Я в невзгодах не такой и хлипкий,
Но хожу мрачнейшей из теней,
Потому что без твоей улыбки
Дни мои бездарней и черней.
Но нелепой, призрачной и глупой
Обернется всякая гроза,
Если отзовутся, дрогнут губы,
Заискрятся радостно глаза.



Пусть судьба ловчей боксера-тайца
Бьет — мол, не бывать мне на плаву.
Пустьяки! Ты только улыбайся,
Остальное я переживу.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВНУКА

Баю-бай... Вспоминаю я древний напев.
Баю-бай... Ну, а как же иначе?
Так и дед твой ступал в этот мир, оробев,
Маскируя смятение плачем.

Ты поспи, ты доверься моей седине.
Не ровен час — не дай Бог, разбудят
Сообщить, что неладно и страшно в стране,
Так устроили взрослые люди.

Но история вправе осмыслить маршрут
И свернуть с пресловутой спирали.
Я надеюсь, что дедов когда-то почтут
Не за то, что они воевали.

Я надеюсь, беда стороной обойдет
Моего повзрослевшего внука.
Он и сам разберется: а жизнь, хоть не мед,
Но довольно занятная штука.

Вот и дед разворчался — не угомонишь,
Лучше взял бы поправил пеленки...
Баю-бай... Набирайся силенок, малыш,
Пригодятся, поверь мне, силенки.

ОПЕРАЦИЯ

Не в солярии, не на сцене,
Здесь распластан я на спине.
Ну-ка, Ангелы, кто на смене,
Поторапливайтесь ко мне!

Не растечься бездарно в слякоть
Помогите, вам по плечу.
Ну, а если... бывает всяко...
Вместе с вами и возлечу.



Жаль, во взлете не много проку,
 В стае вашей вакансий нет.
 Доктор — все утверждают, дока —
 Обещает немало лет.

Иглы в вену — не в сердце шило.
 Пустят кровушку — не почин.
 Это что ж там замельтешило?
 Крылья? Крылья! Я не один.

Может, день обернется датой,
 Значит, вдовый не слышать вой.
 Глуше... Сумрачней... Все куда-то...

 Больно... Лица... Светло... Живой!..

СБИТЫЙ ЛЕТЧИК

Все дотошней, преснее, четче
 Шорох дней и постылей быт.
 Хорохорится сбитый летчик,
 Он не знает еще, что сбит.

Он заходит в кафе напротив,
 Капучино пьет под суфле
 И уверен, что он в полете,
 Просто временно — на земле.

И уверен, и верит в небыль,
 Где безмолвствует суд людской,
 Где за небом есть только небо,
 А до Бога — подать рукой.

Ох, избита сия реприза!
 Он напрасно ей занемог.
 Непростительна к Богу близость —
 Панибратства не любит Бог.

Пусть же вера ему зачтется,
 Пусть легко его отзнобит
 В час урочный, когда очнется
 И узнает о том, что сбит.



Сбит он, сбит и уже не сможет
Над бетонкой убрать шасси...
Будь к нему милосерден, Боже,
Покарай его! И спаси!

* * *

Отлетели тоска и зевота.
Ну, давай же, Facebook, не тяни!
Кто-то выложил старые фото,
А на них — довоенные дни.

А на них, в жанре общего снимка,
Хороши, беспечальны, дружны,
Мы сидим, мы стоим... Мы в обнимку
И еще не теряли страны.

Про такое не стали б и слушать,
Что придет под окошко беда,
Чтобы наши и степи, и души
Беспардонно делили фронта.

Мы теперь кто «укропы», кто «вата»,
Развалилась «большая семья».
Как привычно искать виноватых,
Если слепо уверен: не я!

С кем дружил, с кем курил я когда-то,
Все на снимке. И пристален взгляд:
Виноват, виноват, виновата...
Ну а я разве... Да, виноват!

Можно прятать глаза: мол, не в теме
Или глуп, или дни сочтены.
Если жил в это подлое время,
Никуда не уйти от вины.

Мы сегодня кто «падлы», кто «суки»,
А на снимке — улыбчивый ряд...
Но когда-нибудь вырастут внуки
И огулом нас всех не простят.



* * *

Хочу еще, неясно и несмело,
К друзьям входить в дома.
Хочу чутья души, сноровки тела
И ясности ума.

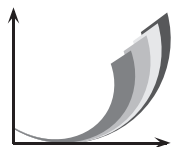
Хочу Небес не разбазарить милость
В осуществленья дел,
И чтоб сбьлось или легко забылось,
Чего бы ни хотел.

Хочу не слышать даже дальних взрывов.
И вот не обману —
Успеть увидеть хоть чуть-чуть счастливой
Хочу свою страну.

Ни в папский хор, ни к Богу на поруки,
В ногах — земная твердь!
Ох, эта прядка, эти губы, руки...
Чего еще хотеть?!

Апрельских блюзов, Покровов багрянца,
Не адова огня...
Еще хочу ни века не бояться,
Ни завтрашнего дня...





ПРЕМИЯ БАБЕЛЯ



ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вот уже историей стало и проведение второго сезона Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля. Конечно, хочется сравнить его с первым — 2017 года. В этот раз больше участников. Тогда было 228, теперь — 390. Шире география. В прошлом году свои работы прислали авторы из 16-ти стран. Сейчас — из 26-ти. Назовем их: Австралия, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия.

У членов жюри после первого сезона, вероятно, прибавилось опыта, но тем не менее, было труднее. Ведь возросло число текстов высокого уровня. Так что в лонг-лист после долгих раздумий включили произведения 92 авторов. Еще более жаркие споры были, когда определяли шорт-лист. В него вошли со своими рассказами 26 авторов. Вот они (фамилии размещены по алфавиту):

1. Азнавурян Ованес (Армения);
2. Акчурин Сергей (Россия);
3. Березин Владимир (Россия);
4. Волкова Светлана (Россия);
5. Волос Андрей (Россия);
6. Гептинг Кристина (Россия);
7. Гербер Денис (Россия);
8. Грановский Алексей (Канада);
9. Долгопят Елена (Россия);
10. Жеребцова Полина (Финляндия);
11. Каденко Владимир (Украина, Киев);



12. Козаченко Евгений (Россия);
13. Курилко Алексей (Украина, Киев);
14. Лидский Владимир (Кыргызстан);
15. Матковский Максим (Украина, Киев);
16. Петрова Ася (Россия);
17. Полюга Михаил (Украина, Житомир);
18. Резник Владимир (США);
19. Рязанцев Сергей (США);
20. Сапрыкина Татьяна (Россия);
21. Талалай Наталья (Украина, Киев);
22. Товбин Павел (США);
23. Ульянова Мария (Латвия);
24. Феденко Александр (Россия);
25. Черепанов Сергей (Украина, Киев);
26. Эйснер Владимир (Германия).

Кстати, напомним членов жюри: Андрей Дмитриев (председатель), Валерий Хаит, Андрей Малаев-Бабель, Борис Минаев, Сергей Махотин, Юрий Ковальский.

В итоге они определили победителей, которых объявили как и в прошлом году в Золотом зале Одесского государственного литературного музея.

Среди почетных гостей на праздничной церемонии были Михаил Жванецкий, победитель премии им. И. Бабеля 2017 года Марианна Гончарова, автор главного приза премии — «Колесо судьбы» — художник и скульптор Михаил Рева. Звучала музыка в исполнении саксофониста Игоря Знатокова.

Подводя итоги второго сезона премии, внук писателя Андрей Малаев-Бабель сказал: «С огромным волнением два года тому назад я узнал о том, что создается литературная премия имени Бабеля, и мне очень приятно, что я стал одним из членов жюри, потому что, конечно же нужно осуществлять какой-то «контроль за качеством», нужно, чтобы все было по «гамбургскому счету». И действительно, премия Бабеля в хороших руках».

А вот слова Марианны Гончаровой: «Какое счастье, что Исаак Бабель собирает второй год здесь, в этом храме большой литературы людей одной системы символов, практически тайный орден тех, кто понимает разницу между плохим и хорошим, добрым и злым, красивым и уродливым».

Итак, назовем тех, кто победил в этом году.

Дипломантами стали Ася Петрова (рассказ «Вратарь по жизни»), Улья Нова (рассказ «Аккордеоновые крылья»), Полина Жеребцова (рассказ «Зайна»), Максим Матковский (цикл коротких рассказов «Пиво, женщины и другие проблемы»).

Третье место за рассказ «Давидовы сны» присуждено Ованесу Азнауряну. Второе — Владимиру Каденко за рассказ «Дежурный по школе». Первое место и приз «Колесо судьбы» у Сергея Акчурина за рассказ «Место, где были сны».

К 110-летию со дня рождения Исаака Бабеля и церемонии награждения лауреатов премии был выпущен альбом детских рисунков арт-студии Клавдии Боголюбовой «Мне это рассказал Исаак Эммануилович...». Юные художники сами вручили экземпляры альбома со своими автографами лауреатам и дипломантам, членам жюри, почетным гостям. На 3 стр. обложки этого номера мы поместили ряд работ из этого альбома.



* * *

Рассказы лауреатов премии Ованеса Азнауряна и Сергея Акчурина и дипломантов — Аси Петровой, Улья Новы и Полины Жеребцовой публикуем на страницах этого номера. А рассказы Владимира Каденко и Максима Матковского в «Радуге» были напечатаны раньше — соответственно в № 3–4'2018 и № 5–6'2018.

* * *

Также в этом номере информация о следующем — третьем сезоне Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабея (см. стр. 204).





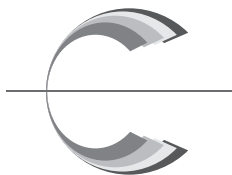
АВТОРЫ НОМЕРА

Улья НОВА. Рассказ «Акордеоновые крылья».



Улья Нова — псевдоним Марии Ульяновой. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького. Автор книг «Инка», «Лазалки», «Собачий царь», «Акордеоновые крылья». Рассказы и повести публиковались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Литература», «Этажи», «Новый Свет» и других. В настоящее время живет в Риге.

Улья НОВА



Улья НОВА

АККОРДЕОНОВЫЕ КРЫЛЬЯ

Рассказ

До 15 мая распорядок дня Антонины можно было бы без труда вписать в страничку небольшого блокнотика на пружинке. Просыпаясь, через несколько секунд она вспоминала, что живет в Москве, в две тысячи таком-то году. С этого начинались все ее неприятности. Ей-то хотелось бы жить в глубинке, в начале 50-х. Чтобы в доме был патефон. И каменный кусковой сахар, который надо колоть щипцами. Чтобы на кухне был буфет и в нем — тонюсенькие фарфоровые блюдца, из которых, закутавшись в шаль, неторопливо прихлебываешь чай. А еще чтобы в комнате была железная скрипучая кровать с пуховой периной, вязанное крючком покрывало, скатерть и кружевная салфеточка — на радиоле. Чтобы был еще жив Сталин, но совсем скоро должен был умереть. Но главное, самое главное, чтобы все в ее жизни происходило в три раза медленнее: и труд, и отдых, и увлечения, и взаимность.

Вспоминая рано утром, что родилась не в том месте и не в то время, Антонина страдала. Утопая в белом, она отчаянно и упрямо рассматривала потолок, будто ожидая, что на нем проступит подсказка: как же жить дальше. Ей совершенно не хотелось отрываться от подушки и тем более — выходить на улицу, в непонятное время и в малопригодную для ее процветания местность. Поэтому каждое утро она отчаянно придумывала какие-нибудь вселяющие надежду и бодрость слова, чтобы обмануть себя, пересилить тяготение матраца и все же вырваться из постели в этот чуждый и пугающий мир. Антонина знала: правильные утренние слова будут действовать до самого вечера. Тогда наступающий день станет плодотворным, ознаменуется приятными событиями и всякими неожиданными удачами. Ей казалось, что утренние слова лучше обновлять и освежать раза три в неделю. И внимательнее проверять их действие опытным путем. Если день



удался, значит, слова были подобраны верно. Если же день сложился дрянной и унылый, значит, что-то было напыщенно или фальшиво сказано. Или произнесено слишком тихо, ведь громкость утреннего лозунга создает силу, необходимую для выхода в вертикальное положение и совершения последующего бодрствования. Именно громкость утренних слов заряжает тело дозой надежды на складный день, чтобы его захотелось прожить.

Иногда Антонина шептала, как когда-то в детстве мать, пытаясь добудиться ее перед школой: «Вставай, Тонюшко». Или восклицала голосом давно почившего диктора, бубнящего радиопьесу: «Пробуждайся, человечество, тебя ждут великие дела!» Иной раз она по-армейски хлестко оглашала на весь подъезд: «Итить была команда!» Частенько кокетливо мурлыкала самой себе: «Чай с пирогами!» Или тягостно, как ныне почивший дэзовский газовщик, выдыхала: «Будет день, будет и песня!»

Подзарядившись таким нехитрым образом, Антонина нехотя скидывала толстые белые ноги с постели. Прислушиваясь, не капает ли кран, она сидела огромной расплывшейся глыбой на краешке кровати в ночной рубашке с кружевами и лютиками. И соображала, как именно ей следует жить дальше. В теле Антонины было слишком много жира, ее сосуды были выстланы толстым слоем чуть теплого топленого масла. Мозг Антонины не справлялся со сложными вопросами и буксовал вхолостую. Как исправить ошибки и решительно встать у штурвала своей жизни, Антонина не представляла. Это ее расстраивало и сердило, она всхлипывала от отчаяния и через миг-другой начинала испытывать необъятное чувство голода.

Завтракала Антонина всегда с большим удовольствием. Она ела огромную тарелку манной каши с поструганной туда шоколадкой, уплетала толстенный бутерброд со сливочным маслом и пошехонским сыром, как в детском саду. Она ежедневно выпивала пол-литровую супницу горячего какао с четырьмя ложками сахара. А сыр отрезала по старинке, большим и острым, слегка заржавелым по краешку ножом. Прижимала кирпичик сыра к текучим грудям и медленно отделяла от него толстый широкий ломоть. Антонина завтракала всегда неторопливо, под звуки задумчивой фортепианной музыки из радио. Это подкрепляло ее силы. И скоро она чуть смелее смотрела за окно на улицу. Потом спохватывалась и устремлялась к вешалке с коричневым костюмом в клеточку: пиджаком и юбкой. А под пиджак всегда надевала белую блузочку с оборками на груди. Грудь Антонины была непомерно велика. Лифчики на такую не лезали. А то, что натягивалось с пытением и охами, называлось бюстгальтерами, их приходилось шить на заказ в ателье, возле заправки. Талии у Антонины никогда в жизни не было, на ее боках висели большие складки, необходимые человеку в условиях вечной мерзлоты и оккупации, но бесполезные женщине в мирное время. Зад Антонины показался бы великоватым даже любителю больших и богатых задов. И даже любитель монументальных задов скорее всего пустился бы от такого наутек. Поэтому Антонина всегда внимательно оглядывала стул, кресло или табуретку, прежде чем опуститься. Она очень боялась придавить какое-нибудь маленькое или среднее безобидное существо. Она вообще очень любила все живое, и опасалась как-нибудь ненароком его обидеть. Поэтому подоконники были уставлены большими горшками и маленькими горшочками с фиалками, каланхоэ и фикусами, которые Антонина принимала в подарок, подбирала в подъезде, забирала после умерших соседок и, не решаясь выбросить, оставляла у себя. Еще с ней жили две найденные во дворе кошки: рыжая



и трехцветная. Но, вразрез с приметами, это не приносило ни денег, ни счастья. Зато натягивание колгот ежедневно отнимало у Антонины пятнадцать минут. Соседи были уверены, что по утрам она смотрит сериал о жизни животного мира — так сильно она рычала и пыхла, пытаясь застегнуть юбку.

Управившись с юбкой, кое-как застегнув пальто, Антонина отправлялась на работу. Выйдя из подъезда, напускала на себя невозмутимый и решительный вид. Это придавало ей некоторое сходство с боевым слонем. Когда она чинно брела к метро, со стороны можно было подумать, что ничто не способно поколебать ее спокойствие и крепкий рабочий настрой. На самом же деле необъятная туша слона была лишь спасительным муляжом из пенопласта. Оттуда изнутри, через прорези подведенных синим карандашиком глаз, с ужасом и тоской оглядывал окружающее крошечный и хрупкий представитель семейства грызунов. Возможно, ангорский хомяк. Или монгольская песчанка. Все вокруг удивляло и пугало Антонину. Особенно другие женщины, их подтянутые загорелые тела, упругие икры, бодрая походка, крепкие груди, завитые волосы с вовремя прокрашенными корнями. Антонина с замиранием сердца изучала их босоножки, цепочки, бусики, сумочки — все, что удавалось углядеть за семь минут дороги до метро. Множество вопросов намечалось в голове Антонины. Что движет этими женщинами? — вот первый и главный из них. Что за волшебная сила помогает им оставаться такими свежими в восемь тридцать утра? Что помогает их волосам выглядеть так привлекательно? Откуда они берут эти красивые вещи? Как они поддерживают себя в такой форме? Ничего не понимала Антонина и чувствовала, что напрочь отстает от времени. Черт его знает, может быть, надо колоть куда-нибудь молодильные яды или, наоборот, безжалостно выдавливать и вырезать все, что мешает жить? Ей снова хотелось есть, ее нервы, обложенные густым желе, не справлялись с морем захлестнувших вопросов, искрились от напряжения, истощались и срочно требовали спасительного пополнения запасов. Ноги Антонины подкашивались, голова начинала кружиться от голода. Тогда, чтобы не оступиться, чтобы больше не искать объяснений окружающему, Антонина признавала, что плетется в хвосте пестрого, разодетого и подтянутого женского воинства. И что у нее нет шансов преуспеть в это самое время, в этом вот городе. Поэтому у Антонины был такой печальный и унылый вид, когда она втискивалась в вагон метро. Но ровно через четыре станции она поднималась на эскалаторе в город во вполне сносном настроении, любуясь на основательные колосья лепнины, на звезды и статуи пловчих, сохранившиеся в вестибюле со стародавних, советских времен. Потом покупала в ларьке три теплые булочки с сосисками, нежно заворачивала их в голубую салфетку, прятала в сумочку и совсем счастливая сворачивала в нужный переулочек.

Работала Антонина в отделе кадров небольшой кондитерской фабрики, производящей пять сортов мармелада, три вида зефира и суфле. Она сидела в крошечной комнатке, полусонная от ароматов ванили и жженого сахара, за столом, заваленным документами по производству, усовершенствованию и реализации мармелада и пастилы. За тремя остальными столами неугомонно крутились, хихикали и щебетали непоседливые румяные тетушки и по три раза в день пили чай.



Шумно и многолюдно было в отделе, весь день проходила перед глазами Антонины нескончаемая вереница озадаченных нуждами людей. Объявлялись молчаливые, говорливые, насупленные в лучших своих пиджаках, в выходных накрахмаленных кофточках. Приносили с улицы слякоть, морозный сквозняк, щетинистый запах пены для бритья, нагоняющие чихоту шлейфы духов, горьковатый смрад папирос. Аж дрожь всем телом от старания, выводили они служебной ручкой на чистом листке «Заявление. Прошу зачислить меня на должность такую-то». Робко извлекали из карманов шоколадки с орехами, настоятельно оставляли к чаю мармеладные дольки. Благо, магазинчик при фабрике — в двух шагах, на углу. Объявлялись резковатые рабочие фасовочного цеха, мямля и шаркая, упрашивали отпуск в июле, подносили в кульках новый сорт суфле в виде бабочек или фруктовую пастилу, на которую уже тошно смотреть. Уходила в декрет оператор линии, туговатая на левое ухо, но яркая женщина, щедро одарила весь отдел громыхающими как погремушки коробочками клюквы в сахаре, еще теплой, сегодняшней. Увольнялся взбешенный Колька-слесарь, разобиженный на штраф за пьянство, и все ж стыдливо извлек из пыльной сумки две коробки зефира в шоколаде, «для моих любимых девочек, для душистых понимающих дам». Выдавали каждой женщине фабрики под 8 Марта бумажный пакет со стрекозами, в нем — две коробки ананасовой пастилы, клубничный зефир сердечками и кокосовый ликер. Как в позапрошлом и прошлом годах, как всегда. Заносчиво увольнялась технолог Танюша, гордая своими ногами и ресницами, какой уж у нее повод назрел, какая шлея ее вынудила: подпись под заявлением чиркнула, дверью грохнула и с пустыми руками удалилась. Вереница лиц мелькала перед Антониной каждый день, нескончаемый хорювод людей с просьбами, с настоятельными мольбами, с обидами. Но не попадалось среди них задушевного, хоть чем бередящего. Все мелькали озадаченные работники с их бедами, с их настойчивыми срочными нуждами. Щедро и участливо кивая на жалобы, лепила Антонина в уголках заявлений печати фабрики: треугольную и квадратную, с гербом. Пару раз тут за ней пытались приударить, но она всех легонько осаждала: «Не мое это амплуа, служебный роман...»

Все без исключения сослуживицы были худее Антонины. Поэтому они относились к ней с теплотой и сочувствием. О личной жизни не справлялись. О своих семейных радостях шушукались узким кружком. Зато ее отказ от заворачивающего вечернего чая всегда воспринимался в этой комнате как грустная неизбежность и правильный выбор. Но мармелад, пастилу и другие благодарности посетителей всегда делили без учета привилегий, старшинства и худобы, как сестры — поровну, на всех.

Возвращалась Антонина с работы дворами, в назревающих муаровых сумерках. Сжимала под мышкой одну, две или три коробки дареных сладостей. Умиротворенная, чуть уставшая, не особенно спешила к пустым стенам ночевать. По дороге, годами зубуренной, по которой могла бы и с завязанными глазами пройти, брела она прогулочным шагом, рассеянно наблюдая прохожих и машины. Ко всем вокруг относилась в эти часы с музыкальной какой-то приязнью. Подмечала в снующих по улицам приметы тихого отчаяния, примирения с собой, блаженной опустошенности, которая устанавливается на лицах столичных в будние вечера. Приглядывала Антонина украдкой и за сплетенными в проулках парочками, горячо, протяжно целующимися в сумерках, будто норовящими



остановить время вокруг себя жадной этой истомой, ненасытным сплетением языков и рук. Вспоминала, как один ухажер вползал ей в рот своей губастой пастью, словно намеревался челюсть выломать и в организм к ней через глотку нырнуть. Поцелуи свои сокровенные, как костяшки счетов, как бусины четок, ненароком выкатывала Антонина из отжитого, вспыхивая и самую малость млея. Гадала уже без волнения, не как раньше бывало, а спокойно и рассудительно: стряется ли с ней когда-нибудь еще взаимность или хотя бы близость — задушевная, счастливая, мимолетная. А потом уж приходил черед удивляться начесанным свежим гривам пассажирок метро в этот поздний час. Озадачивалась Антонина их неутомимой, отчаянной женственностью, от которой становится не мнущейся любая ткань, пудра льнет к щеке, тушь к реснице клеится накрепко и сияет с утра до вечера на губах даже самый дешевенький блеск.

Покупая на ужин нарезной батон, кефир и порцию рыбного заливного с розочкой из моркови, размышляла Антонина над своими вечными вопросами. Прямо в круглосуточном, многолюдном, пахнущем мешковиной и селедкой магазинчике растерянно соображала: в чем секрет обаяния, в чем загадка бердящей привлекательности, этой стойкой, будто солдат у вечного огня, женственности, что кипит внутри или тлеет, или парится на медленном огоньке, всех подряд обещая и насытить, и обласкать. Не найдя ответов своим умом, от натуги опять проголодавшись, поскорее прятала кефир, батон и порцию заливного в сумочку. И бежала под укрытие родных стен, ужинать с телеканалом «Зарядье», по которому ночь напролет крутят старые черно-белые фильмы: о войне, о труде, о взаимной и неразделенной приязни.

Спала Антонина чаще одна, широко и размашисто раскинувшись на кровати, во сне причмокивая, словно ей снится кисель. Но иногда чудо случалось, утром мужчина яростным мотором грузовика похрапывал рядом, оттеснив ее разогретым дыханием к стенке или же ютился, отодвинутый телесами Антонины на самый край. Вероятность всего этого была мала. Но вероятность такая и по сей день очень даже имелась. Раза три в году находилась одна какой-нибудь и под разными предлогами: хитростью, нежностью или издевкой, добродушием или всеокрушающей своей прямоотой проникал в постель к Антонине. А бывало и сама она, вдруг, утратив ощущение тела, не чувствовала ни локтей, ни коленей. Начинала остро скучать по ласке. Мечтала по вечерам, чтобы кто-нибудь ее неторопливо и умеючи погладил по молочным рукам, по дородным бедрам, по спине дрожащей, по мягкому животу широкой своей ладонью. Грезила, чтобы кто-нибудь подышал ей в шейку своим теплом, нежно прикусил мочку уха, медленно покатав при этом во рту бабушкину золотую серьгу с рубином. Изведаясь основательно, в скором времени кое-как обзаводилась Антонина мужчиной, приводила его к себе домой — ночевать и миловаться в темноте. И тогда уж весь график ее утра оказывался сорван. Мужчина, приведенный на ночлег хитростью или вломившийся в квартирку по собственной прихоти, будто природный катаклизм вносил в жизнь Антонины хаос и разрушение, безжалостно выкорчевывал весь распорядок дня, раскидывал в разуме так старательно разложенное по полочкам. Как следствие этого каша пригорала, ножка кровати отваливалась, колготы лопались, бюстгальтер безвозвратно исчезал с вешалки, рвалась нитка и раскатывались по квартире граненые гранатовые бусинки,



а на юбке обнаруживалось неприличное на вид пятно. И опаздывала Антонина на совещание. Вдруг зачем-то чересчур строго придиралась к посетителю, объявившемуся предъявить больничный. И, удивив сослуживиц до тактичного молчания, выпивала четвертый за день чай, ненасытно заедая вафлями и суфле. Но зато ощущение тела к ней возвращалось. Ликуя, Антонина чувствовала свою спину и колени, и живот, и мочку уха, и шею. Оживленная таким образом на некоторое время, она принималась снова откладывать на поездку к морю, ограничивая себя в раздумьях над неразрешимыми вопросами, а как следствие — урезая расходы на еду и незначительно, самую малость худея.

И вот однажды, в буднее утро 15 мая, будильник в квартире Антонины основательно и упорно промолчал. В комнатах царил густая, наваристая будто яблочный мармелад, тишина. И еще гулял вихрастый сиреневый сквозняк: проникнув через форточку на кухне, врываясь в спальню и в крошечную гостиную, шевелил, шерудил, перетряхивал все на своем пути и с решительным присвистом ускользал через щель входной двери на лестницу. Обдуваемая и освежаемая, разомкнула Антонина в тот день глаза по собственному желанию. Будто бы помолодев, беспечно потянулась и безо всяких вспомогательных лозунгов, без своих обычных утренних слов резво выскочила из кровати, кинулась распахивать окно и скорей впускать в комнату солнце. Совершила она по пути на ковровой дорожке полный восторга и нетерпения пируэт, издали напоминаящий физкультурную ласточку, фигурное катание и еще готовность заключить целый мир в объятия. Но больше в то позднее утро ничто не выдало ее настроения, не сообщало о намерениях.

Упустив из внимания завтрак, позабыв предупредить сослуживиц о своем сегодняшнем отсутствии, Антонина рассеянно хлебнула из кружки вчерашний чай и принялась наглаживать выходное платье: скромное, на пуговках, в почти неразличимый постороннему глазу узор из незабудок. Облаченная в платье и босоножки, уложив каштановые волосы волнами, на пороге она всплеснула руками, кинулась назад в комнату. Здесь, кое-как справившись с волнением, чинно и взвешенно выловила Антонина из серванта перетянутый резиночкой конверт с деньгами, за многие годы наконец-то скопленными на море. Извлекла банкноты. Уважительно плюнула на палец, медленно и вдумчиво пересчитала, декламируя шепотом, будто стихи: пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять. Перетянула аккуратную стопочку резинкой. Выхватила с нижней полки серванта две коробки суфле, нового сорта, в виде бабочек. Решительно сжала все это покрепче под мышкой. Придирчиво, но удовлетворенно оглядела себя в зеркале с головы до ног. Застегнула намеренную выскользнуть из петли пуговку на груди. И пошла.

Продвигалась Антонина в то позднее утро по своей обычной дороге к метро так, будто в этом городе, очень близко, по ту сторону проспекта, за обвальной фабрикой и нескончаемыми рядами гаражей притаилось море. Шла она по тропинке маленькими, но целеустремленными и твердыми шажками, будто море в этом городе было теплым. Будто оно звало Антонину, будто оно ждало Антонину, раскинулось от края до края, затопив однообразные блочные шестнадцатизэтажки, ларьки, супермаркеты, овощные магазинчики, пахучие хозяйственные отделы и окраинные лавки распродаж. Будто распахнулось это море исполинским взволнованным серо-сизым глазом и высматривало вдали



одно лишь скромное платье с пуговками и почти незаметным узором из незабудок. Вот как в то утро двигалась Антонина по тропинке, не засматриваясь по сторонам, ничего не замечая вокруг.

Чуть вытянув шею, напряженно высматривала она что-то вдаль, немного сердясь на гудки и смех, на звуки пожарных сирен, на окрики прохожих, на шарканье их ног, на мельтешение их лиц. Шла, вслушиваясь, будто ожидала ухватить, уловить там, за границей шума, в логове тишины что-то такое важное, роковое, от чего зависела вся она и сегодня и в последующем с головы до пят. Тихонько постукивали каблочки босоножек по асфальту. Струилось, играло с ветром светлое платье. Волосы лежали коричневой пряной волной. И вся Антонина сейчас была слух. И вся Антонина сейчас была взгляд. И была она закипающим на медленном огне мармеладом. Грациозно и решительно ступала, покачивая бедрами, поигрывая глазами, будто завоевательница и сдающаяся одновременно. Настороженная. Затаившаяся. Готовая из-за любой осечки сломаться, рассыпаться в пыль. Вот, вроде бы уловила. Да, так и есть: сквозь шум, гудки, выкрики. На своем обычном месте, в двух шагах от метро неуловимо, совсем шепотом звучал вальс.

В двух шагах от метро, на бугристой асфальтированной площадке, где раньше располагался ларек папирос, возле двух бабок, одна из которых продает носки и носовые платки невыразимых расцветок, а другая, в мокром на вид берете, кротко торгует квашеной капустой, возле этих самых бабок с конца апреля изредка стал появляться аккордеонист. Каждый раз он неожиданно возникал среди толчеи, на обочине людного суетливого тротуара, неподалеку от овощных палаток. В сером костюме и мягкой, мутно-белой рубашке. Чуть седеющий, с легкими волосами, в которых самозабвенно хозяйничал отчаянный замоскворецкий ветер. Очень похожий на киноактера Василия Семеновича Ланового, как показалось Антонине с первого взгляда, отчего она смущенно прикрыла кончиками пальцев рот. Но, присмотревшись к нему в другой раз, нескончаемым вторым, пристальным третьим взглядом, она решила: нет, не на Ланового он похож, на себя самого, на одного-единственного себя он похож. И от этого Антонина впервые в жизни отчетливо и сокрушительно почувствовала все свое тело разом: теплое, пульсирующее, полнокровное, спелое. Живое, как никогда. А что он такое играет, она поначалу даже не расслышала, так была оглушена, отброшена от всего вокруг. Но потом, сделав вид, что внимательно рассматривает цветную капусту и груши в овощной палатке, кое-как вникла, вслушалась. Постукивая по кнопочкам, шурша мехами, бегая рукой по клавишам, играл седеющий аккордеонист довоенные и послевоенные вальсы и какие-то еще незнакомые Антонине песни, от которых по коже начинали снова ледяные мурашки трепета и теплые волны не то удовольствия, не то ожиданий. Мигом вспомнилось, как когда-то в детстве мать возила ее на летние каникулы в деревню, под Ростов, к бабушке. Там по соседству жил старый пасечник, у него по осени покупали мед. По вечерам он иногда устраивался на почернелой от дождей, шаткой лавочке и наигрывал на аккордеоне. В густеющих, напоенных ароматами трав и сирени сумерках, тихо звучал его аккордеон. В деревенской шелестящей тишине протяжно тянулась песня. Топким умиротворением, нерушимым беспечным покоем каникул навсегда окутаны эти звуки для Антонины. Потом, зимой, старичок-пасечник умер, не болел, а просто устал от старости и покойно отошел во сне. Его аккордеон



вдруг забрала себе бабка Антонины, уж с чего, на какую такую память, пойди, разберись. С тех пор многие годы чужой аккордеон, чьи меха плотно смыкал кожаный ремешок, насупленно молчал у Антонины в кладовке, заваленный старыми книгами, отслужившими свой век сапогами, елочными игрушками в коробках из-под мармелада и другим неизбежным в любой жизни отслужившим хламом.

Поначалу, еще не признаваясь самой себе, все чаще стала измышлять Антонина разные предлоги, вроде покупки фиников, приобретения кураги, яблок, газет, почтовых конвертов, блокнота. По два раза в субботу и в воскресенье нетерпеливо бегала она к метро. Не застав аккордеониста на обычном месте, тут же грустнела, забывала, зачем шла сюда, опадала лицом, плечами, спиной, роняла мелочь и в отчаяние резко отстраняла буклетики, раздаваемые двумя шумными подростками в грозящих свалиться широченных штанах. Зато иногда, возвращаясь с работы, взбираясь на поверхность из перехода, вдруг, улавливала она намек на далекие звуки аккордеона, вмиг утрачивала усталость и оторопь, высвобождалась из обычной своей доброжелательной задумчивости. Преображалась лицом, молодеда телом, вся теплела, струилась, покачивалась под сияющими разноцветными конфетти окраинных фонарей и вечерних фар. Прибавив шаг, вытанцовывала Антонина на ходу медленный вальс, белый танец. И не раз, и не два встречались они глазами. И она уже несколько раз с теплотой улыбалась ему, кивала, не скрывая, что узнает, что рада. Он же, чуть наклонив голову, чуть прикрыв веки, медленно и заботливо растягивал меха, перебегал пальцами по клавишам, нежно тянул свои песни в сумерках, будто освобождаясь от всего, что помнит, от всего, что чувствует, от всего, что мог бы спросить. И звенели монетки, и шелестели купюры, брошенные в картонную коробку у его ног. Бабка, которая всегда торгует до полуночи носками, поводила плечами, готовая пуститься в пляс среди овощных палаток и вечерних тревожных фигур. А какой-то нетрезвый, разудалый прохожий сбивчиво подпевал, всхлипывал и потом отчаянно опустил в коробку сидящего аккордеониста непечатую пачку папирос и бутылку пива.

В те майские дни, прислушиваясь к вальсам, рассеянно забредая в кругло-суточный магазинчик, чтобы замереть у витрины и покачиваться в такт, Антонина несколько раз нечаянно перехватывала разговоры. Шептались женщины в очереди в рыбном отделе. Хихикали молоденькие, закатывая нарисованные глазищи, еще не знающие печалей. Может быть, на самом-то деле и говорили они о ком-то другом. Только Антонине все казалось, что перешептываются, перемигиваются и судачат эти женщины в сумраке уличном, эти девицы в очереди за сыром, конечно, о нем, о сидящем аккордеонисте, о ком можно еще болтать, так понизив голос, так стреляя глазами.

Прислушалась как-то раз в очереди, вот и узнала, что зовут его Николай, что приехал он из Самары, где всю жизнь проработал в заводской котельной. Приехал к дочери, она живет в двух шагах от метро, в одном из тех пятиэтажных домов. Прислушалась Антонина в другой раз, вот и узнала, что полгода назад неожиданно начал забивать Николая по ночам кашель. Совершенно не давал человеку спать. Но все равно он курил свои папиросы, даже по ночам, задыхаясь и ворча на балконе. В больнице обследовали его неделю, потом заключили: лечить бесполезно. Выдали бланк с печатью, посоветовали, чтобы, когда начнутся боли, сразу пришел подавать заявление и выписывать наркотики. И отправили



Николая домой, в талые апрельские сумерки, ждать этой самой боли, от которой нельзя спастись, а можно только забыться. Тут-то его дочка к себе и позвала, чтобы отец в эти дни был рядом.

Однажды вечером, рассеянно покупая обычный набор к ужину, ревниво подслушала Антонина разговор двух продавщиц. Разузнала, что приехал Николай в Москву с двумя чемоданами: в одном привез внучке гостинцы, всякие вафли и леденцы, переправил сюда пожитки на каждый день, сколько уж ему повезет. И еще привез «смертный узел» с выходным, темно-серым костюмом, в котором предполагал отправиться в свой последний путь. В другом чемодане притащил Николай в столицу бордовый аккордеон Weltmeister. Дочка, когда встретила его на вокзале, даже не обратила внимания на громоздкий серый чехол с инструментом, даже не проворчала, так ей в глаза бросилось, что очень исхудал и осунулся отец.

Сидел Николай теперь целым днями в выделенной для него маленькой комнатке, наедине со всем своим отжитым. Как хотел, так с ним и справлялся: то перетряхивал прошлые дни, то, отмахнувшись от всего, что стряслось когда-либо, слушал убаюкивающий шум подъезда, редкие скрипы лифта, выкрики со двора. Все эти звуки слагались для него в безразличную, существующую саму по себе музыку нынешнего. И он без интереса перелистывал дочкины газетки, журнальчики, смотрел телевизор без звука. И ждал, когда же объявится эта самая обещанная зловещая боль. В общем-то, много чего он уже передумал, все принял, смирился и был готов. А потом, в будний день, в пятницу, показалось Николаю, что его последняя боль уже совсем близко. Замерла на пороге квартиры, приложила ухо к входной двери, прислушивается, подбирает момент. Через миг, через два позвонит в дверь. И объявится во всей красе. Вытащил он тогда аккордеон, решил немного продуть меха, перетрясти от пыли, чтобы инструмент не зачах от молчания, от этой вынужденной немоты, которая совсем скоро станет его обычным ежедневным занятием. Надел Николай лямку на плечо. Натянул на второе. Уселся на табурет, к подоконнику, там светлее. Прикрыл глаза, помолчал, развеялся, настроился. И побежала рука по клавишам. И заколотила другая по кнопочкам: «Холода, тревоги да степной бурьян...», «Погоди, боль, не торопи события, дай доиграю любимую песню отца». В тот же день, ближе к вечеру вышел впервые Николай к метро. Сел на пустой ящик возле овощных палаток. Стал играть свои песни и вальсы, один за другим, которые знал и помнил. Может быть, помогало это от пережитого укрыться, со скорым будущим свыкнуться и обрести в голове кратковременную беспечную пустоту. Но Антонина была уверена, знала наверняка: надеялся аккордеонист своими вальсами кружевными, песнями со смешинкой боль провести, затуманить ее музыкой, чтобы она заслушалась, замерла, затерялась в толпе возвращающихся домой служащих и забыла, к кому пришла. Хотя бы сегодня. Хоть еще до следующей среды. А там уж как повезет.

В тот будний день, 15 мая, по собственной прихоти, решительно и непреклонно возникла Антонина в судьбе седеющего аккордеониста. Приближаясь к метро, обиженно осознавала она город Москву две тысячи такого-то года как место, по которому ходит сейчас в поисках нового своего страдальца пока ничейная, пасмурная и затуманенная вальсами боль. Подбежав к овощным палаткам,



к ларьку с цветами, не заботясь о мнении окружающих, произвела Антонина неожиданное и бурное действие, а на самом деле — яркий отвлекающий маневр. Во-первых, швырнула в воздух все свои деньги, отложенные на море. Ровно двадцать пять тысяч бросила в лицо быстрому и чересчур современному этому городу, в котором лучше бы ей не объявляться и не жить вовсе. Закружились в воздухе, на все лады затрепетали над головами изумленных прохожих розовые пятисотрублевки. Так отвлекала и завораживала Антонина пока что ничейную боль. Распахнула она коробку суфле, вскрыла другую, и неожиданно вырвались оттуда белые бабочки, затрепетали над маленькой людной площадью, на фоне неба и облаков. Пока случайные прохожие и покупатели свежих овощей растерянно силились поймать летящую мимо денежку или хотя бы понять, что такое у них на глазах стряслось, подошла Антонина к седеющему аккордеонисту, крепко сжала его запястье горячей своей ладонью, осмотрела лицо взглядом, которому никто не умеет противиться. И повела за собой.

Долго бродили они в тот полдень окраинными дворами, путали следы и неторопливо беседовали вполголоса. Оказалось, он принадлежал к тому типу мужчин, которые умеют расстегивать пуговицы одними глазами, долгим выжидающим взглядом. Вот и еще одна пуговка платья вылезла из своей петли, а за ней нижняя соседка освободилась, обнажив карюю родинку на тугом тесте левой груди Антонины. Тут и там на пути у них осыпалась черемуха белым снегопадом. И вылизывали свои пушные жабо разморенные на солнце дворовые кошки. Первые аккорды их приязни пахли сыростью подъездов. Выхлопом отъезжающего такси. Рассыпанными тут и там медальонами луж. И еще густой масляной краской, которой торопливые таджикские дворники начали уже подновлять после зимы бордюры и решетки цветников во дворах. Первые аккорды их близости медленно и основательно состоялись под косыми лучами солнца, просвечивающими молодую листву насквозь. На скамейке небольшого скверика тянули они около пяти минут третий совместный поцелуй, сплетаясь языками, сплетаясь пальцами, как давно уже грезилось Антонине. Молниеносными, беспорядочными, набирающими жар поцелуями осыпали они друг друга, совершенно остановив своими стараниями время и шум и из окружающей яви минут на пятнадцать напрочь вырвавшись.

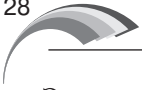
В сизом сумраке подъезда, возле скорбных, потерявших замки почтовых ящиков с раскуроченными крышками, стояли они, постепенно срастаясь губами, шеями, ребрами, бедрами. Аккордеон висел у него на плече, будто плотно упакованный вальсами и белыми танцами бордовый рюкзак. Впопыхах освобождаясь от платья, Антонина порвала его на боку по шву, но не расстроилась, без колебаний предполагая, что вряд ли решится надеть это платье еще когда-нибудь. Пусть будет оно висеть в шкафу, как память об этом муаровом сумраке из-за задернутых штор, о прохладном сквозняке, врывающемся в комнату, леденящем белое монументальное тело Антонины и стройную иконописную фигуру Николая. Если он похудеет еще чуть-чуть, то превратится почти что в мощи — отгоняя от себя смятение, она прикрывала глаза, когда он прятал лицо между ее щедрыми текучими грудями. И отчаянно бегала обжигающими пальцами по его шее, груди, бедрам, разыскивая по всему его телу черные и белые клавиши.

Не обедали, забыли поужинать, пили ночью наскоро чай, прямо тут, в комнате. Видели, как рассвет вливается тусклой струйкой в сумрак и беспредметность



ночи. Проникали друг другу раз за разом во все уголки, во все тайники, во все впадины, раздаривая без числа обнаженных и голодных своих моллюсков слизи и жара. Лежали утром бок о бок, на сером в синюю крапинку покрывале. И она смотрела на потолок, размышляя, как далеко им удалось сбежать, оторваться от ничейной и слепой боли, снующей сейчас по городу в поисках своего адресата. На сколько часов, на сколько дней они укрылись в этой комнате, пропахшей виноградом, пастилой и испариной разгоряченных тел. А он, вдруг, будто бы разгадав ее грусть, убежденно прошептал, что аккордеонисты редко умирают. Чаще всего они уходят, отыграв все свои песни и вальсы до конца. Надев аккордеон за спину, на манер рюкзака со всей своей состоявшейся музыкой, аккордеонист разбегается в сумраке по пустынному окраинному перрону. Бежит все быстрее, от всего своего случившегося, происшедшего и несбывшегося. К самому краю, где обрывается платформа, и сплетаются рельсы, теряясь в предрассветной дымке. Между тем какая-нибудь кнопка обязательно западет от бега или ветер путей и плацкартных вагонов прижмет белые клавиши тайным своим аккордом, и тогда аккордеон распахнет меха, и расправит крылья, и вознесет своего хозяина от яви и сна, далеко-далеко от всего, что было, есть и будет.

Семь долгих дней длилась их счастливая близость, семь безупречных дней Антонина и Николай жили семьей. На третий день совместной жизни празднично поужинали в честь знакомства в маленьком и пустом корейском ресторанчике, возле аптеки и ателье. Выпили по большому стакану пива. Но гулять не пошли, поплутали дворами, наблюдая возле подъездов стайки молодежи с их стучащей музыкой и выкриками. Потом еще купили винограду и поскорее уединились в квартирке. Лежали, прижавшись в кромешной тьме, в небыли, ощущая только ледышки пальцев, ненасытную дрожь и жар друг друга. На пятый день их близость стала терпкой, настоявшейся, размеренной. И чуть-чуть печальной: знала Антонина, не могла себе лгать, слагала в разуме, как через пару-тройку дней, через несколько долгих тянувшихся басовыми нотами часов будет собирать она своего седеющего аккордеониста в дорогу. Заранее, наперед ощущала каждый миг этих скорых событий. Как начнет метаться по дому, принося ему из кладовки то вязаную кофту отца, то бесхозную синтетическую безрукавку, чтобы он не простудился там, на ветру. Кинется в круглосуточный магазинчик, покупать ему вафли и мандарины, в дорогу, но он ее остановит на пороге, поймает за локоть. И сейчас прижималась Антонина щекой к его острому белесому плечу, пахнущему табаком, заранее пропуская сквозь себя данность его скорого облачения в темно-серый костюм, в мягкую белую рубашку без галстука. Не хотела об этом думать, но знала, заранее видела, как там, на пустынном перроне он наденет аккордеон за спину, будто бы туго набитый рюкзак со всей своей отыгранной музыкой. И, чтобы поскорее спугнуть эти предчувствия, беспечно и ненасытно принималась Антонина ласкать языком его мочку, проникала в шершавое, горьковатое ухо. Сжимала его коленями, впивалась ему в спину пальцами, вращала в него бедрами, ребрами, шеей, животом, лоном, стопами. А потом всхлипы душила в себе, отвернувшись к стене, таила от него в кромешной тьме, что она уже предчувствует, знает заранее каждый его шаг к краю, там, на безлюдном перроне. Но, проглотив ком отчаяния, сладким шепотом спрашивала, не налить ли ему чаю в полшестого утра, на шестой, предпоследний день их близости.



Этот пустынный перрон второго пути находился на 52-м километре. Они ехали туда на одной из последних электричек. Антонина положила голову на плечо своему аккордеонисту, сделала вид, что спит. На самом же деле про себя она суетилась, горевала, тревожилась: что же это он не попрощался с дочерью. Даже не позвонил, не соврал, что уезжает домой, как было решено накануне. И не приоткрылся к жареной картошке. Не допил чай. Не присел на дорожку. Кажется, забыл в коридоре наручные часы. Цеплялась Антонина за прожитый день, все казалось ей, что он еще тянется до сих пор, все еще здесь, с ними, в тусклом вагоне загородной электрички. А Николай смотрел в окно, тут же забывая проносящийся мимо сумрак с мельтешением огоньков освещенных окон и фар. Без интереса листал забытую кем-то газетку с объявлениями. И молчал всю дорогу.

На перроне, в темноте безлюдной, ледящей целовал ее в обе щеки и обстоятельно, горячо — в лоб. Антонина отворачивалась, прятала лицо в ладонях, чтобы не видеть, как он будет удаляться, как он побежит к самому краю со своим аккордеоном за спиной. Но он останавливался на полпути, хватался за фонарный столб, выкуривал папиросу, снова понуро возвращался к ней. Еще раз обнимал, теплую, трепещущую за плечи. Прикасался губами к россыпи родинок на ее шее. Пересчитывал поцелуями: один, два, три, пять.

Когда настала его третья попытка, она снова отвернулась. Прикрыла лицо ладонью. Вся напряглась, натянулась, превратилась в слух. Но уже ждала, обязательно ждала, что он опять вернется ее обнять. Ждала, а сама слышала отдаляющие шаги, сбивчивый кашель, его бег, хруст его подошв о песок перрона. Отдаляющиеся шаги. Ветер, растрепавший ей волосы. Хруст. И тишина. И еще тишина. Гудок скорого поезда где-то вдали. И снова опять тишина.

Все понимала Антонина, но окончательно принять не умела. Больше вопросов у нее не было, все она теперь про свою жизнь знала наверняка. Знала, что это она сама, только она одна и была его последней болью, той самой, которую так мучительно оставил он за спиной, на ветру плацкартном, в были и снах. И еще отчетливо помнила Антонина, что у нее в кладовке прямо сейчас, среди хлама старых сапог, отживших плащей, коробок с елочными лампочками, лыжных палок, папок и кофт молчит в чинном синем чемодане уже сколько лет сиротливый аккордеон старичка-пасечника. И утешилась Антонина на всю остальную жизнь, что в случае чего, если уж совсем соскучится сердце, можно будет всегда прийти сюда. На пустынный перрон второго пути окраинной станции 52-й километр. Вдохнуть поглубже, съесть на дорожку две мармеладины или зефир. И побежать по перрону, и понестись с аккордеоном за спиной, вдогонку за своим Николаем, далеко-далеко от всего, что было, что есть и что будет. Может быть, ветер плацкартов все-таки сжалится над ней, дунет со всей силы, возьмет ледяными своими пальцами тайный аккорд из белых и черных клавиш. И аккордеоновые крылья распахнутся.





АВТОРЫ НОМЕРА

Полина ЖЕРЕБЦОВА. Рассказ «Зайна».



Полина Жеребцова родилась в 1985 году в Грозном и прожила там почти до двадцати лет. В ее роду множество разных национальностей: русские, украинцы, евреи, чеченцы, французы, поляки. Писательница-документалист, поэт, драматург, автор дневников и рассказов, охватывающих ее детство, отрочество и юность, на которые пришлось чеченские войны. Книги переведены на украинский, словенский, французский, литовский, грузинский, финский, польский, латышский, эстонский, болгарский, немецкий и другие языки. По книгам поставлены пьесы в России, Польше, Украине, Германии. Дипломант Международной премии им. Януша Корчака в Иерусалиме сразу в двух номинациях («рассказ» и «документальная проза»), премии и «документальная проза», премии и «документальная проза». Член ПЕН-клуба.

*А. Сахарова — «За журналистику как поступок».
Сейчас проживает в Финляндии.*

Полина ЖЕРЕБЦОВА



Полина ЖЕРЕБЦОВА

ЗАЙНА

Рассказ

В нашем дворе жила женщина по имени Зайна, ночь с которой можно было купить. Необязательно за деньги. В трудный для родины час пускала она к себе чеченских боевиков, вывесив на окно квартиры ичкерийский флаг как опознавательный знак.

Флаг был красивым, зеленым, с лежащим посередине пушистым волком. Брала за свои услуги Зайна недорого: миску муки да банку солений.

А после того как гости покидали ее покои, Зайна надевала платок, прикрыв рыжие локоны, и спешила поделиться частью заработанной еды с детьми и стариками, которые жили по соседству.

Когда неприятельские силы в лице русских военных наступали, а боевики вынуждены были уйти за границы своих территорий, Зайна с таким же радушием принимала захватчиков у себя. Русские мужчины несли Зайне мясные консервы и джем в маленьких баночках, а после их ухода женщина поступала, как привыкла: делилась продуктами с инвалидами и многодетными семьями.

Поэтому, постоянно перешептываясь, называя ее за глаза шлюхой и, в общем-то, не считая за человека, весь наш район проявлял терпимость к Зайне.

Большая часть мужского населения пользовалась ее услугами: такие женщины — огромная редкость в Чечне, ибо за подобное поведение полагается смерть.

Убивает такую мусульманку брат, дядя или отец. Никто никогда не осудит убийц. Наоборот, в народе они будут пользоваться всеобщим почтением и уважением. А милиция придет к ним руку пожать и сказать раскатисто: «Ассаламу алейкум!»

Но у Зайны родных не было. Не было ни отца, ни матери, ни братьев-сестер, кто бы мог ее убить. Или защитить от такой жизни. Известно было, что родилась она в горах Дагестана, говорит на чеченском языке и меняет флаги на своих окнах согласно территориальным изменениям в Российской Федерации.



Даже сколько лет ей — была загадка. Опытным взглядом местные праведницы оценивали ее как пережившую четвертый десяток.

— Красивая, потому что детей она не рожала! — зло говорили кумушки в длинных платьях и халатах.

И лица их искажались, словно в стекле, которое не выдержало ударов мужской руки и треснуло вдоль и поперек. Зайна носила брюки, единственная чуть ли не на весь город. Это тоже считалось неслыханным позором!

Родить ребенка Зайне никто бы не позволил: по местным традициям недостойна такая женщина носить в чреве ребенка.

В обычных семьях к сорока годам женщина как старуха. А как иначе? Восемь-девять детей. В пятнадцать лет надо идти замуж, значит, в тридцать с хвостиком — уже бабушка.

Другое понятие о времени, о молодости. Другие нравы. Горские.

Пережила красавица Зайна и времена суровых шариятских гонений: другую бы расстреляли, конечно, забили бы камнями или палками, но не ее. Суровые мусульманские проповедники забредали в наш двор для разбирательств, но, увидев синеглазую хохотушку Зайну, начинали улыбаться в ответ и пропадали в ее маленькой квартире на несколько часов.

Худенькая, словно миниатюрная статуэтка, красавица околдовывала их с первого взгляда. Она любила танцы и музыку. Быстро и вкусно готовила восточные блюда.

Выйдя от продажной женщины, проповедники старались как можно быстрее унести ноги, чтобы люди не приметили их лица с длинными бородами и не стали сочинять про них непристойные шуточки.

— Здесь всё про всех знают! — сказала как-то тетушка Марьям. — Кто откуда приехал, кто на кого посмотрел, зачем...

— А как в нашем дворе появилась Зайна? — спросила я, рассматривая рыже-волосую хохотушку из окна на кухне, где мы с соседкой Марьям готовили плов.

— Привел ее Рамзес. Нашел где-то. Она счастливая была, думала, может, он женится. Но родные ему запретили даже думать об этом! А если родные не дадут согласия, никто против их воли не пойдет.

Рамзес был чеченцем, нашим соседом со второго этажа. Он пожил с Зайной какое-то время как с наложницей и передал ее друзьям, как передают пачку недорогих сигарет.

Зайне дали чужую квартиру, откуда сбежала в смутные времена какая-то русская семья, и жила она в этой квартире, как в своей собственной, а Рамзес иногда с ней здоровался, если был уверен, что никто из соседей не видит. Но такого у нас, в Чечне, конечно, еще не бывало: у всех глаза как плоски.

Особый обычай в Чечне — незапертая дверь. Даже если есть на ней замок — запирать бесполезно. Никто не стучит, так заходят. Соседи ведь!

— Тетя Марьям, нам утюг нужен! — забежали с верхнего этажа девочки-аварки и, не дожидаясь, что скажет хозяйка утюга, схватили вещицу и понесли к себе.

Только дверь хлопнула...

— Это я. За водой пришел! — громыкает ведрами старик Ахмед, идя в ванную комнату мимо нас.

— Марьям, я тут сумку положу в коридоре, — кричит кто-то невидимый. — А брат через час зайдет заберет!



По голосу мы догадываемся, что это соседка Залина из дома напротив.
И так целый день.

— Когда мы переехали, — вспоминала мама, нарезаая лук для плова, — мы дверь не запирали вообще. Только если шли в магазин, а дома никого не было. Замучаешься открывать: стучат каждые пять минут. Дети и взрослые! То забегут, спросят, как дела, то еды принесут, то что-то попросят. Никогда и нигде так дружно я не жила! Полюбила всем сердцем этот обычай.

Я, признаться, маминых восторгов не разделяла. Мне казалось, что каждый должен жить, наслаждаясь покоем, каждому нужно свое пространство, но, боясь получить тумачков, свои рассуждения прятала глубоко внутри.

Плов в тот летний день получился изумительным на вкус, и взрослые решили угостить Зайну, которая хлопотала около своего подъезда.

В чужом доме Зайна вела себя тихо, и только если ее спрашивали о чем-то, начинала рассказывать маленькие веселые истории, будто вся ее жизнь была одним нескончаемым праздником, а все остальные жили в войне и грусти.

— Ах, какая я глупая была, — рассказывала Зайна с улыбкой. — По молодости, бывало, забывала дверь закрыть. Только мой гость приготовится к радости земной, штаны снимет, как на пороге соседка появится, вбежит без стука, чтобы сахару попросить или соли. Один сердешный господин из министерства так перепугался, увидев родную тетку, что спиной о стол ударился... Что-то внутри него хрустнуло.

И унесли горемыку друзья на носилках, а тетка родная бежала следом и носками лупила несчастного...

— Как ты дошла до жизни такой? — моя мама удивлялась. — Ведь обманул тебя кто-то. Подлец попался. Вышла замуж, развелась, а родные назад не приняли?

Но Зайна только смеялась и ничего про юность свою не отвечала.

Во Вторую чеченскую, которая на самом деле была Третьей, Зайна опять повесила флаг с волком на окно. Флаг глубокой осенью изрешетило осколками, но она не убирала, так как нового не было. Снаряды разрывались прямо у подъезда, и мы ждали затишья, чтобы выбежать и набрать снега для питья.

Однажды стреляли так сильно, что, казалось, снаряды идут на дома непрерывающимся пунктиром и сотрут жилища вместе с нами в пыль. Что в это время чувствует человек, задыхаясь от осыпающейся со стен и потолка побелки? От взрывов дом трясется, как при шестибалльном землетрясении, и вздрагивает, подобно битому псу. А ты лежишь внутри этой конструкции на дощатом полу, вспоминая какие-то моменты из жизни. Пытаешься закрасить ими черную пустошь мрака, поглощающего все живое.

На соседней улице в момент этого обстрела находились муж и жена: чеченец Ахмед и русская жена Ирина жили вместе уже тридцать пять лет. Вначале, до Первой войны, никто не знал, кто из них какой национальности, — никогда таких разговоров не было. Знали только, что их единственный сын погиб в автокатастрофе.

А потом вдруг выяснилось, что жена у дедушки Ахмеда — русская. Некоторые соседи после такого открытия стали ехидно интересоваться, не прогонит ли он ее за порог? Но, получив от дедушки Ахмеда кто ведро помоев, кто по шею костылем, примолкли и почтительно здоровались при встрече.

Их улица, состоящая из частного сектора, переходила из рук в руки: боевики отступили за гаражи со своей переносной пушкой, а русские солдаты захали



на БТРах, открыв огонь из всевозможного оружия. Старики не могли потушить свой загоревшийся дом и прятались в коридоре, где более прочные стены.

А Зайна лежала на снегу, не добежав до двери подвала, где собиралась спрятаться: нельзя было поднять голову и проползти на четвереньках, такой был обстрел. Женщина видела, что дом стариков горит, но позвать на помощь при таком грохоте было невозможно. Никто не слышал собственных слов.

Старуха Ирина в горящем халате появилась на пороге внезапно. Она что-то прокричала, размахивая руками, и вновь пропала в своем маленьком горящем доме.

БТР навел на этот дом пушку. Солдаты, выскочившие из военной машины, стали стрелять по дому стариков из автоматов, предполагая, что именно оттуда, вероятно, велся огонь боевиками.

Люди из подвала увидели происходящее через маленькое отверстие в стене и застыли, понимая, что старики сейчас погибнут. И в эту секунду Зайна вскочила и, не обращая внимания на разрывающиеся рядом снаряды, побежала к БТРу.

— Стойте! Там живут люди! — закричала она. — Не стреляйте!

Приникнув к отверстию в стене, выжившие жители наших домов не могли поверить в происходящее. В неизменных брюках, в легкой куртке нараспашку, потеряв в суматохе платок, Зайна закрывала собой чужой горящий дом.

Ее рыжие волосы падали крупными кольцами на худые плечи, синие глаза горели, и она казалась необыкновенно красивой посреди этого ада.

Русские военные даже стрелять перестали от неожиданности, и боевики со своей пушкой затихли за гаражами.

Зайна бросилась в дом и вытащила дедушку Ахмеда, задыхающегося от дыма, а затем и бабушку Ирину, которая смогла сбросить с себя охваченный огнем халат и теперь куталась в старое пальто темно-зеленого цвета.

— Здесь живут люди?! — как-то ошарашенно переспрашивали друг у друга военные.

Потом один из них подошел поближе к старикам и прокричал:

— Где ваши документы?

— Там! — показала бабушка Ирина рукой на потрескивающий черный остов. — Если хотите поискать, не стесняйтесь, идите прямо туда!

И, воспользовавшись затишьем, Ахмед, Ирина и Зайна поспешили в подвал. Их никто не останавливал.

Русские солдаты и боевики продолжили воевать.

Через время весть о храбром поступке продажной женщины прогремела по всем дворам.

— Ты такая смелая! — говорили люди при встрече Зайне, а когда отворачивались, шептали: — Все равно все знают, кто она. Одно хорошее дело не перевернет историю молодости.

А Зайна все так же пела песни и хохотала и однажды пришла к моей маме погадать на картах. Мама давным-давно не гадала, но Зайна ее упросила. Сказала, очень важное дело: жизни и смерти.

— Скажите, я умру молодой? Я не хочу дожить до старости! — твердила Зайна. — Старуха доживает свой век в окружении внуков, а из меня какая старуха? Не получится! Не способна я на это!

Мама раскладывала карты веером и внимательно на них смотрела.



— Вижу, жизнь была у тебя суровая. Но все пройдет. Изменится. Ты встретишь хорошего человека. И будет у тебя дом, и будешь ты старая, и будут у тебя внуки-правнуки.

— Неправда!

— Правда! Еще ни разу карты меня не обманывали. Из-за тебя грех взяла, а ведь обещала больше не гадать.

— А внуки точно будут? — Зайна задумалась.

— Точно. Вижу, мальчик будет маленький, но не сын твой, внук. Любить тебя будет сильно. Будешь с ним играть! И девочка, в розовом платье. Совсем крошка... Подожди-ка, ты беременная?!

Зайна надкусила печенье, которое лежало рядом с ней на стуле. И тут мы заметили, что она плачет. Правда, она тут же начала улыбаться сквозь слезы, чтобы никто о ней дурного не подумал. Спряталась за стаканом воды.

— Хочешь, прочитаю тебе свои стихи? — спросила я.

Зайна кивнула.

Шум, проходящий сквозь тишину.
Время, которого нет.
Кто-то зачем-то придумал войну
Длиною в сто тысяч лет.

Кто-то зачем-то дал имена
И разделил века.
В мире, в котором всегда война,
Прокляты облака.

Каждый рожденный тянул билет,
И каждый из нас умрет.
Ты выбираешь — идти на свет
Или упасть на лед.

Наступила тишина.

— Топай отсюда! — порекомендовала мне мама. — Поэты в России жили и писали лучше тебя, и все умерли в нищете. Твои стихи никому не нужны.

— Я просто хотела...

— Спасибо! — сказала Зайна. И улыбнулась. А потом, смущаясь, добавила: — Меня в тринадцать лет замуж выдали, я жизни не знала. Старалась старшим угодить. Били. За непослушание муж ребра сломал — не понравилось ему, как я ответила соседу. В больнице лежала. Потеряла ребенка... Помню, муж бил меня ногами, а в другой комнате были его сестры и мать. Никто мне на помощь не шел. А я все кричала: «Я тебя не люблю! Я тебя никогда не любила!» Так и потеряла сознание... К родным я после больницы не вернулась, сбежала. Не простила их. Скрываюсь с тех пор. На самом деле меня зовут Аминат.

— Никому не расскажем! — сразу сказала мама, внимательно посмотрев на меня.

— Теперь, когда жизнь прошла, это уже ничего не изменит.

— Изменит! Карты говорят, все будет у тебя хорошо. Во второй половине жизни будет свет, а в первой была тьма.



Зайна побыла еще немного и ушла. Шли недели. Соседи спрашивали друг у друга, куда делась наша хохотушка? Никто не знал. Мы, занятые своими делами, тоже стали забывать ее золотисто-рыжие локоны и синие глаза, пока однажды не увидели на рынке стариков Ирину и Ахмеда. Они переехали к дальним родственникам в село и в городе редко появлялись.

— Пропала Зайна! — сообщили мы.

Старик вздохнул, но перевел разговор на другую тему. А старуха не выдержала, сказала:

— Зайна изменила имя, родила ребенка. Смутные сейчас времена. Но и в них есть нечто хорошее: можно затеряться, начать жить заново. Мы чем смогли поддержали ее.

И старики, пожелав нам добраться без обстрела домой, пошли к своему авто.





АВТОРЫ НОМЕРА

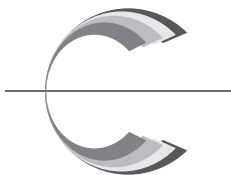
Ася ПЕТРОВА. Рассказ «Вратарь по жизни».



Ася Петрова — автор книг для детей и взрослых. Лауреат премий «Книгуру», им. С. Маршака, награждена почетным дипломом «Белая ворона» Мюнхенской библиотеки.

Живет в Петербурге. Кандидат филологических наук, преподаватель кафедры романской филологии СПбГУ.

Ася ПЕТРОВА



Ася ПЕТРОВА

ВРАТАРЬ ПО ЖИЗНИ

Рассказ

Мне было двенадцать лет, я носила красную бейсболку задом наперед и рваные джинсы, совсем не облегавшие мои худые ноги. Я всегда по-вязывала вокруг бедер хлопковую клетчатую рубашку, которая летела за мной шлейфом, когда я неслась по футбольному полю на просеке. Я подкрашивала губы мамиными тенями для глаз оттенка «пыльная роза» и сама в том в возрасте, в том образе, на даче, в июле, в обществе мальчишек выглядела совсем как пыльная роза — с ног до головы в земле, в мыле, но цветущая и уже почти по-взрослому красивая.

— Эй, папуаска-дистрофичка, ты когда с обеда вернешься? У нас решающий матч.

Тем летом я непривычно загорела, и прозвище «папуаска-дистрофичка» осталось со мной на долгие годы. Спустя пару лет, когда у меня уже выросла грудь, ноги перестали быть «скинни», а солнце потускнело, парни из нашей футбольной команды продолжали дразнить меня тошей афро-девочкой.

— Вернусь часа через полтора, — кричала я, вприпрыжку сбегая с любимой горки, которая подарила мне шрам на колене и неистребимые воспоминания о красном велосипеде с блестящей рамой.

— Как можно обедать полтора часа?!

Этот риторический вопрос, всегда остававшийся без ответа, настигал меня уже у колодца, где я вполне могла сделать вид, будто ничего не слышу, повернуть направо, дернуть калитку и скрыться.

Кто обедает полтора часа? Только французы. Ну, наверное, еще итальянцы, но в двенадцать лет я об этом не знала. Ни один подросток не обедает полтора часа. Обедать так долго просто стыдно. Можно прослыть обжорой, можно пропустить начало игры, можно испортить себе все веселье.

Конечно, я не обедала полтора часа. Я сметала куриную грудку с жареной картошкой — бабушка позволяла есть жареную картошку каждый день! — за пять минут. Проблема заключалась в другом: мне надо было читать.



Папа с мамой приезжали по выходным и проверяли, сколько страниц я прочитала за неделю. Папе всегда казалось — мало, и он усаживал меня в кресло рядом с собой и не пускал играть в футбол, пока я не дочитаю главу, часть или книгу до конца. Мама с бабушкой это горячо одобряли, и когда мальчишки улюлюкали мне из-за забора, высвистывая на футбол, бабушка, подобно строгому дворецкому в богатой семье, выходила на крыльцо и громогласно заявляла:

— Мальчики, она читает Стивенсона.

Парни вздыхали, качали головой, убегали, но вечером снова возвращались, и я с боем отстаивала перед папой право на футбол.

Папа никогда не любил футбол, зато любил книги и не понимал, как я могу бросить «Остров сокровищ» ради игры.

— Да не нравится мне! Мальчишеская книга! — отбивалась я.

— А футбол, конечно, игра для девочек! — не сдавался папа.

— Она с мальчишками бегаёт с утра до вечера, уже вся забегалась, аж подурнела, — когда бабушка подпевала папе, мне хотелось ее убить, несмотря на жареную картошку.

«Ну погоди, — думала я, — вот родители уедут! Я тебе покажу!».

В воскресенье вечером они действительно уезжали, и тогда я с наслаждением подчиняла бабушку футбольному расписанию. Без родителей моя старушка не умела сопротивляться.

Надо признать, в распределении игроков на поле я мало что смыслила. Мне казалось, они бегают как попало и не используют всех возможностей, чтобы победить. Каждое движение они подозрительно выверяли, старались не бить друг друга по ногам, не ставить подножки и не нарушать правила. Я только плечами пожимала.

— Аут! — сердито орала мне. — Желтая карточка! Красная карточка!

Меня раздражали эти карточки. Они убивали мой воинственный дух и превращали поэзию футбола, искусство для искусства в нечто регламентированное, схематичное и упрощенное. Как можно воплотить всю свою страсть в игре, когда тебе запрещают ради гола врезать кому-то по ноге или разок выбить мяч с поля?

Пока я размышляла, парни переговаривались на волшебном языке, они говорили: «Пыром бей!», «Стань в стеночку!», «Выноси!», «Прямо в очко!», «Держи штангу!», «Тащи!», «Отдай пяточкой!», «Не было пеняля!», «Не водись!», «Навешивай на угол!», а еще: «пас», «подножка», «подстраховка», «подкат», «подрезка»...

Меня завораживали эти таинственные слова, среди которых слово «мяч» совсем терялось и вызывало жалость: оно было подобно голливудской диве, случайно оказавшейся на красной ковровой дорожке без макияжа.

Еще мальчишки ругались матом. И даже не ругались, нет. Они просто говорили матом, кричали матом во время игры. Это меня ужасно злило. И дело не в том, что мама с папой, чье мнение я очень уважала, внушили мне, будто мат зло. И не в том, что папа говорил — мол, приличные мальчишки при девочках не ругаются. Проблема заключалась во мне, в моих мозгах, в моем теле. Его буквально выворачивало от мерзких липких выражений, в которых наслонявленные слова так спаивались, так глубоко ввинчивались друг в друга, как нормальные породистые звуки никогда бы не смогли. Только мат бывает трехэтажным. Хорошие слова никогда не клеятся. Они с чувством собственного



достоинства стоят отдельно друг от друга, спокойные, готовые выразить мысль; эмоциональные, но рациональные.

Когда я объяснила тренеру команды, самому старшему мальчику лет шестнадцати, пухлому, со стрижкой-ежиком и голубыми слегка безумными глазами, что я не стану следовать всем правилам, поскольку я свободный художник, а футбол — искусство, меня поставили на ворота.

Я не хотела стоять на воротах, то и дело выбегала на середину поля, кричала, что я вратарь-мотала, и рвалась забить гол, но меня возвращали обратно.

— Чем тебе не нравится быть вратарем? — спрашивал наш тренер.

— Странный вопрос. Стоя на воротах, гол не забить!

— Зато можно отбить!

Отбивала я неплохо. Только головой не отбивала. Папа приучил меня к мысли, что голова нужна для книг.

Однажды я разыгралась не на шутку, мяч постоянно летел в мою сторону, и я ловила его то над головой, то у самого живота, иногда (редко) удавалось отбить ногой, и этот смачный удар звучал в моей голове словно аккорд, венчающий концерт для фортепиано с оркестром. Как-то мяч подкатился прямо к сосне (две сосны у нас считались боковыми стойками), он катился очень быстро, и мне пришлось растянуться на земле в полный рост, чтобы остановить снаряд в последний момент. Раздались аплодисменты, и потный скользящий Дрон (так звали нашего тренера) бросился меня обнимать. Он ликовал и очаровательно картавил, издавая победный клич:

— Ты крутая! Черт! Ты вратарь по жизни!

Я не очень поняла, что такого особенного было именно в том мяче, за который меня похвалил Дрон, но смирилась с ролью вратаря и стала стараться пуще прежнего.

Между тем Стивенсона сменял Чехов, Чехова — Астрид Линдгрэн, ее — Герман Гессе и Патрик Зюскинд. От жареной картошки у меня случился приступ гастрита, мама поругалась с бабушкой, папа окончательно спланировал августовское путешествие по Германии, а я научила шестилетнего соседского мальчика играть в футбол, и он в меня влюбился. Помню, его бабушка приходила пить чай к моей бабушке и говорила, что у внука первая любовь, он плачет и ничего не хочет делать без меня. Я его прекрасно понимала. Ведь и меня футбол кое в кого влюбил, но я это от всех скрывала. Нельзя влюбляться в тренера команды, особенно если ему целых шестнадцать и он ухаживает за другой девочкой.

Другая девочка по имени Аня появилась внезапно. Ее родители купили ярко-желтую дачу рядом с лесом, там до футбольного поля было рукой подать. Сказать, что Аня мне не нравилась — ничего не сказать. Меня до сих пор удивляет, как девочка в двенадцать лет, по большому счету ребенок, может быть такой взрослой коварной стервой. Мало того, что она сразу украла мою фишку — красить губы тенями «пыльная роза», так при мальчишках она корчила из себя романтическую невинность, носила сарафаны, цветы в волосах, впадала в задумчивость и улыбалась как Джоконда. Зато когда мы оставались вдвоем или втроем с моей толстой и молчаливой подругой Леной, которая не играла в футбол, но за меня болела, Аня начинала ругаться матом, курить, отвратительно сплевывать слюну, ржать как конь и говорить о сексе. И это еще не самое страшное. Дрон очень быстро принял Аню в команду, научил



играть, и она стала отбивать мяч головой, чего я никогда не делала. Маленькая худенькая девочка отбивала мяч своей крохотной головенкой, где вряд ли поместилось больше одной извилины. Как же меня это бесило! И как я надеялась, что Аню исключат!

Но она играла все лучше, забивала голы, следовала правилам, не обедала по полтора часа, обсуждала с мальчишками матчи, которые я не смотрела, футболистов, о которых я слыхом не слыхивала, даже чемпионат мира. Маленькая фея, якобы недоступная, далекая и женственная, хитроумно заставляла мальчишек поверить в то, что она как бы одновременно нимфа и хороший свой парень. Убийственное сочетание.

Аня говорила о футболе, а парни — об Ане. Во всяком случае такие слухи разнес брат моей подруги Лены. Еще он рассказал о том, что один из мальчиков, Леша, с Аней целовался, а Дрон только собирается.

Я загрузила. Моя красная бейсболка вдруг показалась мне уродливой и глупой, джинсы — слишком старыми, клетчатая рубашка вокруг бедер — нелепой. Я смотрелась в большое зеркало в деревянной раме и не видела в себе ничего женственного. Я была просто скучной девчонкой, которая не отбивает мяч головой и ни с кем не целуется.

Наступил вечер пятницы, я ждала приезда родителей, сидя в гамаке с книгой в руках. Книга была не для показухи. В тот момент я на спор с папой читала «Обрыв» Гончарова. Папа уверял, что я ни за что не дочитаю, ну а если дочитаю, он купит мне горные лыжи. Это мама придумала дать мне «Обрыв», и папа сразу сказал, что я не осилю. Он не принял во внимание того факта, что читать книгу против папы гораздо увлекательнее, чем просто читать.

Время от времени я поднимала голову и видела в небе, за воротами, за горкой, вершины берез, серебристо-зеленые листья на голубом фоне и белые с черным стволы. Так, подняв голову, я могла бы сидеть часами.

Когда нам с Леной было по восемь лет, мы в этом гамаке жевали банановые конфеты-тянучки и придумывали, как отомстить мальчишкам за то, что они вредные. Мы говорили: «Давай строить козни». И строили их дни напролет. Ничего, кроме метания елочных и сосновых шишек, придумать не могли, зато с каким удовольствием качались в гамаке, впиваясь глазами в небо, окуная носы в густой теплый воздух и радуясь изнутри, прямо из живота, тому, как все идеально, радостно, сейчас я бы сказала — правильно.

В восемь лет меня по-настоящему беспокоила только жизнь после смерти. Внезапно я поняла, что когда-нибудь мама с папой умрут, и мне стало очень страшно. Когда родители приезжали из города, я брала папу за руку, мы надолго уходили гулять в поля, куда не забегали даже бездомные собаки, и я допытывалась: увидимся ли мы после смерти?

Папа любил поля, там он часто воображал, что мы провалились во времени — в эпоху Павла Первого, например. Он спрашивал: «Откуда ты знаешь, какой сейчас год? Вот здесь, сейчас, когда никого и ничего вокруг. Только зелень, сплошная зелень». А потом говорил, что после смерти все люди будут жить со своими семьями, с теми, кого любят, и все у них будет хорошо, и у нас все будет хорошо. Меня это немного успокаивало.

Папа давал мне почитать Библию, я читала, задавала вопросы, чувствовала, что во многом совершенно не согласна с Богом, не стеснялась высказывать свое



мнение, просила привезти мне из города Коран, читала, делала грандиозные выводы и маленькие выводки.

Обо мне и Коране в нашей семье принято рассказывать анекдоты. Что ж, наверное, возраст такой был. Восемь лет. В восемь лет я на полном серьезе пыталась решить, что лучше: Коран или Библия? К счастью, вскоре это прошло.

Бабушка выглянула из окна веранды, где к приезду родителей жарила творожники с изюмом, и внезапно изрекла гениальную фразу:

— Слушай, а надень сегодня вечером розовый сарафан, который мама в Испании купила! Мама обрадуется.

Бабушкина голова исчезла и спустя секунду снова возникла в окне:

— А ваша Аня шмакодявка.

Бабушкина проницательность изумляла.

Я вымыла голову, ополоснула водой со свежей крапивой, которую нарвала под яблоней, распустила кудрявые волосы и облачилась в розовый испанский сарафан.

— Схожу на поле, пока родители не приехали? — спросила я у бабушки, словно не знала ответа.

— Конечно, — бабушка кивнула, заговорщически подмигнув.

Бредя по просеке, я любовалась лиловым вереском, темно-синей черникой, алой брусникой, пушистым львиным зевом, наивными васильками и ромашками, важным тысячелистником, сладким клевером, расторопшей, чередой, дикой малиной, люпинами и ярко-летним небом, которое так любили сосны, которое чуть светлело и заливалось румянцем на горизонте, где леса ярусами поднимались все выше и выше, но насколько хватало глаз, никогда не кончались. Самое счастливое лето в жизни, лето, когда сосновый и озерный воздух к вечеру валил с ног, когда каждое утро начиналось с того, что я в одной ночнушке выбегала на крыльцо проверить погоду и улыбалась, а бабушка с удовлетворением качала головой и повторяла слово «райская», и мы завтракали на залитой солнцем веранде, а потом я до обеда играла в футбол, гоняла на велике, купалась, читала и снова гуляла до самой темноты. Это было лето, когда мысли о жизни, вопросы без ответов и чувство тревоги еще ко мне не подоברались. Последнее такое лето на моей памяти.

Увидев меня на футбольном поле в сарафане, мальчишки захихикали, смутились, покраснели, а Дрон со всей серьезностью произнес:

— Тебе в таком виде сюда нельзя.

— Это почему? — я возмутилась и подбоченилась.

— В таком виде в футбол не играют, — Дрон как будто начинал злиться.

— Как же? Аня постоянно в платье бегают! А мне почему нельзя?

— Не знаю! — Дрон заорал так, что парни присели.

— А ты узнай!

— Не могу!

— Почему?

— Хватит глупые вопросы задавать!

— Сам глупый!

— Ты какая-то в этом платье... не такая!

Оттого что я «не такая», у меня все внутри закипело, и я неожиданно выдала:

— Давай, брось мне мяч, я отобью головой!

Дрон вытаращился на меня, как бык на красную тряпку.

— Ты же никогда не отбиваешь головой!

— А ты брось! Вот и увидим!

— Эй, не надо, пожалуйста,— вмешалась моя подруга Лена, которая вышла откуда-то из-за куста и решила меня защитить.— Не надо, Дрон, не бросай ей мяч, ей нужна голова, мне ее бабушка говорила...

Услышав про голову и бабушку, парни расхохотались, Дрон тоже, но мой гнев было уже не унять.

— Бросай мяч, иначе я тебе нос расквашу,— процедила я сквозь зубы и сжала кулак.

Этой репликой я окончательно взбесила Дрона.

Он отошел подальше, встал примерно на середине поля. Я осталась в воротах.

— Получай, б...!

С невероятной силой озверевшего большого парня он ударил по мячу. Пока мяч летел, я готовилась отбить его головой, потом вспоминала о книгах, мозгах и папиных советах, внезапно решала отбить мяч ногой или вовсе пропустить, но снова вспоминала — на этот раз о том, что я вратарь, крутой вратарь, вратарь по жизни. И пока я думала, мяч летел мне прямо в живот.

Не знаю, какое чувство было сильнее: то ли страх, то ли стыд, то ли физическая боль. Только я согнулась пополам и заплакала.

Парни молчали, Дрон едва слышно буркнул «извини» и пошел прочь. Лена проводила меня домой.

Когда я заявила, держась за живот, зареванная и в грязном сарафане, папа как с цепи сорвался.

— Кто тебя обидел? Что за мерзавец ударил девочку в живот? Что здесь вообще происходит? Я говорил, что футбол до добра не доведет!

— Никто меня не ударял.

— А что случилось?

Из-за папиного крика я рыдала еще более иступленно и захлебывалась в слезах.

— Дрон бросил мне в живот футбольный мяч.

Сквозь стену слез и криков я слышала, как папа с мамой спросили у бабушки, где живет Дрон, затем ушли и долго не возвращались. Брат Лены, который в тот момент был у Дрона, потом рассказывал, как мой папа буйствовал, угрожал и чуть не врзал Дрону — к счастью, его удержали моя мама и бабушка Дрона.

Позже, вечером, меня пришла навестить Аня и очень понравилась родителям. Пока они отдыхали в креслах под соснами, Аня в легком белом платице стояла перед ними и толково рассуждала о том, что футбол не женская игра. За ухом у нее, в темных гладких волосах фиалка выглядела до того изысканно, естественно, что у меня мурашки пробежали по коже. Вот она — красота. Красота настоящей девушки.

— А ты чем тут, на даче, занимаешься? — спросил у Ани мой папа.

— У меня распорядок. Я как проснусь — книжку в руки и читать. Читаю два часа, потом завтракаю, помогаю бабушке с дедушкой прибраться в доме, поливаю цветы на участке, пропалываю грядки,— Аня спокойно перечисляла свои добродетели, и я чувствовала, как на меня волной обрушивается ярость.— Мне нравится ухаживать за садом, сейчас наконец появилось время заняться шиповником...



— Она все врет! — перебила я. — Уйди с моего участка, мелкая дура!

Я зарыдала так, словно мне во второй раз попали мячом в живот.

Бабушка увела меня в дом, а родители остались извиняться перед Аней, пока я тряслась всем телом, обливалась слезами, стучала зубами и ненавидела — точно не знаю кого.

Ночью я долго не могла уснуть, а наутро меня увезли в город, чтобы показать живот врачу. Живот был в порядке.

Играть в футбол и приближаться к Дрону мне, конечно, запретили. Объяснять папе, что Дрон скорее всего попал в живот случайно и что я просила бросить мяч в голову, как-то не хотелось. Я решила махнуть рукой. В конце концов, Дрон мне не так уж и нравился. Тем летом мне нравились еще два мальчика и покойный Джо Дассен. Так что одним меньше — не беда. А вот с футболом дело обстояло куда серьезнее. Вместо того чтобы играть, я попробовала смотреть футбол по телевизору, но это занятие меня ни капли не увлекало. Глядя в экран, я, подобно старику Хоттабычу, удивлялась, почему такая толпа гоняется за одним-единственным мячиком. Голос комментатора утомлял, а лица фанатов не внушали доверия. К тому же, бабушка рассказала мне о том, что футболисты зарабатывают в миллионы триллионов раз больше, чем папа, хотя папа профессор, а футболисты нет. Это меня здорово рассердило.

И все-таки жить на даче без футбола не получалось. Как только Дрон с родителями уехал смотреть новое жилье в Канаде (тогда модно было переезжать жить в Канаду), я снова примкнула к команде. Еще и Лену уговорила играть. И стала учить правила. Брат Лены все мне объяснил, он сказал:

— Смотри, в футболе много тонкостей, но у нас тут все проще. Поле небольшое, команды неполные, разметки почти нет. В настоящих командах по 11 игроков на поле, а мы 6 на 6 играем, иногда 8 на 8. Поэтому у нас на защитников, полузащитников и нападающих деление условное, по-хорошему все должны и защищаться, и назад бежать. Но это вообще такой тренд в футболе сейчас. Вот что главное, что тебе надо помнить: руками может играть только вратарь, полевые игроки максимум плечом могут мяч отбивать. Сыграешь рукой, значит, будет штрафной или пенальти. Пенальти — если нарушение у самых ворот. Пенальти бьют с 11-ти метров прямо по центру ворот, и ворота защищает только вратарь. Ну, мы бьем с 5-ти метров, потому что у нас ворота меньше. Это почти стопроцентный гол. Полевой игрок только в одном случае может руками играть — когда вбрасывает мяч из-за боковой линии. Если мяч за боковую линию выкатился, игра останавливается. Мы говорим: «ушло» или «аут». Аут выбрасывают руками, из-за головы, можно с разбега, но при этом нельзя за линию заступать. Ну и важно знать, когда еще штрафные назначают. Нельзя руками толкать соперника, только плечом оттирать, нельзя бить по ногам, особенно сзади, за это удаляют, нельзя хватать за одежду, нельзя в борьбе играть высоко поднятой ногой, нельзя ставить подножки. Можно выбивать мяч в подкате, то есть падая и вытягивая ногу, но если попадешь не в мяч, а в ногу, получишь предупреждение или удаление. Еще нельзя мешать вратарю в пределах его вратарской площадки. В настоящем футболе еще фиксируют офсайд, или положение вне игры, это, грубо говоря, когда нападающий на чужой половине поля получает мяч за спиной последнего защитника, но у нас разметки нет, поэтому все равно не докажешь, чужая эта половина поля или еще нет.



Я не все поняла, потому что брат Лены говорил очень быстро и немного на меня раздражался, но часть правил я осмыслила. Правда словосочетание «полевые игроки» никак не укладывалось в голове. Я сразу представляла себе мышей, и воображение уносило меня далеко-далеко.

Брат Лены сказал, что футбол, как музыка — искусство. Такое определение мне понравилось. Музыка я тоже любила и тоже не понимала. Мне казалось, музыку нельзя понять и не надо понимать. Может, футбол тоже не надо понимать до конца.

Помню, Дрон говорил, что футбол — драйв. Музыка тоже драйв. В футбол играют. И музыку играют. Иногда играют в музыку, но тогда ничего не выходит. Все дело в языке, в предлоге. Я совершенно не умела играть в футбол, зато обожала играть футбол, то есть бездумно им наслаждаться. Футбол звучал. Удары различались по силе, бывали глухими и гулкими, даже звонкими. Футбольное поле стучало, шуршало, трещало, громыхало, скрипело. Поскрипывали на ветру ветви сосен, трещали шишки под ногами, дятел стучал клювом по стволу, шуршал бездомный кот в траве, громыхало небо перед летней грозой, щебетали трясогузки, гудели пчелы, свистел судья, мальчишки орала во всех тональностях и регистрах: «Зашибись! Зашибись вовсюсю!» Голоса раздавались эхом, превращая дачный жаргон в мастерскую потенциального языка Раймона Кено. И все сильнее я чувствовала, что футбол объединяет даже тех, кто не может говорить на одном языке, и по ночам мне снилось, будто властители мира складывают оружие и бегут на концерт. А на стадионе и рояль, и гобои, и скрипки, и виолончели, и контрабасы, и флейты, и фаготы, и валторны, и трубы, и тубы, и литавры, и контрабасы, и арфы, и английский рожок, и дирижер с тоненькой, как стебель ромашки, палочкой: он то ли Рихард Вагнер, то ли Артур Никиш, но точно играет Девятую симфонию Брукнера. Ту самую, что обожали обсуждать Шушниг и Зейсс-Инкварт до того, как стали убийцами.

И вместе с музыкантами на стадионе полно футболистов. У них мировой матч, то есть матч за мир. Ни у кого из болельщиков это не вызывает удивления или сомнений, потому что все знают: кое-что произошло. Когда Гитлер встречался с Шушнигом и спросил, каковы достижения Австрии в мировой истории, и Шушниг, побледнев, задрожав, сфокусировавшись на синем небе и соснах в окне, тихо, робко, наивно ответил: «Бетховен», — Гитлер не закричал, не сказал, что Бетховен немец, не озверел, а согласился, улыбнулся, вспомнил Хуго Майсля с его «Лучшая оборона — это атака», решил оставить атаку футболистам и научиться играть на арфе. И Зейсс-Инкварт с Шушнигом продолжали обсуждать Девятую симфонию Брукнера, и никто никого не казнил, и провидец Второй мировой Луи Суттер не сошел с ума.

Такой сон приснился мне лишь раз, но запомнился, словно инопланетяне передали важное послание с Марса. Бабушка говорила, что напрасно папа все время рассказывает мне об истории: «Вон даже сны стали чрезмерно эрудированными». А папа говорил — нет ничего важнее истории и литературы.

Иногда мне снилось, будто меня целует Джо Дассен. Он был одет в белый костюм, легонько пинал сияющий белый мяч, который катился по ярко-зеленой искусственной траве из музыкального клипа, и насвистывал. Про поцелуи во сне я бабушке с папой не докладывала.

Зная все правила, я играла в футбол уже более вдумчиво. Аня тоже с нами играла. Постепенно моя ненависть переросла в обыкновенную неприязнь.



Оказалось, что про грядки и работу по дому она не врала, а вот по утрам всегда читала одну и ту же книгу — Библию. Ее семья была невероятно религиозной, но видимо, не литературной.

После того как я дочитала «Обрыв», а папа наотрез отказался покупать мне горные лыжи, мы сошлись на том, что я буду играть в футбол, когда захочу. Соглашение меня вполне устраивало, и к середине августа я уже совсем не хотела ехать с родителями в путешествие по Германии. Я мечтала остаться на даче — лучше бы навсегда.

Однажды вечером перед отъездом в город, за день до отлета, я вернулась с футбольного поля, держась за живот. Родители сразу запаниковали.

— Тебя что, опять мячом? — негодовал папа.

— Надо было запретить, и все! Лучше бы лыжи пообещал, она бы к зиме о них забыла! Нам же лететь послезавтра!

Мама с папой ругались и не слушали меня. А я пыталась объяснить, что никакой мяч в мой живот не прилетал, просто вдруг заболело.

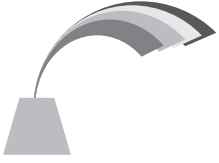
— Ну, прими но-шпу и ложись уже в кровать, — сказала бабушка.

Я пошла в дом, стала раздеваться и вдруг увидела на светлых джинсах пятно алой крови. На мой крик прибежала мама, сначала испугалась, а потом вдруг обрадовалась, рассмеялась и давай меня поздравлять. Я долго не могла взять в толк, что происходит. Новость показалась мне странной и даже неприятной. В тот момент я еще не понимала, какие изменения она готовит.

После Германии в сентябре на выходных, и следующим летом, и через год, и еще спустя год я по старой привычке, хоть и без особого желания пробовала иногда гонять с мальчишками в футбол, но почему-то игра больше не доставляла мне удовольствия. А вот платьев, цветов, книг, туфель на каблуках и разных мыслей с каждым годом прибывало.

Может, когда-нибудь я научу играть в футбол своих детей. Буду бегать с ними до изнеможения или стоять в воротах. Разрешу долго не обедать, не читать каждый день, помогу соорудить футбольное поле. Но что бы там ни случилось, я, как мой папа, не позволю им отбивать мяч головой. Мало ли для каких книг она пригодится.





АВТОРЫ НОМЕРА

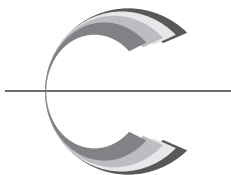
Ованес АЗНАУРЯН. Рассказ «Давидовы сны».



Ованес Азнаурян родился в 1974 году в Ереване. Окончил Ереванский педагогический институт (факультет истории и основ права). Пятнадцать лет преподавал историю в ереванской школе № 55 им. А. П. Чехова. Сейчас — системный администратор.

Писать начал с 1989 года. Печатался в газетах, журналах, альманахах. Автор книг повестей и рассказов «Симфония одиночества», «Симфония ожидания». Автор переводов (Левон Шахнур «Младенец, проглотивший Луну» — журнал «Нева», № 7'2014 и других). Член Клуба писателей Кавказа.

Ованес АЗНАУРЯН



Ованес АЗНАУРЯН

ДАВИДОВЫ СНЫ

Рассказ

1

Встречающие Вену, Париж, Дубай, Тегеран, Минводы, Сочи, Мюнхен, Ростов, Москву. Таксисты, жаждущие заполучить «иностранный» пассажира и довести от международного аэропорта «Звартноц» до города за астрономическую плату.

Московский рейс многие встречали с букетами, торжественно и празднично одетые, некоторые женщины — вовсе в вечерних платьях, на каблуках, в бриллиантах.

Висел какой-то постоянный гул, периодически перемежающийся женским и мужским смехом.

— Москва? Москва уже села?

— Да. Это Москва. Уже выходят.

— Наши не вышли пока.

— Наши тоже, — сказал он с иронией.

— У нас свадьба.

— Поздравляю.

— Они познакомились в метро, в Москве.

— Поздравляю.

— В Москве сыграли свадьбу, а теперь свадьба будет в Ереване.

— Поздравляю.

Мужчина был в костюме, с белой розой в петлице пиджака, из-за чего выглядел «самым глупым человеком на свете».

— Мы молодоженов проводим в гостиницу, а завтра с утра — в Эчмиадзин. Венчание там будет. В сурб Гаяне*. Свадьбу сыграем в «Валенсии»...

Эдик просто кивнул, а потом увидел, как из-за раздвигающихся дверей появилась Аля — с маленьким фиолетовым чемоданом на колесах.

— Привет, Эдик.

* Церковь Святой Гаяне (арм.).



- Привет, Аля.
- Они обнялись.
- Как долетела?
- Устала. Со мной в самолете была целая свадьба!
- Да, знаю. Вот их встречают...
- Ты как?
- Хорошо. Наверное.
- Ты всегда так отвечал, — улыбнулась Аля.
- Видимо, так.
- Пойдем?
- Пошли. Я в очень неудобном месте припарковался.

Когда уже отъехали от аэропорта, Аля, которая села на заднее сиденье и меняла симки в телефоне, спросила:

- Как Давид?
- По-прежнему. Давид как Давид. Без изменений. Шоферит. Тебе сразу в отель?
- Пожалуй, нет. Давай в то кафе. У Оперы. Помнишь? «Шоколадница»?
- Хорошо.

2

Во всем районе Сабуртало... — да что там! — во всем городе Тбилиси и, говорят, во всей Грузии шел дождь.

— Гамарджоба, — обратился он к двум девушкам-сестрам за стойкой кофейни на проспекте Пекина.

— Гамарджоба, Дато, — ответили девушки.

А одна из них, та, что была влюблена в него, Манана то есть, светленькая, добавила:

- Твоя пассажирка пришла. Сидит за столиком в углу, у окна.
- Ага, вижу, — сказал Давид. — Мне кофе и сэндвич с курицей.
- С курицей нет.
- А вот в Entre есть.

— Вот и иди в Entre, если у нас не нравится, — сказала старшая сестра, Нани, черненькая.

— Я тебе сделаю с ветчиной, — сказала тихо Манана и улыбнулась Давиду. — С тебя двенадцать лари.

— Ага.

Надя сидела за столиком и смотрела на дождь. Она пила капучино и ела круассан. У Нади были короткоостриженные, пепельно-русые волосы и большие квадратные сережки. Перед ней на столе лежал смартфон, в который она время от времени заглядывала.

— Привет. Я разве опоздал? — спросил Давид, подойдя к ней.

— Здравствуйте. Вы Дато? Я вас по-другому представляла... Нет, вы не опоздали. Я остановилась в гостинице «Уют», хозяйку Катя зовут. Это тут недалеко, поэтому я и пришла чуть раньше. — Надя протянула руку для рукопожатия, но Давид не заметил, и ее рука на несколько секунд повисла в воздухе, а потом опять потянулась к чашке с капучино.



— А я живу на той же улице. Могли б вместе прийти и позавтракать. Знаете что? Я сейчас быстро выпью свой кофе, и мы поедem,— сказал он.

— Да... И мы поедem.— Надя посмотрела в окно.— Во всем районе Сабуртало идет дождь...

— Да что там! — попытался рассмеяться Давид.— Во всем городе Тбилиси и, говорят, во всей Грузии идет дождь!..

Давид достал из кармана сигареты. Ему захотелось курить.

— Дато, шени шеквета мзад арис*.

— Хо**, Манана.

Надя улыбнулась:

— Я заметила, что одна из них, черненькая, по-русски совсем не говорит. А та, что светленькая, хоть и говорит немного, но старается это скрыть. Да и с вами говорят исключительно по-грузински, хотя и поняли, что я русская. Это типа «мы грузины, и мы вместе», да?

Давид отошел к стойке и вернулся с кофе и сэндвичем на подносе. И только тогда ответил:

— Я армянин,— и сел на свое место.

— Что?

— Я не грузин, я армянин.

— Хорошо,— Надя опять улыбнулась.

Вообще Надя часто улыбалась. Смотрела на Давида и улыбалась. Давид же ел свой сэндвич и тоже смотрел на нее, и не понимал, почему она улыбается. Он не мог пока решить, нравится ему ее улыбка или нет.

— Наверное, в Апаране будет снег,— сказал он.— Если мы поедem через Апаран.

— Трудно будет? — спросила она.

— Да. Но я все равно люблю снег.

— Я тоже. И этой ночью мне тоже снился снег. Седой такой сон... Вам снятся сны, Дато?

— Нам скоро выходить. Закругляйтесь...

Надя расхохоталась:

— Слушаюсь, господин... И повинуюсь!

— Поедem за машиной.

— Вы не на машине, значит?!

— Нет. Мы сейчас за ней поедem. Я оставил ее в сервисе, проверить перед дорогой.

3

Просто Давид не хотел говорить о снах. В последнее время во сне Давид все чаще видел родных, друзей, близких, которые уходили, возвращались, что-то говорили ему, снова уходили, и он с грустью думал о том, что скоро останется один. Он считал, что родные, друзья, близкие снятся, потому что скоро покинут его. Так они прощаются. Поэтому Давид все чаще был печален и задумчив, а встречаясь

* Дато, твой заказ готов. (груз.).

** Да (груз.).



наяву с этими самыми родными, друзьями, близкими, гадал: умрет этот человек скоро или уедет — навсегда. И вообще, многие из тех, кого он видел в снах, уже или уехали, или умерли... Снам Давид особо не верил никогда, но эти сны-прощания с недавних пор повторялись в той или иной вариации с утомительной навязчивостью, и от этого было как-то не по себе. Увидев же этот последний сон, отличающийся от предыдущих, Давид понял, что ошибался. Уйдут не родные, друзья, близкие, уйдет он сам. В этом последнем сне Давид сидел в кресле, в парикмахерской, и его стригли. И почему-то остриженные волосы были седые. Давид помнил, что очень удивился этому во сне. Ведь он же видел себя в зеркале, и в зеркале-то он был не седой совсем. Но вот волосы, которые уже отрезали, были белые и неприятно контрастировали с синей накидкой, которой укрыл его до шеи парикмахер, они скользили по полу, как живые, при малейшем сквознячке, пока уборщица не подмела в очередной раз вокруг кресла. Это был очень неприятный сон, а главное, в этом сне не было ни родных, ни друзей, ни близких. Только парикмахер. И в этом Давид тоже усмотрел какой-то зловещий смысл: например, что парикмахер во сне — это именно тот — человек? существо? — кто должен был приготовить его к смерти... Это было похоже на причащение, только причащал его не священник, а парикмахер мужского салона «Дельвиг». Почему «Дельвиг», никто не знал. Никому в голову не пришло бы заподозрить хозяина этого салона в каких-либо связях с русской поэзией, и поэтому, когда три года назад появился салон с таким названием, все пришли в недоумение. Говорили еще, что скоро все маленькие магазины, парикмахерские в районе Сабуртало закроются, когда наконец закончится строительство огромного торгового центра. Его уже почему-то все называли «молл». Гигант сожрет всех. Впрочем, как всегда...

Проснувшись тем утром, Давид почувствовал во рту привкус смерти — металлический такой, тошнотворный, и ему захотелось срочно почистить зубы. Сон все еще пульсировал в груди и в висках, и, умываясь, Давид решил не смотреть на себя в зеркало и по этой причине даже не побрился (он подумал: «А вдруг в зеркале я буду седым?!»). Он взял сумку, уложенную еще с вечера, накинул на голову капюшон куртки и вышел из хостела. В дождь. Пошел по маленькой, невзрачной улочке Цагарели, потом свернул на Мицкевича, а дальше уже вышел на проспект Пекина, в кофейню «А-Петит».

4

После завтрака Давид вызвал такси, и они поехали.

— Куда мы едем? — спросила Надя.

Давид ответил:

— Понятно же куда. За машиной.

— А какая у вас машина? — спросила Надя.

Она подумала — не обманывают ли ее. Наверное, каждая женщина время от времени думает, что ее обманывают.

Давид ответил, словно технические характеристики читал с рекламы по продаже автомобилей — ведь каждый мужчина хочет, чтоб ему верили, даже если он при этом и не врет:

— «Хонда» две тысячи девятого года. Цвет черный, с аэрографией в виде бегущего гепарда. Объем два и четыре литра. Коробка-автомат. Кожаный салон, бежевый.



- Это очень важно, что объем два и четыре литра,— рассмеялась Надя.
- Издеваетесь?
- Да...

5

— Гамарджоба, Дато-дзмао*! Твоя «хонда» совсем новый стал, слуши!
 — Гаумарджос, брат! — Давид пожал руки всем троем братьям: Левану, Нико и Луке. Фамилия у них была Асатиани, и Леван утверждал, что они потомки того самого княжеского рода. Нико и Лука не верили этому, а Давид думал: «Черт их знает!» Леван же приводил доводы:

— Посмотри на нас! Мы три уroda-горбуна, и у нас у троих деформирован скелет. У Луки вон вообще правое плечо чуть не срослось с ухом, такой он кривой. Разве это не доказывает, что мы из княжеского рода?

— Нет,— всегда резонно отвечает медлительный Нико.

— А Тулуз? Этот самый... Лотрек? — вспыхивал Леван.— Думай, потом говори, да!

У Левана, Нико и Луки была автомастерская, в которой они сами и работали. К ним — и ни к кому другому — отвозил свою «хонду» Давид после очередной поломки. У братьев действительно были золотые руки, и Давид оставался всегда доволен. Он как-то даже любил этих трех братьев-уродцев.

Выйдя из такси, Надя осталась стоять под навесом. Рядом с ней был ее чемодан.

— Шентан вин арис, Дато?** — спросил Лука.

— Моя пассажирка. В Эреван поедem. Надежда.

— Других пассажиров нет? Только она?

— Да,— ответил Давид.— Она арендовала всю машину.

— Богатая?

— Непохоже...

— Надзья, жэнишься на мнэ? — заулыбался русской речью вдруг Леван.

Надя рассмеялась:

— Выйду замуж разве что за Давида. Возьмешь Надежду замуж, Давид?

— Глупые вы все,— сказал Давид братьям и обратился к Наде: — Давайте ваш чемодан, я в багажник положу.

Надя села в машину. Она смотрела, как Давид прощается с братьями.

— Кетили мгзавроба, Дато!***

— Каргад икъави****, Леван, каргад икъави, Нико, каргад икъави, Лука...

6

Просто видишь хороший сон — просыпаешься мрачный, потому что обидно проснуться. Видишь плохой сон — все равно просыпаешься мрачный, потому

* Приблизительный аналог армянского «джан» (груз.).

** Кто это с тобой, Дато? (груз.)

*** Доброго пути, Дато! (груз.).

**** Счастливо оставаться... (груз.)



что вообще все видится в мрачных тонах. Надо разучиться видеть сны, подумал Давид. Сны — это наша тюрьма. Хотя нет... Например, Манана вчера сказала, что чувствует себя абсолютно свободной только во сне. Может, она и права? Вот в последнее время снятся «сюжетные» сны, порой многосерийные. Такие, что не хочется просыпаться, пока не досмотришь до конца. Настоящие рассказы, с диалогами, описаниями, с закрученной сюжетной линией. Отшлифованные и переписанные набело. Готовые. Такие вряд ли написал бы наяву — «свободные». Но, проснувшись, с сожалением отмечаешь, что не все помнишь. А жаль. Получились бы отличные рассказы, ну, или романы (если б ты писал рассказы и романы)... Такой материал, и все это пропадает! И вот думаешь: мы давно научились записывать с телевизора — сначала звук (помнишь, как сам подключал к телевизору «маг» и записывал все песни из «Трех мушкетеров»? А до того — вместе с отцом — фестивали в Сопоте?), а потом и изображение (помнишь? И еще с камеры!)... — так когда же мы научимся записывать сны? Да! На какой-нибудь жесткий диск. Подключил штекер одним концом к компу, а другим — к голове (в ухо?) и заснул. И видел сны... Чтоб потом переписать — набело. Чтоб добавить лишь название и дату. Или пронумеровать — «сон номер пятнадцать»?.. Так когда мы научимся записывать сны? Такой материал! Да и в снах своих мы пишем совершенно свободные рассказы. Но ты не пишешь рассказы. С некоторых пор. Ты простой армянский шофер.

— Когда ты чувствуешь себя абсолютно свободной? — спросил он Манану вчера.

— Когда я сплю, — ответила та, и он ее поцеловал. В первый раз.

7

А потом они поехали. Сначала, когда еще ехали по Тбилиси, молчали. Только Надя время от времени называла улицы вслух, как будто хотела запомнить, и, если ошибалась, Давид ее поправлял. Иногда он говорил, как та или иная улица раньше называлась, но Наде этого не нужно было: ей хотелось запомнить так, как было сейчас. «Зачем мне знать, как было раньше, если раньше меня не было? — думала она. — Неужели это непонятно?»

«Дворники» метались из стороны в сторону по лобовому стеклу, хоть дождь, кажется, и поутих.

Когда выехали из Тбилиси, Надя почувствовала — опять, как и каждый раз в дороге, — что теряет чувство времени и реальности.

8

— Искаженная реальная реальность — это дорога. Не в смысле того, что искаженно показана реальность, а реальность сама искажена, и отсюда «абсурд бытия». Есть нечто глубоко трагичное в том, что сознание человека расщепляется, искажая правду или целостность видения, равно как и в том, что сама реальность, подобная зеркалу, разбивается на осколки или расплзается пазлом, и ты не можешь узнать отражение или понять картинку. Мы живем в искаженной реальности, а значит, в искаженном времени. Нынче искаженные времена... Вообще, очень трудно стало жить. Жить вообще невыносимо трудно, почти невозможно. Жизнь — очень трудная работа. И отпусков не бывает. Только



увольнения, иногда — «по собственному желанию». А кому пожаловаться? Неизвестно. Директору? Ага, пожалуешься, как же! Ведь у Директора вечная должность. Бессмертный никогда не поймет смертного, как и сытый голодного. Кому ж тогда пожаловаться на невыносимую тяжесть бытия? В конечном итоге все опять сводится к уже знакомому нам Абсурду... Что касается любви... С любовью — как с паранеопластическим синдромом. Иммунная система, не распознав, где рак, ошибочно атакует мозг, легкие, сердце (а в случае с любовью, впрочем, и другие органы тоже), и они по очереди отказывают или, наоборот, работают интенсивнее... Любовь — это вообще как рак. Со временем становится все хуже и хуже. И время ее вовсе не лечит, а наоборот. Но известно, что один вид рака может вылечить другой вид (хоть слово «лечить» в данном случае звучит как ирония). Любовь лечится только другой любовью... Что же вы молчите? Ну отреагируйте как-то, Дато, кивните хоть, что ли, — рассердилась Надя. — Я тут целую речь толкнула. Вы совсем никакой. Вы какой-то неосязаемый. Как будто вас и нет вовсе, и машина сама, зная дорогу, едет в нужном направлении, а не вы ведете ее...

— Да я простой армянский шофер, Надя, — рассмеялся Давид. — Вы думаете, я философ? Минут через пятнадцать можно будет остановиться и пописать. Вы же хотите писать? Потому что потом будет граница, и неизвестно, на сколько мы там застрянем.

— Вы ужасный тип! Впрочем, благодарю за заботу о моем мочевом пузыре.

9

Да, ты не пишешь рассказы. А смог бы теперь? Не знаешь. С тех пор как ты себя похоронил, ты ничего уже не знаешь. Кажется, раньше об этой жизни ты знал больше и был мудрее, даже смелее и мужественней. А сейчас? Сейчас ты ничего не знаешь о жизни. Нельзя писать, когда ничего не знаешь. И вообще, ты знаешь, что, когда пишешь, заболеваешь. Писать — это заболеть. Это как добровольно себя заразить тяжелой болезнью (поэтому и трудно себя заставить решиться), а потом и героически выздоравливать, делать все возможное, чтоб не умереть и довести до конца... Твой друг Давид (тоже Давид, другой Давид) рассказывал: когда великий Грант писал (начинал новое), всегда заболел физически — поднималась температура, появлялся кашель, горло болело... Писать — значит экспериментировать над собой, над своим здоровьем. Когда пишешь, всегда подвергаешь себя риску. Во всех смыслах. Впрочем, теперь Дато, Датико ни за что не хотел подвергать себя риску. Ни в чем. Разве что везя пассажиров из Тбилиси в Ереван и обратно. Ведь с некоторых пор он — простой армянский шофер. Его нет в Ереване, и в то же время его нет в Тбилиси. Он есть только в дороге. Он и ощущал себя живым только в дороге. В Ереване и в Тбилиси он был мертв. Нельзя писать, когда ты мертв. Нельзя писать, когда ты ничего не знаешь об этой жизни. Больше не знаешь.

Вчера курил на балконе. На балконе хостела, где он ночевал каждый раз, когда оказывался в Тбилиси. Внизу проходили мужчина, толкающий пустую коляску, и две женщины. У одной на руках был малыш. У другой — сумки, пакеты. Первая, с малышом, была моложе, тоньше, с такими модными очками, она как-то очень внимательно, даже несколько заискивающе улыбаясь, смотрела на мужчину. Он был высок и красив, пижонского вида — в белоснежных кедах на босу ногу. Давид слышал, как он разглагольствует о возможности дружбы



между женщиной и женщиной. Вторая женщина, у которой были сумки, была полноватой, некрасивой, неухоженной, слишком просто одетой. В отличие от молодой, худой, она молчала. А та, первая, все повторяла вслед за очередным перлом мужчины: «Да, правильно!» И вдруг Дато понял, что полная беременна. Значит, жена — она! А подруга?.. Подруга очень внимательно слушала молодого мужчину и улыбалась, улыбалась, улыбалась, время от времени целуя спящего малыша. «История начинается!» — подумал Дато. Но больше ничего в душе не случилось. Нельзя писать, когда ты мертв. Иначе все будут мертвы в твоём рассказе, как, впрочем, и весь рассказ. Да и сны твои про смерть. Вот ты умер, поэтому и сны твои про смерть, подумал Давид. «Как будто вас нет», — сказала Надежда. А тебя нет, потому что ты одинок и все уехали. Ненавидишь, когда уезжают, ведь тогда ты остаешься один. Да-да! Виноваты все те, кто уехал... Если б они не уехали, все бы было хорошо. Уехали или умерли... Виноваты они! Впрочем, нет. Мы отчаянно ищем виновных, чтобы заглушить собственную совесть, сознание вины за то, что мы живы. Нет? Самое неприятное, что можно почувствовать, — это приступы коллективной совести. Чтоб освободиться от этого, нам надо непременно найти виноватого (лучше одного). И тогда мы «успокоимся». Конкретный трус Пилат, конкретный Иуда (предательство из любви), «несуществующий» царь Ирод. Но не мы все. Только не мы все. Не мы, приветствующие торжественный вход Его в Иерусалим. Господи! Только мы все вместе (а не по отдельности) можем вначале кричать: «Осанна!», а потом: «Распни Его!»

«С утра был просто ветер, сейчас дождь с ветром, а в Апаране будет уже снег с ветром, — подумал Давид. — Снег успокоит остатки нашей коллективной совести и найдет того, нужного, крайнего, виновного...»

10

— Знаете, до семи лет у меня был плюшевый медведь — Арчи звали. По-армянски медведь — «арч», — почему-то вдруг сказал Давид Наде. — Ну а мама, филолог-англист, переделала в Арчи. Поскольку я заговорил поздно, в четыре года, и всегда говорил медленно, то Арчи оказался самым внимательным и терпеливым слушателем. В отличие от людей, он никогда не перебивал, когда я медленно — слишком медленно! — начинал строить предложения вслух. Так что мне было с кем поговорить. И я много с ним говорил. А потом Арчи умер. От старости. Но я к тому времени уже стал говорить чуть быстрее.

— О! Спасибо Арчи за то, что вы хоть заговорили! — рассмеялась Надя.

11

Манана очень нравилась ему. Но у них ничего не было. Хотя Манана и хотела, и Давид знал это. И еще Давид знал, что Нани, старшая сестра Мананы, была против их общения. Нани невзлюбила Датико, как называла Давида Манана.

Манана была маленькая, хрупкая и светлая. И казалась неземной и прозрачной. У нее была такая тонкая кожа, что можно было разглядеть венки на веках. У нее были голубые глаза, и Давид не знал, как относиться к ее таким глазам. Давид вообще не знал, что он, собственно, чувствует к Манане, просто знал, что

она нравится ему, и неожиданно — прежде всего для самого себя — пригласил ее вчера на ужин. Оставив машину у братьев Асатиани (возвращаясь из Еревана, он слышал какой-то странный стук в моторе), Давид позвонил Манане и договорился о свидании. Манана согласилась. Давид знал, что она согласится, пускай хотя бы ради того, чтоб позлить сестру, и он поехал за ней на такси.

- Куда мы поедем? — спросила Манана.
- Ты ведь голодна? — спросил Давид.
- Конечно! Ты же меня на ужин пригласил.
- Тогда в «Мачахелу»?
- Да.
- Тависуплебис маэдани*, — сказал Давид таксисту.

Тот лишь кивнул.

На площади Свободы рядом с Dunkin' Donuts сидел на тротуаре и пел под гитару уличный музыкант, и Давид подумал: «Это Яшка! А вот Авета, который тоже тут играет, нет. Что-то давно я не видел Авета...»

В «Самикитно-Мачахеле» было, как всегда в эти вечерние часы, многолюдно, и Давид подумал было, что не найдется свободного столика. Но официант с бейджиком «Георгий» проводил их вглубь второго зала, и они сели у стены в углу. «Свой Георгий есть и в «Мачахеле», что на площади Вахтанга Горгасали», — подумал Давид и улыбнулся про себя... В углу, где они сели, на стене не было картин Пиросмани — в отличие от других залов, — и Давид то ли обрадовался этому, то ли пожалел.

Заказали пиво, хинкали, салат из баклажанов с чесноком и толчеными орехами, пхали.

— А ты знал, что хинкал — это не то же самое, что хинкали? — спросила Манана. — Хинкал и хинкали — это не одно и то же. Хинкал — это дагестанское, без мяса внутри, мясо подается отдельно. Причем различают аварский, даргинский, лакский, лезгинский... Лезгинский, например, похож на ваш армянский «татар-бораки»...

— Я знал это. У меня друг есть из Дагестана. Не знаю, где он теперь. Может быть где угодно, — ответил Давид.

Манана посмотрела на него. Давид был большой, сильный, взрослый... Всегда в этих мешковатых черных брюках, несколько коротковатых для него, без ремня, в этой парусиновой рубашке, которой, наверное, уже было сто лет, с несмываемым пятном от пролитого кофе. Он вечно курил, и у него был большой шрам через все лицо и шею.

— Почему тебя нет, Дато? Ты никогда не «здесь и сейчас». Ты где-то. Или был, или будешь... Но тебя нет... Я тебе не нравлюсь, Дато? Скажи!

- Нравишься, Манана.
- Почему же ты никогда не улыбаешься?!

Когда официант Георгий принес все, что они заказали, заменил пепельницу и ушел, Давид сказал:

- А кофе пойдём пить в Wendy's. С круассанами. Хочешь пройтись?
- Хочу.
- Ты не простудишься? Это далеко. По Руставели почти до конца. До вардебис

* Площадь Свободы (груз.).



революции с моедани*.— А сам подумал: «Это получается район Вера. Вот Вера в Тбилиси есть, а Надежды нет». И опять улыбнулся. Но про себя. Опять.

— Датико! Ме давибаде да гавизарде тбилиши. Ме ес вици**, — сказала Манана. Она была в черном коротком платье и красных кедах. Без жакета. Из украшений на ней был только серебряный крестик.

Съев всего два хинкали и осушив кружку пива, Давид закурил.

— Ты очень красивая, — сказал он, шурясь от дыма, и от этого Манане показалось, что он смотрит на нее оценивающе.

— А ты очень много куришь, — сказала она. — И у тебя звонит телефон.

Давид ответил на звонок:

— Алло? Надежда? Очень приятно. Меня зовут Дато. Да, Эдик мне говорил о вас. Завтра утром в десять, в кофейне «А-Петит» на Пекина. Найдете? Хорошо...

Когда уже вышли из «Мачахелы», перешли площадь Свободы и пошли по гулкому проспекту Руставели, где, по обыкновению, как в трубе, всегда разгуливал ветер, Давид обнял маленькую Манану за худые плечи и сказал:

— Послезавтра я опять буду в Тбилиси. Хочешь, поедем в Мцхету? А потом поужинаем в «Салобие»?

— Только если ты меня поцелуешь сейчас.

— Нет. Мы на улице же...

— Ну и что?! Я хочу сейчас поцелуй! А послезавтра будет «Салобие»!

Проспект Руставели гудел машинами. «А в Ереване никогда проспект так не гудит... Это потому, что туф поглощает звук...» — догадался Давид. На такое надсадное гудение большой улицы Давид обратил внимание, когда летом ходил по Тверской в Москве. Там тоже гудело. И вот теперь Давид понял почему: в Ереване дома из туфа, а в Тбилиси и Москве — нет. Там дома рикошетят звук...

12

— Бари галуст***, Даво-джан! — сказал молоденький пограничник из своей стеклянной будки и, шлепнув в паспортах Давида и Нади печать о пересечении границы, вернул их.

— Так, после границы вы уже не «Дато-дзмао», а «Даво-джан»? — рассмеялась Надя, когда отъехали.

— Конечно!

— Странно, — сказала она после короткого молчания. — В Армении тоже идет дождь. Кроме дождя, тут, впрочем, все по-другому. Да и дождь здесь совсем другой.

— Мы всего пятнадцать минут как границу проехали. Не мог же дождь сразу прекратиться? — возразил Давид.

— Я надеялась, что мог бы. Я — Надежда, помните? Я всегда надеюсь, — и улыбнулась.

И они поехали вдоль реки Дебет. Надя спросила, какая это река, и прежде чем Давид успел ответить, сама увидела табличку «г. Debet». А потом Давид

* Площадь Революции роз (груз.).

** Я родилась и выросла в Тбилиси. Я это знаю (груз.).

*** Добро пожаловать! (арм.)



решил поехать не через Апаран — наверняка там действительно снег идет, и тоскливый, голый, холодный пейзаж,— а через Ноемберян. «Так во всяком случае быстрее будет, короче»,— почему-то подумал он, и, вместо того чтоб после села Ахтанак свернуть направо, на Айрум, он резко свернул налево и поехал к Зоракан, Бардеван, Кохб, Ноемберян... Давид включил «Авторадио», но передавали какую-то хрень, и он выключил.

— А почему вы едете в Армению? Дела, да? — спросил он свою пассажирку. Надя расхохоталась:

— Да ладно! Вы спросили! О чудо! Вы наконец-то решились спросить!

— Ну... я подумал... По радио чушь несут...— Тем не менее Давид опять включил музыку. Но не радио, а свою, с флешки.

Надя ответила:

— Понятно... Я просто хочу увидеть Армению, Ереван. Мне подруга рассказывала. Как здесь у вас все не так. Что в Ереване есть Каскад и что у подножия его бывают джаз-концерты. А еще — фонтанчики-пулпулаки, и можно пить воду запросто. Что можно пойти в гости к Параджанову. А еще рассказывала, что у вас есть площадь Франции и там настоящая скульптура Родена, а другая площадь носит имя Азнавура и что можно зайти в любой ереванский двор и почувствовать себя за городом, на даче, потому что все дворы у вас в виноградных тарах...

— Тармах*...

— Да, в тармах.

— А еще хочу увидеть Татевский монастырь.

— Так вы турист?

— С каким презрением вы это сказали, Давид-джан... Отвечу вам так. Если б я вышла замуж пятнадцать лет назад, то уже пять лет назад развелась бы,— сказала Надя.

— Почему?

— Чтоб ни за кого не нести ответственность. Понимаете, пять лет назад я заболела. Да-да! — улыбнулась она.— Ваша Надежда заболела. Она и теперь не очень здорова... И я поняла одну вещь. Тело мое не бессмертно. И с тех пор стала путешествовать. Работала, копила деньги и путешествовала. Потом снова копила и снова путешествовала. Купила себе машину — «мицубиси-эволюшн», назвала ее «Капитан», на левой двери велела нарисовать танцующего пингвиненка Шкипера и на ней путешествовала по Европе... Да, вы правы, Давид: я туристка.

— А что у вас было? Чем вы болели?

— Онкология, Давид-джан. У меня был рак. Знаете, от чего бывает рак?

— Нет.

— От тоски. От безысходности. От мыслей. Знаете, человеческий череп устроен неправильно. Должна быть крышка. Время от времени открыл, снял пену, как с варенья. Или должен быть какой-то слив, или должна быть дренажная трубка... Просто необходимо было это придумать! Как можно было не подумать об этом, спрашивается?! Как можно было допустить такой прокол в работе? А? Еще хорошо бы, если б была возможность все слить, очистить накипь на стенах, скажем, как лимонной кислотой чистят чайники. Но ведь никогда этого

* Тарма (арм.) — формирование больших виноградных кустов, в Армении — дугообразная.



не будет, правда? С самого рождения мы обречены носить односторонне герметично закупоренный череп. Все туда попадает, но ничто не исчезает и никуда не уходит. Вот поэтому и бывает рак... Я увидела Тбилиси, немного Грузии, а теперь очень хочу увидеть Татевский монастырь. Ведь никто не знает, может, больше никогда не удастся. Рак, бывает, возвращается... Блин, какая я умная! Правда умная, Дато? Ой, простите, Даво... Скажите же что-нибудь вы, чурбан неотесанный! — рассмеялась звонко Надя.

— Вы, русские, веселые, — сказал Давид.

— Я не русская. Я — еврейка. Надежда Кепплер. С двумя «п».

И только тогда Давид обратил внимание на маленькую золотую шестиконечную звезду-кулончик с бирюзой на груди у Нади.

— Короче говоря, теперь я зачарована жизнью. Странное дело, Даво-джан. С тех пор как я смертельно заболела, я и начала жить по-настоящему. Да... пожалуй, я теперь зачарована жизнью.

— Как тот мой бомж... — сказал Давид.

— Какой еще бомж?

— Однажды в Ереване, в подземке, я увидел бомжа. Он стоял перед витриной магазинчика, стоял, застыв в каком-то ступоре, грязный до невозможности, стоял и смотрел на новогодний календарь-плакат две тысячи пятнадцатого года. Мимо спешили люди, открывались-закрывались двери магазинчиков, а он стоял и смотрел на яркий новогодний плакат, на котором были «море-песок-пальмы» и почти голая девушка. Замерев. Как будто вдруг проснулся от какого-то долгого летаргического сна, и его словно осенило. Может, плакат напомнил ему то время, когда он не был бомжом — ведь не с рождения же он был бомж! — а может, просто плакат был слишком яркий и красивый, вот красота и поразила его мозг, не знаю. Никто не обращал на него внимания. А он стоял и смотрел, не шелохнувшись ни разу. Может, был пьян. Потом я вышел из подземки.

Надя промолчала.

13

Джуджеван, потом Баганис. После Баганиса — гора, которую можно обойти слева или справа. Слева дорога очень опасная, потому что бежит непосредственно вдоль границы и очень близко от нее, и тебя запросто может шлепнуть снайпер. И поэтому Давид решил объехать гору справа. Только у южной ее оконечности, там, где поворот, после моста через реку Воскепар, дорога опять впритык подходит к границе. Но совсем ненадолго...

Надя заснула. И Давид решил, пока она спит, проехать этот участок на максимальной скорости, чтоб Надя не увидела таблички с надписью «ОСТОРОЖНО. ВОЗМОЖЕН ОБСТРЕЛ». И не испугалась.

Давид сделал музыку потише и вдавил педаль газа. Он уже обогнул гору с юга, оставив слева церковь Святой Богородицы, понесся к реке, переехал ее по мосту, заметил справа церковь Святого Саргиса, стал подниматься вверх по дугообразной дороге, в конце которой был, как знал Давид, резкий поворот в противоположную сторону, то есть направо. На этом повороте Давид и увидел едущий по встрече большой грузовик. «Какого х...я?! — подумал Давид. — Большим

машинам ведь не разрешается ехать по этой дороге. По большим машинам легче попасть снайперу... Большие машины должны ехать через Апаран!..»

Водитель грузовика помигал фарами, приветствуя Давида. Машины стали разбегаться, и тогда Давид почувствовал — почувствовал, потом услышал — сильный удар по левому заднему крылу своей «хонды». Тогда он еще сильнее нажал на газ, мотор заревел, и машина понеслась подальше от опасного поворота.

— Что это было? — спросила Надя, не открывая глаз.

— Не волнуйтесь. Спите. Камнем выстрелило из-под колеса грузовика.

«Это был камень! Это был камень! — как заклинание повторял Давид в уме еще очень долгое время. — Конечно, камень!»

Потом пошли леса. Красные, желтые, оранжевые, зеленые. И по ним гулял молочный туман. Давид вспомнил, как однажды сказал один его пассажир:

— Когда я раньше смотрел картины Сарьяна и Минаса, всегда думал, что это они ради некоего импрессионистического трюка рисовали так — очень красные, очень желтые, очень оранжевые, очень зеленые леса и поля. Ведь не может таких цветов быть в природе! А потом, когда в первый раз осенью поехал в Дилижан, понял, что они все правильно рисовали. Очень правильно и точно...

Во всей Тавушской области, да что там, во всей Армении была осень и шел дождь. «Кто знает, может, в Апаране сейчас и снег идет», — подумал Давид. И почему-то вспомнил, какими бывали осени и зимы в детстве. Подумал о том, что всегда не любил ни осень, ни зиму, хотя всегда бывал очарован ими. Так, наверное, и с женщинами бывает. Многих из них не любишь, но все же бываешь очарован ими.

14

— Это Дилижан? — спросила Надя, просыпаясь.

— Да. Хотите выпить воды? В Дилижане вода второе место занимает в мире после Сан-Франциско, — неточно процитировал Давид фильм «Мимино».

Надя рассмеялась. Но от воды отказалась.

— Вы мне другое скажите, Давид, — попросила она. — Ведь вы не «простой армянский шофер», не так ли? Почему-то мне так кажется. Почему вы стали шофером? Что с вами случилось?

— Ничего не случилось.

— Так нечестно! Я ведь рассказала вам свою историю! Начинайте же свой рассказ. Хорошо, спрошу иначе: как бы вы начали свой рассказ?

— Девяностые, — сказал Давид. Потом после паузы продолжил: — И у нас образовалась компания, которая уже через месяц разделилась по половому признаку на пары: эмжэ, эмжэ, эмжэ, эмжэ... Думаю — да! — все это так быстро случилось, потому что не было ничего: ни света, ни кафе, ни кино, вообще ничего не было, и вместе с тем еще ужасно хотелось любить: интуитивно чувствовали, что любовь может спасти. Ведь мы, окончившие школу в девяносто первом, оказались в некоем мире, где словно только что взорвалась водородная бомба. К тому же совсем недавно прочтенные и переваренные книги — да, Ремарк! да, Хэм! — еще не были «претворены» в жизнь... В общем, у нас образовалась компания. Летом мы собирались в парках, например перед Политехником, где обсерватория, или в «Пушкинском», или у университета, болтали, болтали, а потом с наступлением темноты расходились по скамейкам, опять же попарно,



по половому признаку, и целовались до посинения. И кто-то из друзей всегда кричал из дальнего конца парка:

— Давид, сигареты есть? У меня кончились. Сейчас мы придем к вашей скамейке... Мы предупредили! Кончай целоваться!

А когда была зима, мы «расфасовывались» по станциям метро, где было чуть теплее, чем наверху. Правда, целоваться так страстно уже не представлялось возможным: строгие, укоризненные взгляды контролерш не давали расслабиться и внушали чувство вины. За счастье. Почему-то нас научили всегда испытывать вину за счастье... Зато не мерзли. А иногда, когда у кого-нибудь предки сваливали, устраивали вечеринки. Проводами от клемм батареек подключали магнитофон к телефонным розеткам — а что? вполне себе! Правда, когда кому-то приходило в голову звонить на этот номер, магнитофон перегорал: когда звонят, напряжение там доходит до шестидесяти вольт, кажется. Или плохо помню? Если были деньги, покупали водку, если чуть больше — попкорн на закуску. А если вообще были богаты — покупали пол-литровую банку томатной пасты и собственноручно приготавливали «Кровавую Мэри». В общем, определяющим фактором была водка — ужасная, дешевая, пахнувшая ацетоном, в котором как будто растворили полиэтилен, — все остальное было неважно. А на дни рождения или Новый год бывали соки Yürri или даже Zuso. Вот когда водка кончалась (а водка всегда кончается) и спирт мало-помалу начинал выветриваться из нас, мы начинали танцевать, попарно, по половому признаку, так сказать, чтоб согреться. Нет-нет, это не ностальгия по тем годам. Скорее, это ностальгия по молодости, которой — как понимается теперь — и не было. Или была? Или все же нет? Не знаю... После школы выучился играть на барабанах. И мы создали группу. Играли рок. И не всегда на репетициях бывал свет... И еще я тогда писал рассказы...

— А что было потом, Давид? Опять спрошу иначе: как ее звали? Она ведь уехала?

— Как вы поняли?

— Я умная! Забыли? Ну же? Скажите.

— Лола. Но все ее называли Аля... Она уехала, да. В Москву. А я записался добровольцем в армию, и меня послали в Карабах.

— «Средь нас был юный барабанщик...» — пропела Надя.

Давид кивнул.

— Почти так и было. Немного пострелял, а потом сделался деминером. Ленка придумала это слово — деминер. Знаете Ленку? Нет? Ленка — мой друг и товарищ. А деминер — это не сапер. Мы только обезвреживаем мины...

— А потом?

— Потом я подорвался. И... это самое... можно я об этом не буду рассказывать? Только хочу сказать, что если опять будет война, то я опять на нее пойду. Когда война, нужно идти на войну...

— Да...— Наде захотелось закурить, хоть она и не курила. Уже пять лет.— Наверное, вы теперь ничего уже не боитесь? Ведь вы когда-то умерли.

— Боюсь. Я боюсь, что однажды Аля придет в Ереван, и я об этом не буду знать. И случайно встречу ее в каком-нибудь кафе. С кем-то из знакомых. С Эдиком, например. Моим другом и начальником, так сказать, — он мне пассажира находит... Может, тогда я и умру... Это и есть мой кошмар... Короче, Надя. С тех пор я и езжу. Пассажира вожу. Вот...



Проехали Семеновку, потом Цовагюх. Здесь на развилке Давид остановился возле супермаркета:

— Идите попишите. До Еревана уже остановки не будет. А меня очень беспокоит судьба вашего мочевого пузыря. Можете купить чего-нибудь. Здесь отличный хлеб продают.

Когда Надя исчезла в магазине, Давид вышел и стал осматривать машину. На заднем левом крыле, там, где оканчивался хвост гепарда, он заметил идеально круглую дырку. Давид сразу понял, что это дырка от пули снайперской винтовки. И он опять почувствовал во рту стальной привкус смерти. А потом ударил кулаком по двери машины и стал яростно бить ногой по колесу.

— Хмел ес, ахпер*? — спросил его кто-то.

Давид ничего не ответил.

Когда снова поехали, Надя увидела Севан. Впервые в жизни. И как облака с прибрежных гор спускаются прямо к воде и тают. И Давид сказал, что даже летом вода в Севане холодная и что здесь через джинсы можно обгореть от ветра, как от солнца, даже если солнца нет.

15

Сердце стучит размеренно, спокойно, и поэтому дыхание тоже ровное, чистое. Сон не тревожный, не страшный. Такие сны приятно смотреть. Сознание отдыхает, однако мозг совершает свою привычную работу — очищается. Сон не тревожный, не страшный, приятный, желанный. Сознание отдыхает, и это дает волю всему тому скрытому, тайному, таинственному, где оседает все, что бывало в течение всей жизни. И все это смешивается, сливается, приобретая новый смысл, новое качество. Абсолютно новое, неузнаваемое... Лицо. Незнакомое лицо. Синтез всех лиц... Милое-милое лицо. И еще: ощущение молодости. Вот именно: милое неизвестное лицо и чувство собственной молодости. Такой молодости на самом деле не было никогда и уже никогда не будет. Осознание во сне того, что уже никогда не быть молодым... Страшный сон! Сердце тем не менее стучит размеренно, спокойно. Во сне сожалеешь, что сознание отключено не полностью. И еще голову сверлит мысль, что вот сейчас зазвонит будильник. Ну же! Неужели телефон сел?! Нет... еще немного посмотреть. Тот сон! Помнишь?

16

За окнами шумел дождь. Во всем Арабкирском районе... да что там! во всем городе Ереване и, говорят, во всей Армении шел дождь. Потому что октябрь заканчивался. А в конце октября всегда положено идти дождю. Давид решил встать, побриться и спуститься в город. Вот только очень испугался, когда посмотрел на себя в зеркало. Он был седой. Абсолютно. Безоговорочно. Навсегда.

Так и не побрившись, Давид накинул куртку с капюшоном и вышел из хостела, автоматически кинув взгляд на свою машину, оставленную под навесом. Поднялся по крутому подъему улочки Джеймса Брайса и потом свернул вниз на проспект Баграмяна. Дождь то усиливался, то затихал, но не переставал ни на секунду.

* Выпил, брат? (арм.)



Давид шел и вспоминал, как Надя, его сегодняшняя пассажирка, попросила остановиться на проспекте, недалеко от памятника Сарьяну, рядом с кафе «Козырек».

— Все, я доехала. Тут живут знакомые моей подруги. Помните? Которая рассказывала об Армении. Вы просто откройте багажник, я сама возьму чемодан. Выходить из машины не надо. Хорошо?

— Да.

— Спасибо. Вот деньги...

— Не за что.

И тогда она неожиданно наклонилась и поцеловала его. Долго, очень долго. Так долго, что кажется, сердце уже не выдержит и взорвется и даже капли дождя перестанут барабанить по крыше и лобовому стеклу машины.

— Не надо... Зачем это?

— Вы всегда так реагируете, когда вас целуют? — усмехнулась Надя. — Вы неисправимый чурбан! Что ж, пока, Давид, — и, рассмеявшись, открыла дверь машины и вышла.

Когда Надя ушла, Давид поехал в хостел, где всегда останавливался, когда приезжал в Ереван. Он сразу заснул...

17

Теперь он шел под дождем по проспекту Баграмяна вниз и вспоминал ее. Вспоминал ее даже тогда, когда проходил мимо «Парка влюбленных», который когда-то назывался «Пушкинским садом». Вспоминал и потом, когда свернул на Московскую улицу и, минуя проспект, перешел маленький перекресток и пошел по улице Терьяна вниз. Еще в прошлый свой приезд Давид заметил здесь магазинчик музыкальных инструментов. Теперь он зашел туда и поздоровался с продавцом — немолодым уже мужчиной в жилете с огромным количеством карманов.

— Можно мне немного поиграть на барабанах?

— Можно. Но не очень громко: соседи. Вы барабанщик?

— Был когда-то.

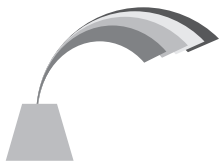
— Хорошо. Вон палочки. Видите?

Дождь так и не прекратился в тот день. Ни в Ереване, ни в Тбилиси, ни даже в Париже, где Давид никогда не был да и — как он знал уже точно — не будет никогда в своей жизни. Дождь не прекратился и тогда, когда Давид, выйдя из магазина музыкальных инструментов «Соло», пошел в сторону Оперы. И дождь все еще шел, когда он зашел в кафе «Шоколадница», там же, на площади Оперы, и заказал кофе и коньяк.

— Смотри, Эдик, как тот человек на нашего Давида похож! Только этот совершенно седой, — услышал он за спиной знакомый женский голос.

И Давид обернулся.





АВТОРЫ НОМЕРА

Сергей АКЧУРИН. Рассказ «Место, где были сны».



Сергей Акчурин родился в 1952 году в Москве. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Первые рассказы опубликовал в 26 лет в журнале «Литературная учеба» с предисловием Юрия Трифонова. Написал сценарии для двух фильмов, которые вышли в 80-х годах прошлого века: «Все могло быть иначе» и «Диссидент».

Автор книг «Воздушный человек», «Повести», «Ма-Джонг». Печатался в журналах, коллективных сборниках и газетах, писал рецензии, работал составителем альманаха «Подвиг». Ряд произведений опубликованы в Канаде, Финляндии и других странах.

Сергей АКЧУРИН



Сергей АКЧУРИН

МЕСТО, ГДЕ БЫЛИ СНЫ

Рассказ

Скучные, ленивые люди со скучной фамилией Мишины жили когда-то в колхозном (тоже скучное слово), казенном доме, который нельзя было ни продать, ни обменять, ни достроить, как это делается теперь. Да и зачем, собственно, было что-то предпринимать? «Зала», как говорили в деревне, две комнаты и веранда, а Мишиных было пятеро: он — Валентин, она — Галина и трое детей. И хотя «зала» была обыкновенной маленькой комнатой, а комнаты в свою очередь — клетушками, места хватало. Для гостей всегда была готова верандочка, полностью застекленная, с разноцветными стеклышками наверху, с аккуратными ситцевыми занавесками, снаружи еще и загороженная сиренью. Возле сирени под домом стояла обязательная скамейка, торчали редкие, щедушные флоксы, да еще береза с рябиной кое-как скрашивали внешний вид казенного дома, похожего на барак.

Жили Мишины бедно и не стремились жить лучше. Работниками они считались ленивыми, ходили только на временные работы, да и то без желания и лишь в силу необходимости, а все свободное время, которого было с излишком, проводили возле своего дома: сидели на старых бревнах, сваленных вдоль забора со стороны улицы, шелкали семечки и наблюдали, кто въезжает в деревню и кто выезжает из нее, входит и выходит. И так год за годом. Трое детей, кажется, еще ползая, пристрастились к этому бездеятельному осмысленному занятию и постоянно находились на бревнах вместе с родителями. Пара голодных кошек вечно крутилась рядом, не отходя далеко, как будто бревна эти были каким-то магнитом, да и вообще как будто в деревне нечего было больше делать!

Если не на бревнах, так Мишины прозябали в доме, читая книги. Да, именно всей семьей, вроде бы приютившись на кроватях, диване и печке, читали книги и тоже шелкали семечки, подплевывая шелуху в кулаки и переворачивая страницы мизинцами. Читали быстро, по кругу. Книги меняли в сельской



библиотеке и у соседей; если не было нового, перечитывали старое. Зайдешь к Мишиным в непогоду — слышен только шелест страниц! Кошки заглядывали в книги, пытались перевернуть страницы.

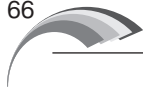
Огород, впрочем, у Мишиных был, но на грядках, поросших травой, едва можно было выудить что-то съедобное, редиску размером с вишню или одинокие перья лука; об огурцах же речи не шло, огурцы требовали ухода. Было еще за домом поле мелкой, выродившейся картошки, и каждую осень Мишины собирали эту картошку, собирали лениво и даже как-то по-театральному: стояли в поле и озирались по сторонам, как будто не понимая, что происходит и куда попали они, перекликались с соседями — с соседних полей, то и дело ходили к дому, выдумывая себе дела поважнее, а дети — девочка и два мальчика-близнеца — вытягивали картошку из земли брезгливо, двумя пальцами, и кидали ее в мешки издалека, прицеливаясь, как в какой-то игре; или вовсе кидали эту картошку в ворон. Засыпав наконец три-четыре мешка в подполье, Мишины основательно чистились, умывались и тут же разваливались на бревнах, вздыхая так, как будто свернули гору; и, конечно, лезли в карман за семечками. Галина срывала флоксы и сидела на бревнах с флоксами; и обязательно кто-то из Мишиных говорил: наконец-то бабье лето пришло!

К середине зимы картошка заканчивалась, и мальчики, а позже и подросшая девочка бегали до самого сентября, по одному — чтобы не привлекать внимания соседей — за десять верст к бабушке, матери Галины, и несли оттуда в заплечных мешках ту же картошку, но крупную — синеглазку, выращенную трудолюбивой старушкой, дом которой стоял на краю огромного поля, постоянно ветреного зимой и весной, а летом — пшеничного, с васильками.

Иногда летом к матери ходила и сама Галина, возвращаясь с картошкой и васильками. Путь пролегал вдоль шоссе, потом налево через мост над узким каналом и дальше по полевой дороге, среди колосьев пшеницы. Раньше Галина всегда задерживалась на мосту. Смотрела вниз, на черную воду канала. Была у нее в молодости история. Первый муж догнал ее на мосту, взял в охапку и выбросил в эту черную воду. На верную гибель. Хорошо, что она попала в глубокое место — в омут. Выбралась на берег, поплакала и пошла. За что ее скинули вниз, никто не знал, а когда спрашивали Галину: за что? — она отвечала не своим, неожиданно грудным голосом только одно: за грехи. Впрочем, история эта со временем как-то изжила себя в памяти Галины, и она уже не останавливалась на мосту, направляясь к матери. Ну, а потом мать умерла, и ходить стало некуда.

Тихая с виду, размеренная деревенская жизнь на самом-то деле всегда содержит в себе драматические и даже трагические события, но Мишины в этом смысле были самой невыразительной семьей в деревне: у Мишиных ничего не случалось, страсти обходили Мишиных стороной. Водку они, конечно, пили, но не особенно; любить, видимо, любили друг друга и на стороне ничего не искали; хозяйства у них по существу не было и всякие сенокосы и неурожаи их не касались. Жили Мишины так, как будто ехали в тихом поезде, наблюдая со своих бревен течение времени и ожидая той остановки, на которой им нужно будет сойти.

Валентин — худой, бледный, болезненный, то ли парень на вид, то ли мужик, отращивал иногда усы, а в другой раз сбрасывал их; Галина вдруг вскрикивала одновременно с кукушкой, вылезшей из часов: «Полдень! Горе мне, горе!..» и...



садилась делать себе маникюр, приучая к этому дочь; два скромных мальчишка-отрока залезали, бывало, на раскидистую березу и подолгу сидели на ее сучьях, болтая ногами; или зацеплялись за эти сучья ногами и висели вниз головой.

— Что Мишины?! — говорили в деревне: — Семечки!..

* * *

Но лежало под боком у Мишиных тихое, ленивое озеро, на берегу была старая лодка, и летом, но особенно почему-то осенью именно к Мишиным приезжали из города рыбаки, по одному, по двое, предпочитая их дом другим сельским домам. Люди ездили одного круга, в котором было известно про это место — про озеро и хозяев. Звонили по телефону, если работал, и договаривались; или ехали так — наудачу.

Галину эти рыбаки всегда находили на озере, на мостках, с которых она полоскала белье. Казалось, осенью она вечно его полощет. Озеро загораживал ряд берез, осенью золотых, за которыми проглядывала синь воды. Галина полоскала белье, вокруг на воде расплывались золотые листья. Приезжий любовался картиной: баба, полощущая белье в синем озере. Галина оглядывалась, всегда чувствуя, что кто-то пришел. Она бросала белье, спрашивала, надолго ли. Некурящая, искуривала сигарету. И смотрела на гостя надежно-безнадежным взглядом, которого никто не мог оценить и понять. Вела в дом, поселяла на веранде, принимала подарки: конфеты, селедку, колбасу...

Гости занимались рыбалкой, любовались окрестностями или просто ничего не делали, с удовольствием чувствуя, что делать ничего и не нужно. Если приезжали на несколько дней, то втягивались непонятным образом в жизнь Мишиных — тоже сидели на бревнах, как у себя дома, и щелкали семечки: кто-то въехал в деревню, кто-то из нее выехал, кто-то вошел, кто-то вышел... И книги, не в пример городской жизни, начинали читать у себя на верандочке, да так увлекались, что пропускали рыбалку. Еще бы: тишина, муха, разноцветные стеклышки... И долго, долго спали на уютной веранде, видя странные сны, которые по утрам, выйдя из дому к бревнам и еще не очухавшись, рассказывали хозяевам.

— Опять приснилось? — спрашивала Галина.

— Приснилось, — отвечал постоялец. — Приснилось, что я заблудился на машине в галактиках!.. И представляете, мне показали карту, как вернуться домой, а карта звездная... Оказалось, мне надо вырुлить из этой галактики, где я нахожусь, долго петлять с разными поворотами — туда-сюда, туда-сюда, преодолеть межгалактическое пространство, а потом еще в своей галактике долго петлять до дома. И даже проинформировали, где между галактиками перекусить, только предупредили, чтобы не выходил из машины, потому что она может уехать и без меня.

— А кто все это говорил и показывал? — спрашивали дети Мишиных.

— Ну, кто-то... они... не знаю кто. Ничего конкретного.

— Ну, неинтересно...

— И так, и не так, — не соглашался рыбак. — Слишком уж все подробно было, особенно петли... И я теперь думаю, может быть, не нужно лететь к звездам прямо, напрапалую, возможно, в космосе есть свои переулки и улицы, которые



мы не видим и на которых организованное движение... Возможно, нужно начать составлять карты этих переулков и улиц, этого движения, и уже тогда куда-то лететь... Да, но еще сначала необходимо все это обнаружить... Но как? Иногда мне кажется, что физика — бред... А ведь я сам — физик, допустимы ли подобные мысли у меня в голове? Что мне говорить студентам? Нет, пойду досыпать, — и, потирая виски, уходил на веранду.

Другой рыбак, почесывая голову, делился другим:

— А мне сегодня приснился... хрен. И я вдруг понял, что занимаюсь по существу хиромантией — экономикой, бредом каким-то, во всяком случае бредом у нас, в России, где все непредсказуемо и никакая теория не годна, а все зависит от... хрена; я, конечно, имею в виду растение, которое мне приснилось.

— Это как так? — удивлялись Мишины.

— Да вот так. Конечно, образно говоря, от хрена. Под хреном я имею в виду нашу неистребимую русскую лень, сколько ее не корчуй, она все растет и растет, и именно от нее и зависит и политика, и экономика, и история, да и вообще все, в частности жизнь людей. Захочет в этот год эта хренова лень не очень-то распложаться, смотришь, все идет хорошо, все показатели с плюсом, в другой год, хоть ее и понадергают перед этим, вроде бы изведя начисто, а она как пошла по собственному желанию в рост, так и заполняет все, что только возможно заполнить, все наши грядки. И все получается с минусом. Это же диссертация! Надо бы с коллегами обсудить.

— Да хрена-то в огороде полно! — смеялись Мишины.

— А-а,— махал рукой гость,— пойду досыпать.

Немолодой, довольно известный художник, грузный, пьющий, основатель небольшого течения в живописи, приезжал к Мишиным без мольберта, без бумаги для рисования и без снастей для рыбалки, пил водку, потом беспробудно спал на веранде сутками, а когда выходил к бревнам, глубокомысленно раскуривал трубку и выпускал кольца дыма, которые дети Мишиных старались проткнуть пальцами.

— Осенило? — спрашивала Галина.

— Эх,— отвечал художник,— так бы вот жить и жить.

По вечерам рыбаки готовили уху на костре, возле мостков. Выпивали, крикали. Разговаривали о всякой всячине тихо, как будто боясь потревожить сонное, ленивое озеро, на котором даже в ветер никогда не было волн и которое в темноте казалось густой, черной, неопределенного свойства массой, не земного происхождения. Мишины, все пятеро, подходили к огню, слушали, оставаясь на границе света и тьмы. Но рыбаки долго не засиживались у костра, они любили уйти к себе на веранду, погасить свет и просто лежать в полном молчании и тишине, не думая ни о чем. Галина уносила домой остатки ухи, Валентин допивал, если была, водку, мальчики записывали костер.

* * *

Однажды один из таких гостей, впервые приехавший к Мишиным со своим другом, человек образованный, деятельный, нацеленный на политику, но далекий от сельских проблем, посмотрел, как живут Мишины, разузнал, что они делают, понял так, что они ничего не делают и поэтому живут бедно, бессмысленно



и даже просто никчемно — и все это из-за отсутствия желания в русском народе поменять свою жизнь на лучшую. Вечером, у костра он спросил Мишиных: отчего они не работают?

— Так работы нет! — звонко ответили мальчики за родителей.

— Работа всегда есть, надо только хотеть, — нравоучительно подсказал приезжий. — Лениться не надо, и будет все хорошо.

Мишины промолчали.

А ночью этому человеку приснился другой человек, человек с бородой, который сидел за столом и под светом зеленой лампы, углубившись в серьезные размышления, писал размашистым почерком на листках бумаги статью... В какой-то момент пишущий оторвался от написания и посмотрел на спящего строгим, проникающим в сердце взглядом, покачал головой, да еще сурово погрозил пальцем, как будто предупреждая о чем-то. Сердце у рыбака от этого взгляда и пальца бессильно сжалось, ослабло, он мгновенно проснулся в страхе, покрытый холодным потом. Боясь подумать о главном — о Боге, он стал успокаивать себя тем, что ему, вероятнее всего, явился лишь сам Солженицын, статью которого: «Как нам обустроить Россию» он прочитал на прошлой неделе в газете. Хотя тут же подумал, еще более успокаивая себя, что это мог быть и Керенский, тоже болеющий за Россию; но была ли у последнего борода — он точно не помнил. Как был, в трусах, босиком, поглаживая в области сердца, рыбак вышел из дому на крыльцо, в осеннюю ночь, вдохнул свежего воздуха, закурил. Четыре зеленых кошачьих глаза смотрели на него из темноты, с худых грядок; из допотопного туалета, расположенного в маленьком коридорчике, тянуло в незакрытую дверь воню; все строения вокруг в деревне казались очертаниями каких-то сараев, в которых может жить только скотина... У рыбака обострились мысли, он захотел с кем-нибудь поделиться своими соображениями о России, но его друг, с которым они приехали отдыхать, караулил донки на озере — с крыльца виден был луч фонаря, прыгающий на берегу, и поэтому гость зашел в дом, к хозяевам, надеясь, что кто-то из них не спит, читает, и они хоть немного поговорят. Но Мишины все храпели или посапывали; из-под одеял торчали голые пятки; возле кроватей валялись книги. Рыбаку захотелось чаю и хлеба, и он пошарил в отгороженной от комнаты кухоньке на единственной полке, но ничего не нашел — ни чая, ни хлеба, нащупав ладонью только колючие хлебные крошки. Сахара тоже не было, чтобы попить с кипятком, а коробку конфет, привезенную им в подарок, Мишины съели сразу, еще вчера. Рыбак вернулся к себе, на верандочку, досыпать, но, конечно же, не уснул, и многое передумал за этот остаток ночи...

Утром он вышел к бревнам со сложным чувством и прежде всего с желанием извиниться за свой бестактный вопрос о работе, за статью Солженицына (если и не за саму статью, то хотя бы за ее название), а также и за Керенского в придачу... Но, потоптавшись у бревен и не найдя нужных слов, занялся вдруг совершенно другим: натаскал воды с озера в ведрах, взял тряпку и, вспомнив армейскую жизнь, долго мыл и отчищал туалет в коридорчике, а затем еще сходил в магазин, купил освежителя с запахом апельсина и опрыскал в отхожем месте и коридорчике так, что апельсинами потянуло по всей деревенской улице.

Три последующих дня, вплоть до отъезда, человек этот молча сидел на бревнах и грыз семечки, наблюдая входящих и выходящих; а в дождь читал на веранде книжки.



Вернувшись в город, он еще долго испытывал неуверенность во всем том, что делает и что думает, и чувство это совершенно изменило его жизненную позицию.

* * *

Очередной осенью одинокий рыбак, так и не дозвонившись до Мишиных, все же поехал к ним, надеясь, что веранда свободна, поскольку никто из его круга знакомых ехать не собирался.

Еще на подходе к дому рыбак почувствовал какую-то пустоту. Было как-то особенно тихо, никто не сидел на бревнах.

Рыбак обнаружил Галину, как и всегда, на озере, на мостках, с тазами белья. Она обернулась:

— Кормилец помер.

И как-то странно, долго смотрела на постороннего человека, как будто тот мог дать ей какой-то ответ. Смотрела, как будто искала защиты. Потом нагнулась к синей воде и шумно заполоскала белье.

Похоже было, что тот самый «поезд», на котором ехали Мишины, остановился на две минуты, дрогнул, да и поплыл себе дальше.

С тех пор события ускорились. Галина нашла себе пьющего мужичка, ушла из дома к нему и наступившей зимой оба они, отравившись немецким спиртом, умерли за столом в таких позах, как будто уснули... Близнецы в тот же год отправились в армию, дочка исчезла: говорили, загуляла с дорожным рабочим и уехала в город...

И снова осенью, в сентябре, снова так и не дозвонившись, приехали рыбаки: теперь уже несколько человек случайно нагрянули в один день и толпились перед крыльцом — как будто не видели замка на двери, стучали в окна веранды и дома — как будто там мог кто-то быть под замком, ходили к озеру проверять — нету ли там Галины. Ждали и снова барабанили в окна до тех пор, пока не вышла соседка и не сказала: «Чего стучите, там никого нет и не будет... Можете не стучать».

Печально.

Прошло еще несколько лет. За это время дома в деревне отдали в частную собственность, быстро не стало скота и появилось новое выражение: «Дашщники прикати!»

Последним, кто навестил дом у озера, был известный художник, который надеялся, что, может быть, дети Мишиных вернулись в свой дом, и он посидит на бревнах, поспит на веранде и увидит новые сны. В этот раз он приехал с мольбертом, с удочками и без мыслей о водке.

Но бревна были пустые, на доме висел замок; накрапывал дождь.

Художник вздохнул, оставил мольберт и удочки на скамейке и по тропинке направился к озеру, надеясь на невозможное: что Галина полощет, как и всегда, белье: художник считал, что все, что было, продолжает происходить и без нас, и кому-то в какой-то момент дано видеть эти картины происходящего раньше, хотя и не участвовать в них.

Но никто не полоскал белье в синей воде, покрытой желтыми листьями, а озеро выглядело пустым, серым, неинтересным и незнакомым. Лодка была подтоплена, мостки валялись на берегу.



Художник вернулся к дому, потрогал ледяной замок на двери, затем раздвинул ветки пожухлой сирени и постучал в стекла веранды так, как будто хотел разбудить кого-то, спящего там. Удостоверившись, что ответа не будет, он вышел на улицу, присел на мокрые бревна.

Подъехал автомобиль с рекламными надписями, из него еле выбрался такой же тучный, как и художник, мужчина с фанерной дощечкой и молотком, зашел на участок Мишиных и, встав на скамейку, пыхтя, с одышкой, стал прибивать между двумя темными окнами дощечку с надписью: «SALE»

— А где дети Мишиных? — поинтересовался художник.

— А кто это, Мишины? — удивился агент по недвижимости.

Художник больше ничего не спросил, забрал свои вещи и направился к автобусной остановке, испытывая какое-то детское чувство невосполнимой потери. «Почему, — думал он, — ЭТО было, и теперь ЭТОГО нет? И где теперь ЭТО взять?»

Один же из рыбаков, тот самый, которому приснились галактики, нашел себе другой водоем, платный и расположенный ближе к городу. Там он ставит ночные донки, размышляет о звездах, и, если случается познакомиться с рыбаками возле костра, выпить и закусить с ними вскладчину, пробует рассказать:

— Раньше я ездил на другое озеро, далеко, севернее, к святым людям... Там были странные сны...

— Ну, расскажи, — вяло отзываются рыбаки, прислушиваясь к воде и подправляя тлеющее бревно, — расскажи, пока колокольчики не звенят.





АВТОРЫ НОМЕРА

Инна ЛЕСОВАЯ. Поэма «Все это было мое».



Инна Лесовая — родилась в Киеве. Автор сборников романов, повестей, рассказов, стихотворений, которые выходили в издательстве «Дух і Літера». Неоднократно публиковалась в «Радуге», альманахе «Егупец», а также в периодике Германии, Израиля, России, США. Лауреат Международной литературной премии им. Юрия Долгорукого. В 2016 году переехала в Израиль.

Инна ЛЕСОВАЯ



Инна ЛЕСОВАЯ

ВСЕ ЭТО БЫЛО МОЕ...

1.

Прямо рядом со мной —
только за толстой стеной —
бабка, мой ужас ночной,
долгий свой век доживала
целому миру назло.
Время ее разжевало,
но проглотить не смогло.

Я с головой укрывалась,
тише дышать старалась.
Мне не давала уснуть
жаркая бабкина ярость,
глаз ее темная муть.

Где-то часы стучали,
будто они отвечали
лично за связь времен,
и понесенный урон
медным пером отмечали.

Время, по кругу влачась,
каждый созревший час
скорбно роняло на плаху.

Вечно отравлен страхом
был мой некрепкий сон:
чудилось что-то такое
в этом карающем бое,
будто и над тобою
медный топор занесен.



2.

Днем я часов не боялась,
прямо в пижаме являлась
в этот почти что зал.
Старый сосед меня звал.

Все меня там любили,
там по спирали бродили
стаи сияющей пыли
в жарком просторном луче.

Там, неизвестно над чем,
в башне часы причитали —
то ли молитву читали,
то ли просто скучали,
маятник медный качали,
а усыпляли — меня.

Там по течению дня,
бережно семена,
перебирались стрелки —
то, как прибор по тарелке,
то, как живые усы,
то, как кривые весы.

То ли для развлечения,
то ли для поученья
были их превращенья:
ножницы...
циркуль...
стрела...

Всех их забавней была
шустренькая сорока —
та, что с веселым подскоком
тыкалась носом в метки,
прыгала с ветки на ветку —
только бы я не ушла!

А балеринка хромая,
ножку вверх поднимая,
мне отбивала такт:
«Сделай
и ты
вот так!»

Там по паркету блуждали
солнечные ковры,
там всегда меня ждали,
все ко мне были добры.

Из золоченой рамы
пышноволосые дамы
мне предлагали побег
в свой девятнадцатый век.
Звали — хотя и знали,
что соглашусь я едва ли,
и по краям холста
мне оставляли места.

Даже цветок на окне
нежно тянулся ко мне,
гладил по волосам,
под ноги мне бросал
тени павлиньи перья.

Жизнь клокотала за дверью.
Громкие голоса,
споры, и пересуды,
и перестук посуды
не проникали извне.
Вещи дремали стоя,
что-то почти святое
было в этом покое,
в этой простой тишине.

Даже часы на стене
как-то неспешно ходили —
то ли небрежно кадили,
то ли силы копили,
чтобы, внезапно решась,
время обрушить на нас.

Этот их звон отрешенный,
этот их звон потрясенный
будто венчал короной
каждый
грядущий
час.



Сами висели в тени,
но потаенным светом
от потолка до буфета
дом золотили они.

Все там казалось старинным:
письменный стол, пианино,
шахматная доска,
даже сухие букеты,
что над громадой буфета
плыли, как облака.

О, этот грозный буфет!
Пахло богатством вчерашним
в недрах его и в башнях.
Призраки лучших лет
как-то туда проникали —
видно, из зазеркалья.

Там, выбираясь в свет,
свято блюли этикет
осиротевшие чашки.
Чайник приклеенный нос
с редким достоинством нес.

В дом, где у каждой бумажки,
в дом, где у каждой стекляшки
было место свое,
собственное жильё
в ящике или портфеле,
где по-французски скрипели,
щелкали, лязгали, пели
дверцы, замочки, пружины —
терпкий запах мышиный
из-под японской ширмы
струйками выползал
в этот слегка церемонный,
в этот всегда благосклонный,
в этот почти что зал.

И застывали в испуге
вещи, как верные слуги —
будто открылась случайно
дома позорная тайна.



Глядя поверх голов,
все понимая без слов,
что-то внушали друг другу
про непотребный угол —
тот, что надежной стеной
шкаф отделял тройной.

Гладью своей ледяной,
ложной своей глубиной,
строгим овальным провалом
зеркало маскировало
место, где бабка спала —
будто и нет там угла!

Только по шелковой створке
спину ссутулив горько,
крошечный, тонконогий
путник бредет по дороге.

Он иногда исчезал...
будто в туман ускользал...

О, как пугалась тогда я!
Шарила пальцем, гадая,
что с ним, беднягой, стало.
Не заблудился ли в скалах?
Не провалился ли в снег?
Может, он ищет ночлег —
Дело-то близится к ночи...
Или просто не хочет,
чтобы его нашли?

Вдруг возникали вдали
темные бабкины очи.
С горечью сиротливой
две догнивающих сливы
пялились на меня.

Даже при свете дня
все в ней казалось страшным!
Вот она ест простоквашу:
в свой завалившийся рот
ложку за ложкой сует,
возит по стенкам стакана...



Смотрит часами в окно —
тупо, как смотрят кино
на языке иностранном.
Коврик лоскутный вяжет.
Чем-то колено мажет.

Все было видно сквозь щель...
Бабка в сырую постель
на ночь себя зарывала.
Горбилось одеяло
мрачным могильным бугром.

Как-то тревожно было
рядом с этой могилой
мирно болтать вчетвером
и на руках у соседа,
мне заменившего деда,
пить за квадратным столом
под абажуром зеленым
чай с пирогом и лимоном.

3.

В этом чуть-чуть церемонном,
в этом всегда благосклонном,
в этом таком... таком...
каждую ночь тайком...

*Бабка смерть призывала,
Смерть тотчас прибывала.
И,
застряв на пороге,
терла желтые ноги
о чужой половик.
Свой сырой дождевик
отправляла
на гвоздик,
а косу — за сундук,
между шваброй и тростью.*

*Распрямив свои кости
и
не глядя вокруг,
шла с улыбкой щербатой
за хозяйкой лохматой,*

*ожидавшей
от госты
известных услуг.*

*Бабка смерть призывала,
а потом забывала,
для чего позвала.
Смерть за шкафом пила
чай холодный, линялый
и рукой длиннопалой,
не стесняясь, брала
из кривого кулька
пропылившийся сахар.
Смерть старухиным страхом
забавлялась слегка.*

*В темноте голубая,
широко улыбаясь
от зевка до зевка,
Смерть ничуть не смущалась
и с хозяйкой прощалась
фамильярным «пока!».*

Бабка печально сопела:
мол, досказать не успела...
Смерть обещала прийти.
Завтра. Где-то к пяти.
Бабка согласно кивала
(впрочем, достаточно вяло).

4.

Каждое утро она
будто из вечного сна
нехотя воскресала.
Рыхлые тапки искала
хрупкой, как щепка, ногой,
тычась в один, в другой.
И, бормоча проклятья,
лезла в тяжелое платье,
путаая рукава.



Были ее слова
глуше крысиного писка.
Хоть и стояла близко —
я их понять не могла.

Боже, чего я ждала?
Что из гнилого угла
двинется вслед за нею
крысы, а, может, и змеи?
Что ж я не убегала?
Только моргала, моргала...

Створка отодвигалась,
тенью на фоне окна
вдруг возникала она,
как из часов кукушка —
то с котелком, то с кружкой.

Свет в нее бил со спины —
и, подоженные сзади,
ярко горели пряди
вздыбленной седины.
Нимб над чесночной головкой!

Переступая неловко,
черная головня
двигалась на меня,
взглядом вжимая в стену.
И проявлял постепенно
света ответный поток
дольки чесночных щек,
розовый носик брезгливый.

Солнечный луч боязливо
бабку под локти вел,
чтоб не наткнулась на стол,
чтоб на паркет не упала.
Бабка кряхтела устало:
«Все это было мое!»

Сдавленный шепот ее
делался все слышнее,
бились лохмотья шеи,
как на веревках тряпье.



И керосинно-крысиный
запах по бывшей гостиной
вместо мышей и змей
шлейфом тянулся за ней.

Бабка тыкала глазом
в стулья, портреты, вазы —
будто тоской своей едкой
ставила вечные метки:
«Все это было мое!»
И добавляла: «Когда-то...»
Вещи вокруг виновато
пяtilись от нее.

Бабка в луче шаталась,
бабка за пыль хваталась,
с ненавистью немой
вечно следила за мной
и настигала повсюду —
будто пугала: «Постой...
Будешь и ты такой!
С желтой дрожащей рукой!
С черной корявой клюкой!»

«Нет! Не буду, не буду!»
«Будешь... И очень скоро!»
Бабка искала ссоры,
шаркала по коридору.

Под заскорузлым чехлом
древнее черствое тело
слушаться не хотело,
как скорлупа, хрустело
и громыhalo, как лом.

Тратя последние силы,
бабка себя тащила.
И поливала ядом,
и поджигала взглядом
жмушщийся по углам
нищий соседский хлам.



В чьи-то открытые двери
пялясь с тупым недоверьем,
припоминала с трудом,
как и когда в ее дом
вся эта рвань набежала.

Бабка на жизнь обижалась,
бабка негромко брюзжала,
в ноздри себе жужжала:
«Все это было мое!»
И, на глазах бледнея,
ползала следом за нею
драная тень ее.

В сером дневном полумраке,
вечно готовые к драке,
чьи-то корыта и сани
бабку цепляли сами,
тыкали нагло в бока.
В узкую хрупкую спину
комья набухшей лепнины
метили с потолка.

5.

Лампа светила скупю.
Бабка шепталась с супом.
Суп недовольно бурчал,
нехотя ей отвечал.

Суп обижался на бабку,
силился выплюнуть тряпку —
ту, что от спешки большой
бабка вслед за лапшой
бросила в мутную жижу
вместо того, чтобы выжать,
и утопила в глубинах
мятого котелка.

Кто-то хихикал ей в спину,
кто-то крутил у виска.
Все в ней соседок смешило:
ножки, плешивый затылок...

Бабка огонь гасила,
будто кому-то мстила.
Бабка бы им не спустила —
всей этой бедноте!
Только тогда бы остыло
варево на плите.

Свой котелок унося,
бабка светилась вся,
молча торжествовала —
будто отвоевала
чудом свою бурду.

Суп докипал на ходу.
К веникам, лыжам, гитарам
суп прикасался паром.
«Все, — бормотал он с жаром, —
все это было мое!»
Бабка вокруг озиралась,
будто к вещам придиралась,
чье-то сырое белье
било наотмашь ее.

Клавка смолила копыто,
Верка гремела корытом,
рядом совал под кран
грязные ноги Степан.
Тщетно борясь с отрыжкой,
робкий язвенник Шишкин
изнемогал от стыда.
И по мозолям соседей
Славкин велосипедик
ездил туда-сюда.

А тараканы бодро
перебирали в ведрах
мусор шести семей.
Чья-то кошка рожала,
чья-то овсянка сбежала.
Бабка
всех раздражала!
Делясь все сильнее,
общая ненависть к ней
как-то соседей сближала.



6.

Если, прорвавшись где-то,
дом будил до рассвета
женский протяжный вой,
если лоб восковой,
если оркестр духовой —
каждый качал головой,
без вдохновенья рыдая:
«Жалко! Совсем молодая!
Двое деток — и вот...»

И торопливо крестились,
и на старуху косились,
взглядами в яму толкая:
а вот такая — живет!

*Бабка смерть призывала,
а потом забывала,
для чего позвала.
В задушевной беседе
то детей, то соседей,
не стесняясь, кляла.*

*Смерти делалось скучно,
смерть была равнодушна
и к хозяйке радушной,
и к ее болтовне,
лишь фонарь одноглазый
был с любой ее фразой
солидарен вполне.
Поддержать не решался,
но согласно качался,
загорался и гас
в лужах бабкиных глаз.*

*Бабка руки сжимала,
бабка щеки жевала,
бабка смерти желала —
но не прямо сейчас.*



7.

Дверь заперев на задвижку,
бабка, сердясь на одышку,
шла, озираясь слепо,
вдоль коммунального склепа,
где в полумраке зловещем
тлели ненужные вещи,
мрачно клюкой гребла,
барственный вид принимала,
звукам ночным внимала
и, не стесняясь нимало,
дергала каждую дверь.

Кто там живет теперь —
бабку не занимало.

То ли из бывшей спальни,
то ли из бывшей детской
ширился храп хоральный,
мощный, как гимн советский.

Бабка боялась гимна,
бабка шаркала мимо,
медленно отползала
в сторону бывшего зала.

Там, за дверью забитой,
отнятый, но не забытый,
клад ее не зарытый,
мир ее быть продолжал.
Там, в золотом полумраке,
фалдами хлопали фраки,
по полу плыли турнюры.
Там под лепным потолком
люстру, виток за витком,
в вальсе кружили амурь.

Там, устремляясь в бокалы,
сладко вино рокотало.
Там нескончаемый бал
каждую ночь побеждал!



Там говорили — стихами!
Там осыпали цветами!
Там негасимые свечи
множились в хрустале!
Там виноград на столе
был изумрудно вечен!

Там она вечно царила,
там она счастьем сорила,
там была навсегда
яростно молода!

Если бы вдруг узнала
эта царица бала,
кто там стоит за стеной,
булькающая злобной слюной,
в кофточке шерстяной,
с узенькой птичьей спиной,
с мутным пылающим взглядом
(Нет! Не надо, не надо!),
кто там застыл неуклюже
в быстро растущей луже!

Господи! Не допусти!
Господи! Не совмести
гул вдохновенного бала
с буйным бряцаньем скандала!
Боже! Пожалуйста, нет!
Ей бы только проснуться —
и никаких революций,
санок, ушанок, штиблет.

Бабка к себе ковыляла
и на полу оставляла
тонкий извилистый след.

8.

*Бабка Смерть призывала,
но потом забывала,
для чего позвала.
Чай старухин некрепкий
с прошлогодней конфеткой
Смерть уныло пила
и старуху жалела.*

*Незлюбивая в целом,
Смерть обычно со всеми
терпелива была.
Бабку не обижала,
но, цenia свое время,
все, что плохо лежало, —
мимоходом брала.*

Где-то скулила собака,
где-то ребенок плакал,
что-то учуяв со сна.

Бабка ворчала украдкой,
плечи топорщила зябко.
Бедная, бедная бабка!
Смерти — и той не нужна!

Мирно часы стучали,
будто они утешали,
будто помочь обещали
прямо «сей-час», «сей-час»,
будто они намечтали,
будто они намечали
радости и печали
сразу для всех для нас.

В бабкиной спальне курили,
в детской — клопов морили,
в бывший ее кабинет
даму привел сосед,
где-то машинка строчила,
Милка стишок учила,
Верка ножи точила,
дом громыхал, как цех.

Выварки, велосипеды
праздновали победу,
горькие бабкины беды
очень смешили всех.



9.

Только древняя липа —
та, что к стеклу прилипла
чистенькой юной листвою, —
помнила бабку живой
и быстроглазой девчушкой
в шубке с овечьей опушкой.
Скромной невестой. Женой.
И уголок ее тесный
тенью своей кружевной
сколько могла — украшала.

Бабка пугливо дышала,
долго присесть не решалась
на кружевную кровать:
бабка боялась порвать
липовое покрывало,
ногтем его поддевала,
чтобы припрятать в сундук.
Цепкие желтые лапки
тщетно царапали тряпки.

Но, оглянувшись вокруг
и образумившись вдруг,
неблагодарный свой труд
бабка беспечно бросала.
И в тишине повисало:
«А-а... Все равно отберут!»





АВТОРЫ НОМЕРА

**Александр ЛОЗОВСКИЙ. Лирическая трагедия
«Ночной разговор с Мариной».**



Многие читатели «Радуги» знают и любят одессита Александра Лозовского — автора серьезных и в то же время увлекательных повестей и романов («В невесомости», «Хорошо забытое новое», «Мохнатые слоны», «Чужой», «Везунчик Митя», «Проблески» и др.). А вот теперь он неожиданно прислал нам свою работу в ином жанре. Александр Михайлович, мы уже не раз это отмечали, человек ищущий и умеющий удивлять. Но главное, верится, и это новое произведение заинтересует всех.

Александр ЛОЗОВСКИЙ



Александр ЛОЗОВСКИЙ

НОЧНОЙ РАЗГОВОР С МАРИНОЙ

Лирическая трагедия

На авансцену выходит И р и н а .

Добрый вечер. Как сейчас принято говорить — спасибо, что к нам пришли. Сначала не-сколько слов о том, что вас сегодня ожидает.

Я думаю, с каждым такое бывает. Жизнь нелегкая, напряжение, нервы. Ночь, за полночь, а сна ни в одном глазу. Во всяком случае, у меня бессонница частый гость.

Не знаю, как вы, а я в таких случаях не считаю баранов или верблюдов, знаю, что это бесполезно. Я поступаю иначе — мысленно беседую с кем-нибудь из любимых кумиров, разумеется, с теми, чье творчество неплохо знаю. А сейчас интернет дает возможность довольно подробно узнать их жизненный путь, их взгляды. И я не просто беседую, а спорю с ними. Я задаю неудобные вопросы, сама делаю смелые предположения, пытаюсь докопаться до истины — ночью и наедине с собой меня не ограничивают никакие условности. Я могу спросить и сказать то, что при дневном свете звучало бы слишком смело. Этим и отличается ночной разговор наедине с собой. Конечно, задаю вопросы я, и отвечаю тоже вроде бы я, но, поверьте мне на слово, порой — и довольно часто — ответ бывает таким неожиданным и глубоким, что невольно возникают сомнения, а нет ли у меня невидимого собеседника? Может, спиритизм в какой-то форме все-таки существует? Ночь, тишина, неясные тени, полусонное состояние, чудится всякое...

Игра светом, затемнение, на сцене загорается лампа на тумбочке, шорохи.

В таких случаях родные меня утром спрашивают: «Не выспалась? Опять полночи брала интервью? У кого на этот раз?»



С их легкой руки и прижилось название «Мои интервью». Именно они и предложили мне попробовать представить на ваш суд одно из таких полуночных бдений.

Часто моим собеседником становится Марина Цветаева. Тем более, что Цветаева — это известно — была склонна если не к мистике, то к чему-то очень похожему. И я, как вы уже наверно догадались, тоже (*улыбается*) в этом не без греха.

А если серьезно, почему Цветаева? Это как раз понятно. Талант от Бога, необыкновенная сила, прямота и открытость чувств, то, что она сама в одном стихотворении называет «душа, не знающая меры» и «душа, достойная костра».

Это прекрасный язык, это не синтетика, популярная в наше время, в жилах ее лирики кровь, а не водица. Словом, это Цветаева.

Я люблю читать и для себя, и со сцены ее стихи. Я о ней знаю очень много, но еще больше, намного больше не знаю. Впрочем, как и все, хотя написано и сказано о Цветаевой предостаточно. Очень сложная и трагическая судьба необыкновенно талантливой женщины, классика, гордости русской поэзии. Ей довелось жить, творить и страдать в страшные годы, когда советская власть уничтожила или разогнала по свету всю нашу интеллигенцию. И в конце концов вполне закономерно, что именно советская власть поставила трагическую точку в ее судьбе.

Она была человеком сложным, очень противоречивым, большой талант редко бывает простым, и это тоже привлекает внимание. А кроме всего прочего, интерес к жизни Цветаевой подогревается еще и тем, что ее судьба порой напоминает странный детектив, сочиненный каким-то сумасшедшим автором, настолько все неожиданно и непредсказуемо.

Это мое личное мнение, я просто попытаюсь кое в чем разобраться — как уже говорила для себя — и почитать любимые стихи замечательного поэта. Неплохое сочетание. И постараюсь, чтобы ночная прямота и решительность меня не оставили.

Разобрались? Вот такая заявка. Есть ли в этом мистика — решать вам.

Начнем.

Примерно так. За полночь. Не спится.

Игра светом, на сцене становится еще темнее.

Лежать надоело, сижу в кресле.

Рядом на тумбочке планшет. Стихи читает наизусть,
цитаты подыскивает в планшете.

Нет, не усну... И стараться не стоит. Я лучше... Марина Ивановна! Я давно хотела у вас кой о чем спросить.

Марина. Опять не спится? Ирина, но я просила — почему снова Ивановна?

Ирина. Ну как почему? Почитание, классик... гордость русской поэзии. Любимый поэт — как и вы, я не люблю слово поэтесса, как-то мельчит. Как же без отчества?!

Марина. Отчество вовсе не признак почтения, особенно в ваше время. Скорее наоборот. Для известного человека и одной фамилии достаточно.



И потом... Ирина, это несправедливо. Я моложе вас. Мне 48 лет было... и остается. Ну, хорошо, не обижайтесь, и я не буду. Значит Марина и Ирина! Рифмуется.

А почему вы не спите? Почитали бы что-нибудь перед сном на ночь, глядишь... Можно и мои, из «Волшебного фонаря» или «Вечернего альбома». Первые еще юношеские сборники...

Ирина. Я почитала. Вот теперь и не сплю...

Кто спит по ночам? Никто не спит!
 Ребенок в люльке своей кричит,
 Старик над смертью своей сидит,
 Кто молод — с милою говорит,
 Ей в губы дышит, в глаза глядит.
 Заснешь — проснешься ли здесь опять?
 Успеем, успеем, успеем спать!
 А зоркий сторож из дома в дом
 Проходит с розовым фонарем,
 И дробным рокотом над подушкой
 Рокочет ярая колотушка:
 — Не спи! крепись! говорю добром!
 А то — вечный сон! а то — вечный дом!

Давайте лучше поговорим. А кстати, есть тема.

Марина. Понятно. Какое еще неожиданное открытие в моей биографии вы сделали?

Ирина. Представьте себе — сделала, и очень серьезное. Я буду говорить прямо, без обиняков. Мы ведь так уславливались? Ночкой разговор. Ваше место на литературном олимпе ни у кого сомнений не вызывает. Но Цветаева как человек... Часто можно услышать: «Она всегда была...» — и следует стандартный набор. Нелегкий характер, сомнительное поведение, бестактность, демонстративное пренебрежение общественным мнением и прочее, и прочее в этом же духе. Весь этот набор считается врожденным и неизменным. Стандарт.

Марина. Это несправедливо. (*Входит в раж.*) Говорят — кому много дано, с того много спрашивается. Я бы сказала иначе — кто дает людям много, с того нужно не только спрашивать, но и давать... немного свободы, возможность искать и ошибаться. Не судить, не рядить сплеча, вкривь и вкось. Все-таки быть... аккуратней. Дал вам поэт стихи — читайте. Оставьте мою жизнь в покое, хотя бы после того как я ушла. Что сказала, с кем спала, какого пола... к чему это все? Если автор хороший семьянин и любящий отец, понравится ли мне больше по этой причине его книга? Не думаю. Почему же должно быть наоборот? Не нужно объединять автора и его творчество. Ирина, что вас так удивило?

Ирина. Оставить в покое вашу жизнь? А что же тогда читать? Ваши стихи и есть ваша жизнь! Брюсов сказал: «Когда читаешь ее книги... появляются уже не поэтические создания, но просто страницы чужого дневника». Ваши книги это откровенный поэтический рассказ о вашей жизни. Не напрасно о них говорят — «дневник души», или «дневник чувств». И именно эти стихи — Цветаева, которую мы любим. Основа ваших стихов — чувства, открытые для всех.



Но я о другом. Точнее о других. О тех, кто мажет все одной краской. Все сложнее и не так однозначно. Вас, Марина, жизнь бросала из огня да в полымя, каждый этап был не похож на другой, ничего общего. И вы... не то чтобы каждый раз становились другим человеком... хотя, можно сказать и так. Но точнее будет — вы открывались с новой, неожиданной стороны. Как с хорошей, так и — скажу помягче — увы, с печальной. Со знаком плюс или со знаком минус.

М а р и н а . Что в этом странного?! Человек с годами меняется.

И р и н а . Но не тогда, когда ваша предыдущая жизнь не дает никаких оснований для таких перемен. Каждый раз неожиданный поворот. Не только сумасшедший автор, который трудился над вашей биографией, но и вы, Марина, тоже не переставали удивлять.

М а р и н а . (*С иронией.*) Я не ошиблась, у вас действительно новое открытие. Тогда, пожалуйста, поподробнее, чтобы могла наконец разобраться в своей биографии.

И р и н а . Хорошо, с удовольствием. Тем более и сон пропал окончательно и бесповоротно. Начнем сначала. С начала вашей жизни. До двадцати лет. Это были беззаботные детские и юношеские годы в России, в Италии, во Франции. Потом опять Россия до революции. Культурная, обеспеченная семья, отец известный филолог, мать прекрасной души человек, талантливая пианистка, немного художник, немного поэт. Замечательная семья. Все было прекрасно.

Вы, Марина, очень рано поверили в свое предназначение, за это время вышло два сборника стихов — «Вечерний альбом» — вам было 18 лет, и «Волшебный фонарь» — не было и двадцати. Романтические, светлые стихи, в них уже видны мастерство и талант Цветаевой. Кстати, стихи из этих сборников сейчас вошли в моду и пользуются большим спросом у исполнителей. Одно из них оказалось пророческим:

Моим стихам, написанным так рано,
 Что и не знала я, что я — поэт,
 Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
 Как искры из ракет,
 Ворвавшимся, как маленькие черти,
 В святилище, где сон и фимиам,
 Моим стихам о юности и смерти
 — Нечитанным стихам! —
 Разбросанным в пыли по магазинам
 (Где их никто не брал и не берет!),
 Моим стихам, как драгоценным винам,
 Настанет свой черед.

Оттуда и берет начало необыкновенная искренность ваших стихов. Что в душе, что на уме, то и в стихах. Именно об этих сборниках писал Брюсов — «страницы чужого дневника». По этим страницам с полным доверием можно судить об авторе. Вы в те годы были романтиком, человеком цельным и даже немного наивным. А об эпатаже, легкомыслии или фривольности даже и речи быть не могло.

Что немного удивляет в этих сборниках — слишком часто, учитывая возраст и счастливый период вашей жизни, возникает тема смерти.



Уж сколько их упало в эту бездну,
 Разверстую вдали!
 Настанет день, когда и я исчезну
 С поверхности земли.
 Застынет все, что пело и боролось,
 Сияло и рвалось.
 И зелень глаз моих, и нежный голос,
 И золото волос.
 И будет жизнь с ее насущным хлебом,
 С забывчивостью дня.
 И будет все — как будто бы под небом
 И не было меня!
 — К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,
 Чужие и свои?! —
 Я обращаюсь с требованьем веры
 И с просьбой о любви.
 За то, что мне — прямая неизбежность —
 Прощение обид,
 За всю мою безудержную нежность
 И слишком гордый вид,
 За быстроту стремительных событий,
 За правду, за игру...
 — Послушайте! — Еще меня любите
 За то, что я умру.

Многие рассматривают это как комплекс считают предвестником трагедии в Елабуге. Я, Марина, так не думаю...

М а р и н а . Какой там синдром, молодежная рисовка, не больше. И вспомните, какое тогда было время. Начало XX века, перед Первой мировой войной. Темы отчаяния и смерти были не только модными, они витали в воздухе. Нет, я уверена, это была дань моде. Но, Ирина, мне кажется, вы нарисовали слишком розовый портрет на основании стихов. В жизни так не бывает. И я не пойму...

И р и н а . Не только стихи. И ваша жизнь. Единственной долгой вашей любовью до встречи с мужем, начиная с детских лет, был герой пьесы Ростана «Орленок», давно почивший в бозе сын Наполеона герцог Рейхштадский. Затем счастливый брак по любви с Сергеем Эфроном. По любви?

М а р и н а . Конечно, по любви. (*Мечтательно.*)

Писала я на аспидной доске,
 И на листочках вееров поблеклых,
 И на речном, и на морском песке,
 Коньками по льду и кольцом на стеклах,
 И на стволах, которым сотни зим,
 И, наконец — чтоб было всем известно! —
 Что ты любим! любим! любим! — любим!
 Расписывалась — радугой небесной.

И р и н а . Родилась дочь Ариадна. Вам было двадцать лет, и все было не просто хорошо, а прекрасно. И кто мог предполагать, что после рождения дочери произойдет кризис, я бы сказала — перерождение. Это не сплетни,



не досужий вымысел, мы не подсматривали никуда, никуда не заглядывали, вы нам сами в стихах рассказали, что с этих двадцати лет, о которых только что вспоминали, вы неожиданно бросились с головой и даже очертя голову в плавание по бурному морю, а может, даже океану самых разных влюбленностей. Это и был поворот судьбы. Возможно, поворот назывался Софией Парнок, но скорее всего это был только спусковой крючок. Тогда появились другие стихи, в том числе с очевидным сафическим подтекстом. Ныне он называется лесбийским.

ПОДРУГА

Вы счастливы? — Не скажете! Едва ли!
 И лучше — пусть!
 Вы слишком многих, мнится, целовали,
 Отсюда грусть.
 Всех героинь шекспировских трагедий
 Я вижу в Вас.
 Вас, юная трагическая леди,
 Никто не спас!
 Вы так устали повторять любовный
 Речитатив!
 Чугунный обод на руке бескровной —
 Красноречив!
 Я Вас люблю. — Как грозная туча
 Над Вами — грех —
 За то, что Вы язвительны и жгучи
 И лучше всех,
 За то, что мы, что наши жизни — разны
 Во тьме дорог,
 За Ваши вдохновенные соблазны
 И темный рок,
 За то, что Вам, мой демон крутолобий,
 Скажу прости,
 За то, что Вас — хоть разорвись над гробом!
 Уж не спасти!
 За эту дрожь, за то, что — неужели
 Мне снится сон? —
 За эту ироническую прелесть,
 Что Вы — не он.

«Вы не он», куда еще нужно заглядывать, что неясно? И кому не известна была ваша продолжительная близость с Софией Парнок, которая действительно «не он». Демонстративная и в стихах, и в жизни.

Марина. (Смутилась.) Я никогда не считала себя ангелом, просто говорила все открыто. В том числе и то, что обычно скрывают. Но, Ирина, если вы действительно много обо мне читали, то знаете — немало понято превратно...

Ирина. Да, я знаю, что у вас свое, расширенное определение влюбленности, которое многих сбивало с толку. Большую часть этих влюбленностей обычные люди бы назвали так — я этим человеком восхищаюсь. Может, даже перед ним преклоняюсь. Романы эти часто были эпистолярными. Ахматова,



Рильке, Мандельштам, Пастернак. Имя им легион. И любовь нередко была платонической, но — тоже нередко — вполне земной. И стихи, стихи, стихи...

М а р и н а . Да, я любовь ценила выше всех чувств. Что за стихи были бы, если бы в них говорилось — ценю, уважаю, какой вы талантливый. А так — люблю, и сразу все ясно.

АННЕ АХМАТОВОЙ

Узкий, нерусский стан
 Над фолиантами.
 Шаль из турецких стран
 Пала, как мантия.
 Вас передашь одной
 Ломаной черной линией.
 Холод — в весельи, зной —
 В Вашем унынии.
 Вся Ваша жизнь — озноб,
 И завершится — чем она?
 Облачный — темен — лоб
 Юного демона.
 Каждого из земных
 Вам заиграть — безделица!
 И безоружный стих
 В сердце нам целится.
 В утренний сонный час,
 — Кажется, четверть пятого, —
 Я полюбила Вас,
 Анна Ахматова.

И р и н а . А мне очень нравится «Мандельштаму».

Ты запрокидываешь голову
 Затем, что ты гордец и враль.
 Какого спутника веселого
 Привел мне нынешний февраль!
 Преследуемы оборванцами
 И медленно пуская дым,
 Торжественными чужестранцами
 Проходим городом родным.
 Чьи руки бережные нежили
 Твои ресницы, красота,
 И по каким терновалежиям
 Лавровая твоя верста... —
 Не спрашиваю. Дух мой алчущий
 Переборол уже мечту.
 В тебе божественного мальчика, —
 Десятилетнего я чту.
 Помедлим у реки, полощущей
 Цветные бусы фонарей.
 Я доведу тебя до площади,
 Видавшей отроков-царей...



Мальчишескую боль высвистывай,
И сердце зажимай в горсти...
Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник — прости!

В нескольких строках такой живой, замечательный образ. Я теперь Осипа Манделъштама иначе и не представляю. Его отношение к вам, ваше отношение к нему. «Вольноотпущенник — прости!» И все это в нескольких строках.

А ведь он ездил за вами в Крым. И жена Манделъштама писала: «Меня смущает связанное с ней равнодушие к людям, которые в данную минуту не нужны или чем-то мешают «пиру чувств»... Удивительное сочетание неистовства и равнодушия». Но может быть, она пристрастна, несправедлива? Или у нее есть для этого основания?

М а р и н а . Ирина, я не Кармен. Это были, как вы сказали, увлечения, а не страсти. Никому я не собиралась калечить жизнь, разрушить семью, я, кстати, и сама была замужней женщиной. Легкомыслие — да, конечно.

Легкомыслие! — Милый грех,
Милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мне вбрызнул смех,
Ты мазурку мне вбрызнул в жилы.
Научил не хранить кольца,—
С кем бы Жизнь меня ни венчала!
Начинать наугад с конца
И кончать еще до начала.

«И кончать еще до начала» — скорее в вину мне можно было поставить, что я избегала серьезных продолжительных связей. Даже — между нами, Ирина,— часто старалась не доводить дело до близости, чтобы увлечение увлечением и оставалось.

И р и н а . Не сомневайтесь, вам это в вину ставилось. Об этом много пишут. О том, что ваши влюбленности влюбленностью чаще всего и заканчивались. И по вашей инициативе. Эмоции, восторги, стихи — для вас этого было достаточно. Одна влюбленность сменяла другую. Как у Пушкина: «Одна заря спешит другую сменить, дав ночи полчаса». Но вы и полчаса на смену не давали.

И еще одно. Когда влюбленность неожиданно исчезала, а чаще просто менялся ее адрес, вас не очень волновало, что происходило дальше с пострадавшими. Я имею в виду и героев романов, и тех, кто был с ними рядом, кто их любил. Именно об этом посмела упомянуть жена Манделъштама. Это не могло не настраивать против вас.

А знаете, что еще раздражало высокоморальную часть общественности, особенно женскую ее половину? Что вы были в большинстве случаев нападающей стороной. Своих чувств ни от кого не скрывали. Часто передовым отрядом были стихи. Вы не ждали милости от природы. Об этом тоже много написано. Вы атаковали. Вроде бы мужской стиль. Где традиционная женская скромность?

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес,
Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой,
Оттого что я тебе спую — как никто другой.



Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
 У всех золотых знамен, у всех мечей,
 Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —
 Оттого что в земной ночи я вернее пса.
 Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной,
 Ты не будешь ничей жених, я — ничей женой,
 И в последнем споре возьму тебя — замолчи! —
 У того, с которым Иаков стоял в ночи.

Если не ошибаюсь, эти стихи как-то связаны с Александром Блоком. Но, Марина, это в ваше время определенно был «моветон». Требовалась смелость и уверенность в своих силах. Хотя сейчас в наше время такое сплошь и рядом. И даже является скорее правилом, чем исключением.

М а р и н а . Тогда я вас удивлю. И немного развлеку. А то мы слишком серьезны. Да, я чаще атаковала, чем оборонялась. И проблемы скромности меня не слишком волновали. Это действительно вызывало бурю возмущений. Но интересно, меня «скромные» женщины обвиняли в хитрости и расчетливости. Меня — в расчетливости! Они говорили, что наступающая женщина сознательно — если она не дура — пользуется слабостью мужчин, тоже воспитанной веками. Тоже традиционной.

И р и н а . Какой слабостью?

М а р и н а . Мужчина по своей природе не может пройти мимо того, что плохо лежит. Тем более, если хорошо лежит. Соблазнительно. Не удержится, возьмет то, что ему предлагают, даже если у него не то что желания, а и мысли такой прежде не возникало. Была в мое время целая дискуссия. В чем-то я с этим согласна.

И р и н а . (*Удивлена, поражена.*) Я этого не знала! И вы не можете знать то, что неизвестно мне. Как такое возможно? Ущипните меня.

М а р и н а . Я не могу ущипнуть. Я только в вашем сознании. Я — это вы, Ирина. Успокойтесь. Запомнили или не обратили внимания, а теперь подсознание напомнило.

И р и н а . Хорошо, постараюсь. Но на всякий случай всетаки спрошу — нападение действительно помогает?

М а р и н а . (*Чувствуется улыбка.*) На всякий случай отвечу. Бывает по-разному. Иногда и сама не поймешь.

Под лаской плюшевого пледа
 Вчерашний вызываю сон.
 Что это было? — Чья победа? —
 Кто побежден?
 Все передумываю снова,
 Всем перемучиваюсь вновь.
 В том, для чего не знаю слова,
 Была ль любовь?
 Кто был охотник? — Кто — добыча?
 Все дьявольски-наоборот!
 Что понял, длительно мурлыча,
 Сибирский кот?
 В том поединке своеволий
 Кто, в чьей руке был только мяч?
 Чье сердце — Ваше ли, мое ли
 Летело вскачь?



И все-таки — что ж это было?
 Чего так хочется и жаль?
 Так и не знаю: победила ль?
 Побеждена ль?

Да, я любила состояние влюбленности. Но сейчас понимаю, оно мне было необходимо для творчества. Какая лирика без влюбленности? Главным в моей жизни всегда было творчество. Ради него я жертвовала многим. И собой. И не только собой. А продолжая современный стиль интервью, скажу прямо — меня гораздо больше волнует отношение читателей, и вас, Ирина, к моим стихам, чем ко мне.

Ирина. Но пойдём дальше. Не только о чувствах, но и о реальной жизни, За эти годы в мире многое произошло, кроме того, о чем мы с вами поговорили. Первая мировая война, революция в России, голод и разруха. Новый ужасный этап не только для вас, но и для страны. Вы остались одна с двумя детьми в голодной Москве — на три с половиной года исчез ваш муж Сергей Эфрон, ушел в белую армию. Страшные годы. И для вас не легкие, но удивительно успешные и плодотворные. Как такое могло произойти? Одна ваша недоброжелательница до революции писала: «Своевольная, разбалованная, человека, более далекого от поисков хлеба насущного, трудно себе представить». И я, простите, во многом с ней согласна. Но вы, Марина, снова перевоплотились — почти по Станиславскому.

Вот только краткий перечень достижений этих трех с половиной лет. Вы много работали, вошли в среду литераторов, пока еще не полностью разогнанных большевиками, за эти годы стали признанным писателем. Был опубликован сборник «Версты», встреченный — пишут — с восторгом. Далее (*Читает в планшете.*) «Лебединый стан», большой фольклорный цикл — поэмы, сборники. (*Читает с легкой иронией.*)

К озеру вышла. Крут берег.
 Сизые воды в снег сбиты,
 На голос воют. Рвут пасти —
 Что звери.
 Кинула перстень. Бог с перстнем!
 Не по руке мне, знать, кован!
 В серебро пены кань, злато,
 Кань с песней.

Фольклорный цикл меня не увлек... Признаюсь. Но я только читатель, то есть человек, который может позволить себе читать то, к чему душа лежит. Не все. Вы написали семь драматических произведений! Семь! Пьес! Их я тоже почти не читала. Огромный объем.

Работали в трех наркоматах (а муж был в Белой армии), в том числе последние годы в театральном отделе Наркомпроса. Стали своей в театральной среде, возникли прочные связи с театром Вахтангова, влюбленности в режиссера, а также в некоторых поэтов и не поэтов. Благоговейная любовь и дружба с блестящим осколком старого мира, бывшим директором императорских театров князем Сергеем Волконским. Дружеские связи с большими актрисами — Аллой



Константиновной Тарасовой и Анастасией Платоновной Зуевой, тогда еще молодыми. Очень теплые романтические — не эротические! — отношения с молодой актрисой студии МХАТ, любимицей театральной Москвы Сонечкой Голлидэй, которую вы называли своей Музой.

Ландыш, ландыш белоснежный,
 Розан аленький!
 Каждый говорил ей нежно:
 «Моя маленькая!»
 — Ликом — чистая иконка,
 Пенъем — пеночка... —
 И качал ее тихонько
 На коленочках.
 Ходит вправо, ходит влево
 Божий маятник.
 И кончалось все припевом:
 «Моя маленькая!»

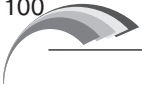
Вот такой характер. Спустя годы, уже в эмиграции, когда вы узнали о ее смерти, то написали прекрасную «Повесть о Сонечке».

М а р и н а . Между прочим, в Москве режиссеру, о котором вы упомянули — это был Юрий Завадский — я посвятила шуточные стихи. Неплохие. Давайте немного отвлечемся:

Не любовь, а лихорадка!
 Легкий бой лукав и лжив.
 Нынче тошно, завтра сладко,
 Нынче помер, завтра жив.
 Бой кипит. Смешно обоим:
 Как умен — и как умна!
 Героиней и героем
 Я равно обольщена.
 Жезл пастуший — или шпага?
 Зритель, бой — или гавот?
 Шаг вперед — назад три шага,
 Шаг назад — и три вперед.
 Рот как мед, в очах доверье,
 Но уже взлетает бровь.
 Не любовь, а лицемерье,
 Лицедейство — не любовь!
 И итогом этих (в скобках —
 Несодержательных!) грехов —
 Будет легонькая стопка
 Восхитительных стихов.

И р и н а . Не устаю удивляться вашей — как говорят специалисты — палитре. Читаю из Интернета:

«Какое разнообразие. От легких искрящихся и пенящихся стихов, до страстных, напряженных, глубоких, философских, даже иногда перегруженных новаторством и фольклором. Это не просто мастерство, а мастерство, помноженное



на талант». Я полностью согласна с автором этих строк. Огромный диапазон.

Марина. Дифирамбы? От вас? В ночном интервью? Это подозрительно. Нужно ждать неприятностей.

Ирина. Вы не ошиблись. Приступаю. Так все-таки, почему у вас все так удачно складывалось в литературе, общественной и личной жизни? А время было, повторяю, тяжелое, страшное. В чем причины успехов? В основном, разумеется, ваша заслуга. Талант, энергия, сметающая преграды, уверенность в себе. Жесткость, которой раньше не было. У прежде абсолютно независимой женщины обнаружилось умение приспособливаться. Марина, не хмурьтесь, ночной разговор!

Но и... и потому что вам никто не мешал. Я не имею в виду мужа, он никогда ни в чем не был помехой... Я не в осуждение, просто констатация факта... А если честно, то затягиваю время, набираюсь мужества, чтобы перейти к следующей теме. Я до сих пор в это поверить не могу. Ну, хорошо! *(Решилась.)* Никто не мешал, потому что вы, Марина в это страшное время отдали своих двух девочек — двухлетнюю Ирину и семилетнюю Ариадну в приют. В голове не укладывается! Отдавать в приют в 1919 году двухлетнего ребенка практически равносильно вынесению ему смертного приговора. И спустя короткое время этот приговор был приведен в исполнение. Девочка умерла.

Любая попытка оправдать этот поступок безнадежна.

Тогда всем было плохо, очень плохо. И вам. Но единодушное свидетельство современников — вы могли прокормить детей. Все-таки у вас была официальная работа, комната в Борисоглебском переулке, вы прилично одевались — положение в обществе обязывало. Не перерабатывали на службе, были вещи на продажу. У меня есть только одно объяснение, хотя оно коробит — действительно не было возможности нанять женщину, которая бы ухаживала за детьми, и у вас режим жизни был бы другим. Мешал бы успехам в перечисленных выше областях.

Эта ужасная история содержала еще ряд поистине безобразных обстоятельств. Мы знаем, бывают случаи, когда родители сплавляют детей бабушкам, в сказках мачеха приказывает отвести падчерицу в лес на смерть... Мачеха! Кстати о мачехе. У хорошо одетой ухоженной дамы детей в приют не принимали, поэтому вы устроили их через третьих лиц и... научили девочек говорить, что вы им не мать. «Мать и мачеха».

А финал — в конце концов вы старшую все-таки забрали из приюта, она там болела, даже шла кровь горлом. Потом сестры мужа помогли ее выходить. А младшую оставили. Результат известен.

Я почитаю вам письма Ариадны из приюта. Она вас зовет Мариной. *(Берет планшет.)* Нет, не могу. Читайте вы, вам адресовано.

Очень сложный и важный момент. Когда-то Марина их уже читала, но тогда ее эти письма не трогали, теперь видит другими глазами.

Важно не переиграть:

Марина. «Милая Марина! Как грустно! Как разрывает сердце разлука! Здесь жара. Печаль об Вас! Так печально без Вас.

У Вас я ела лучше и наедалась больше, чем у этих. О мама! Если бы Вы знали мою тоску. Я не могу здесь жить. Я не спала еще ни одной ночи еще. Нет покою от тоски и от Ирины. Тоска ночью и Ирина ночью. Я страдаю! Мамочка!

Ирина сегодня ночью обделалась за большое три раза! Я с ней спала. Сегодня должна приехать Лидия Александровна. Ирина отравляет мне жизнь. Тоска днем и Ирина днем. Марина, я в первый раз в жизни так мучаюсь. О, как я мучаюсь, как я Вас люблю. Я ни за что не пойду в школу. Там не то, не то. Мне нужны Вы. Все время у меня тяжелая голова, и думаю, думаю, думаю об Вас.

О, как мне было с Вами хорошо. Вчера было Воскресение. Но мне не был тот день Праздником, он был мне тяжелой ношей. О прият.

О Марина! я все та же, та же! Если бы Вы приехали. О, какое было бы счастье. О милая Марина! Прийдите ко мне, поцелуйте меня.

Я не могу пережить месяца здесь, из-за Ирины.

Я Вас люблю, я Вас люблю, и больше ни-че-го».

«Мама! Я повешусь, если Вы не приедете ко мне, или мне Лидия Алекс<андровна> не даст весть об Вас! Вы меня любите? Господи, как я несчастна! Из тихой тоски я перехожу в желание отомстить тому, кто это сделал. О, я Вас прошу, любите, пожалуйста, меня, или я умру самой мучительной смертью.

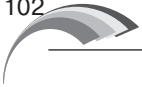
Ирина. Как пишет девочка семи лет! Какое горе может заставить так повзрослеть?! Я вас всегда считала самой женской поэтессой. Ошиблась? А может, не ошиблась? Только женщина способна на такие крайности, такие контрасты, на что даже самый отчаянный мужчина никогда не решится.

Марина. *(Глухо, после паузы.)* Да, я писала: «На одного маленького ребенка в мире не хватило любви». На Ирину. Я временами была жестким человеком. Бескомпромиссным. Наверно эгоцентричным. И наверно, считала, что искусство дает мне больше прав, чем любому человеку. Но дело не только в этом. Ирина была больным ребенком. Нет, не только больным, а нежизнеспособным. Она навсегда бы оставалась нежизнеспособной. Сама бы страдала, и страдали бы те, кто с ней рядом. Я где-то писала, что не была человеком церкви, хотя это не значит, что не верила ни во что... Я и сейчас думаю, что принцип христианства — главное любой ценой сохранить жизнь, верен не всегда. Иногда нужно набраться решимости и избавить человека от невыносимых и бесконечных страданий. Когда нет надежды. Да, Ирина была нежизнеспособной. И никогда ею бы не стала. Я действительно так думала. Это была позиция. Не знаю, оправдание ли это, но когда я почувствовала, что стала нежизнеспособной, что могла и себе и другим — в частности сыну — приносить только страдания, я ушла. По своей воле. В Елабуге.

Ирина. *(Озадачена.)* Я ни о чем подобном нигде не читала. Странно...

Марина. Но все же *(с трудом продолжает)* то, что вы говорите, правда. Я писала дома, работала много. Денег на няню не было. Двое детей, один из которых в три года делал под себя, не соображал ничего, не знал покоя и другим его не давал — помните письмо Али? Ирину ни днем, ни ночью нельзя было оставить без присмотра... Какое было бы искусство? Где граница, чем можно жертвовать...

Ирина. Трудно, почти невозможно иногда оправдать талант. Единственный способ — вы меня убедили окончательно — не связывать автора с его произведениями. Но, как уже говорила, с вами это особенно тяжело. Я очень люблю поэта Цветаеву и может быть поэтому слишком требовательно отношусь к Цветаевой-женщине, особенно в том, что касается любви. Но я уже говорила, это мое личное мнение.



М а р и н а . Я за многое в жизни рассчиталась... (*Пауза.*) но все равно осталась должна еще больше.

Желательно как-нибудь организовать приличный перерыв,
может — светом, музыкой.

* * *

И р и н а . Московский период закончился в 1922 году. Наконец вы получили через Илью Эренбурга весточку от мужа, который жил в Праге и учился в университете. Не задумываясь, вы немедленно сорвались к нему в эмиграцию, успехи в России вас не остановили.

М а р и н а . Позади остались голод, страх, неуверенность, и никакая слава не могла это компенсировать. Муж всегда оставался для меня самым родным человеком. (*Улыбается воспоминаниям.*) Это я благословила его на ратный подвиг — сначала добровольцем на фронт, потом в Белую армию. Защищать правое дело.

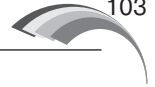
На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.
Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

Мы снова стали нормальной семьей — отец, мать и дочь. Сергей учился, жил в общежитии университета, мы с Алей снимали квартиру. Был круг знакомых, эмигрантов из России.

И р и н а . И стихи. Этот период называют вашей болдинской осенью. Конечно, это очень хорошо. Но сумасшедший автор, который трудился над вашей биографией, не дремал. И мы уже знаем — мощный поток лирических стихов у вас обычно связан с новым романом, не литературным, а вполне реальным. Так произошло и на этот раз. Семейная идиллия продолжалась недолго. Соученик мужа, Константин Родзевич, которого — кстати — друзья называли «маленький Казанова», и над которым вы первое время подсмеивались, неожиданно даже для вас стал сначала любовником, а потом и самой сильной страстью вашей жизни. Так считаете вы, так считает общественность.

М а р и н а . А вы, судя по интонации, в этом сомневаетесь?

И р и н а . Нет, не сомневаюсь. Я же читаю письма. (*Читает в планшетте.*) «Мой горячо родной Родзевич! Я глубоко счастлива, когда с Вами. Никогда ни к кому я не была так близко привязана. Ведь все мое горе, что я — не с Вами. Какое простое горе... Просто рвусь к Вам...» «Все это, конечно, только начало. Я пишу Вам о своем хотении (решении) жить. Без Вас и вне Вас мне это не удастся. Жизнь я могу полюбить через Вас. Отпустите — опять уйду, только с еще большей горечью. Вы мой первый и последний ОПЛОТ. (Господи, прости меня за это счастье!)»



Как можно не поверить? Верю, но не понимаю. Почему он?

М а р и н а . На этот вопрос я, как на все другие, ответить не могу. Знаю только, это обрушилось на меня, как... гора. Оглушило, лишило воли.

И р и н а . А может все проще, чем кажется? Так часто бывает — для многих женщин очень опасен возраст от тридцати. Это период зрелости. Нас может оглушить сильная плотская любовь. Такое бывает — совпадает время, обстановка, мужчина, и в женщине пробуждается тело.

М а р и н а . Может, и так. Но не имеет значения почему, важно, что произошло. Оказалось, мои измены и похождения были только игрой и похотью, а с Родзевичем они стали исступлением. Тогда уже не до эстетики, тогда все первобытно. Я поняла, что настоящая страсть это не бальные танцы в белом на паркете, в ней много животного, даже низменного, если смотреть со стороны. Но в страсти со стороны не смотрят.

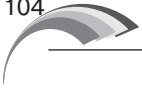
От друзей — тебе подноготную
 Тайну Евы от древа — вот:
 Я не более, чем животное,
 Кем-то раненое в живот.
 Жжет... Как будто бы душу сдернули
 С кожей! Паром в дыру ушла
 Пресловутая ересь вздорная
 Именуемая душа.
 Христианская немочь бледная!
 Пар! Припарками обложить!
 Да ее никогда и не было!
 Было тело, хотело жить,
 Жить не хочется.

Хотя нет, было не только тело, не только страсть. Все-таки тело, душа и чувства. А когда они объединяются...

И р и н а . А голова?

М а р и н а . *(Улыбка.)* Нет, голову я тогда совсем потеряла. Потеряла. Она уже не могла меня останавливать, предупреждать, держать в границах. Я и сейчас думаю, что женщина бывает самой счастливой, когда теряет голову. И не важно, что будет потом. За короткий срок можно пережить намного больше, чем за долгие годы обычной жизни. И хорошего, и плохого. Не каждой женщине это дано, но, наверно, каждая втайне хотела бы. Со мной это произошло. Мы действительно потеряли голову. Почти не таились. Снимали комнаты в соответствующих гостиницах невысокого пошиба. С кроватью еще теплой от предыдущей пары. И я даже не чувствовала неловкости. Бродили по каким-то глухим местам.

Дно — оврага.
 Ночь — корягой
 Шарящая. Встряски хвой.
 Клятв — не надо.
 Ляг — и лягу.
 Ты бродягой стал со мной.



С койки затхлой
 Ночь по каплям
 Пить — закашляешься. Власть
 Пей! Без пятен —
 Мрак! Бесплатен —
 Бог: как к пропасти припасть.
 (Час — который?)
 Ночь — сквозь шторы
 Знать — немного знать. Узнай
 Ночь — как воры,
 Ночь — как горы.
 (Каждая из нас — Синай
 Ночью...)

Это действительно были не бальные танцы на паркете. Так продолжалось почти год. А Прага не слишком большой город, и русская община была тоже невелика.

Ирина. А расплата?

Марина. Да, за это нужно было платить. В таком случае женщина или уходит к другому, или возвращается к мужу. И тогда что-то в ней надламывается. Я вернулась к мужу. Мысль, что он останется один, тоже была невыносимой.

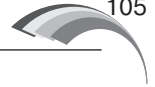
Ирина. Родзевич не любил стихов, и не скрывал этого. В том числе и ваших. Может, это льстило? Значит, любит в вас только женщину. Но оставаться с человеком, для которого ничего не значит то, ради чего вы живете?.. И потом вы сознавали, что как просто женщина, без надстройки «поэт» вы не слишком выделялись, уж не обессудьте, разговор прямой. Разумеется, я имею в виду только внешность. Так было бы и с Родзевичем. Поэтому вы, мне кажется, должны были понимать, что перспективы хоть с маленьким, но все-таки Казановой, туманны.

Марина. Нет, никакие трезвые мысли, никакие рассуждения для меня тогда не были возможны. Когда муж, который уже не мог делать вид, что ничего не замечает, объявил о разводе и об отъезде, я была на грани потери рассудка. Нет, за гранью. И мысли о самоубийстве тоже были, этого не без основания опасался Сергей.

Ирина. Сергей тогда писал Максимилиану Волошину: «Марина рвется к смерти. Жизнь давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно». Все-таки тенденция была, я имею в виду Елабугу...

Марина. А как было больно расставаться... Казалось, конца света не миновать.

Не довспомнивши, не допонявши,
 Точно с праздника уведены...
 — Наша улица! — Уже не наша...
 — Сколько раз по ней!.. — Уже не мы...
 — Завтра с западу встанет солнце!
 — С Иеговой порвет Давид!
 — Что мы делаем? — Расстаемся.
 — Ничего мне не говорит
 Сверхбессмысленнейшее слово:



Рас-стаемся. — Один из ста?
Просто слово в четыре слога,
За которыми пустота.
Звук, от коего уши рвутся,
Тянутся за предел тоски...
Расставание — не по-русски!
Не по-женски! Не по-мужски!
Не по-божески! Что мы — овцы,
Раззевавшиеся в обед?
Расставание — по-каковски?
Даже смысла такого нет.

Ирина. И все-таки платить нужно за все. Наверно это справедливо.

Марина. Конечно, справедливо, кто спорит. Нехорошо изменять мужу. Особенно (*С сарказмом.*) это возмущает тех, кто поменял седьмую жену или пятого мужа, и все мал мала меньше... Моложе и моложе. Менять — это нормально... Но я тогда за три месяца написала 90 стихотворений, «Крысолов», кровью две поэмы — «Поэма Горы» и потом буквально за считанные часы «Поэма Конца».

Ирина. Да, эти поэмы признанные вершины любовной лирики.

Марина. Я бы без этой болдинской осени не стала той Цветаевой, о которой вы сейчас говорите. Так где граница того, что можно и чего нельзя? И есть ли она...

Но с того времени что-то переменялось во мне и в мире вокруг меня. Что-то пошло иначе.

Ирина. Да, Марина, пошло иначе. И прежде всего ситуация изменилась объективно — вы переехали в Париж. И заранее нужно признать, что с этого момента жизнь доставляла вам мало радостей, зато плохого и даже трагичного становилось все больше и больше. Вы как-то написали: «Эмиграция делает меня прозаиком». То есть ваши стихи воспринимались хуже, чем проза. Точнее, ваша поэзия не пользовалась спросом. И вы не обидитесь, если я вместо вопроса выскажу предположение?

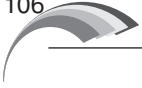
Марина. Рискните.

Ирина. Не без вашего в этом участия. Мне кажется, что после расставания с Константином Родзевичем, которое казалось вам крушением всех надежд, вы сникли. Надломилась. Как сами только что сказали. Вам уже не чувствовалось так, как раньше, а следовательно — и не писалось, потому что именно чувства, если хотите — влюбленности были ядерным топливом для вашей лирики.

Марина. (*Со вздохом.*) На том топливе, что у меня тогда осталось, даже яичницу не пожаришь. Уже не говоря о влюбленностях... Нужно как минимум что-то похожее на влюбленность в жизнь, а у меня и этого не было. А когда в душе пустота, какая может быть лирика, особенно любовная. Впрочем, я вам это уже говорила.

Ирина. И кроме перенесенного разочарования была еще одна причина резкого контраста с плодотворной болдинской осенью — даже ваш неукротимый темперамент не перенес бедности, скорее нищеты, бесцветности и бесперспективности жизни в Париже. И в результате двенадцать лет эмиграции во Франции с точки зрения любовной лирики можно считать ... ну, скажем, полупустыней, чтобы не обидеть. Немного стихотворений вошло в копилку.

Вот ваше впечатление о жизни в Париже.



За этот ад,
 За этот бред,
 Пошли мне сад
 На старость лет.
 На старость лет,
 На старость бед:
 Рабочих — лет,
 Горбатых — лет...
 На старость лет
 Собачьих — клад:
 Горячих лет —
 Прохладный сад...
 Для беглеца
 Мне сад пошли:
 Без ни-лица,
 Без ни-души!
 Сад: ни шажка!
 Сад: ни глазка!
 Сад: ни смешка!
 Сад: ни свистка!
 Без ни-ушка
 Мне сад пошли:
 Без *ни-душка!*
 Без ни-души!
 Скажи: довольно муки — на
 Сад — одинокий, как сама.
 (Но около и Сам не стань!)
 — Сад, одинокий, как ты Сам.
 Такой мне сад на старость лет...
 — Тот сад? А может быть — тот свет? —
 На старость лет моих пошли —
 На отпущение души.

М а р и н а . Я смирилась и почти полностью перешла на прозу. Писала очерки, эссе, литературные портреты, воспоминания — это другая энергетика.

И р и н а . Ваша проза издавалась и пользовалась успехом. (*Читаем.*) «Мой Пушкин», «Мать и музыка», «Дом у Старого Пимена», «Повесть о Сонечке», воспоминания о Максимилиане Волошине и другие. А их качество дало основание Дмитрию Быкову написать: «Я грешным делом считаю Цветаеву как поэта хотя и выдающимся явлением, но все-таки мне кажется, что она уступает себе же как прозаику, ее проза выше, чем ее стихи. Мне приятно, что в этом у меня есть такой союзник, как Новелла Матвеева».

М а р и н а . Ох уж этот ваш Быков. Память отличная, много работает, но очень любит оригинальничать, поражать и удивлять. Покрасоваться. Ради этого родного отца не пожалеет.

И р и н а . Я как-то об этом не думала.

М а р и н а . Что там отца. Он разнес «Мастера и Маргариту» вместе с автором. Сказал, что Булгаков написал ее, чтобы угодить Сталину. «Книга для одного человека». И какие-то сцены там пошлые, безвкусные. И аморальна она по своей сути...

Ирина. Но любой человек может...

Марина. Не любой. Читатель может. Вы можете. Но не специалист, литературовед, читающий лекции на всю страну. Он должен знать цену слова.

Ирина. Вы его недолюбливаете. Почему? Ведь Быков вас защищает?

Марина. *(Фыркнула.)* Когда есть такой защитник, никаких врагов не надо. Я по-настоящему не проявила себя, как прозаик. Очерки и эссе они и есть эссе и очерки, пусть даже хорошие. Может, за исключением «Повести о Сонечке», хотя это тоже проза поэта. А если прозаик, который вовсе и не прозаик, все равно лучше, чем поэт... Это похвала, которая хуже оскорбления. Вы знаете, что он еще написал в мою защиту? *(Читает в планшете, еле сдерживается.)*

«Полагаю, себя как Марину Ивановну Цветаеву, вечно попадавшую в оскорбительно-неловкие ситуации, во всем неумеренную, во всем, кроме литературы, неумелую, — она не любила вовсе, стыдилась ее, — слышите, я себя стыдилась! — Вообще, насколько можно судить по ее переписке, ныне почти полностью опубликованной, у нее в самом деле досадно-неловко выходило все, что не касалось литературы. Представления о мире насквозь детские, — слышите, вот такой я примитив! — так с тех пор и не пересмотренные; наивные до того, что жаркая, слезная жалость пронзает читателя, открывающего том этой переписки. О чем бы она ни бралась судить, когда дело касается быта... все выходит прежде всего жалко, с полным непониманием предмета, с оскорбительной бестактностью».

Ну, как вам нравится такой типаж? Этот защитник распространяет худший вариант сплетен о моем идиотизме. Обычные нападки — легкомыслие, сомнение — комплименты по сравнению с его защитой. И даже если бы это было правдой, то говорить о человеке на всю страну с такой *(Подчеркивает.)* «оскорбительной бестактностью» — его слова, Быкова — нельзя, тем более, когда он уже не боится схлопотать пощечину в ответ. *(Подозрительно.)* А почему вы отмалчиваетесь, Ирина? Что вы думаете о прозаике и поэте? *(Кладет планшет на тумбочку.)*

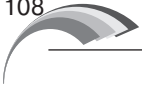
Ирина. Что я думаю... Мне очень нравится ваша проза. Но ее мог бы написать и другой автор, а «Поэму Горы» и «Мне нравится, что вы больны не мной» могла написать только Цветаева. Но я не отмалчиваюсь, я удивляюсь. И пугаюсь. Я помню — вы это я. Точнее мое представление о вас. Но Марина... Я этого не читала, и в моем планшете такого не было. Еще раз спрашиваю — откуда вам известно то, что неизвестно мне?

Марина. *(Смущенно.)* Вы просто забыли, бывает.

Ирина. *(Берет планшет со стола, ищет.)* Нет тут такого в планшете. Я брежу? Я давно подозревала...

Марина. *(Смущенно.)* Стерли случайно. Бывает... Да не волнуйтесь так. Давайте, продолжим.

Ирина. *(Вскакивает, озирается, заглядывает в темные углы. Потом успокаивается, садится на место.)* Спокойно. Не будем сходить с ума. Продолжим. Ваше семейство увеличилось — в Праге родился сын Георгий, которого вы очень любили, а доходов по-прежнему не было. Или почти не было. На литературе на эмигрантском западе не разбогатеешь, а Сергей, ваш муж, практически не работал. Он так и не приобрел специальность, институт не окончил, что-то где-то по мелочам перехватывал. В журналах, в полуобщественных организациях. Так?



М а р и н а . Без комментариев.

И р и н а . Вы не могли не видеть, что он становится неудачником.

М а р и н а . Без комментариев.

И р и н а . Что он опускается.

М а р и н а . Без комментариев.

И р и н а . Но вы долго не могли позволить себе усомниться в том образе рыцаря без страха и упрека, который создали и поддерживали много лет.

Я с вызовом ношу его кольцо!
 — Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —
 Его чрезмерно узкое лицо
 Подобно шпаге.
 Безмолвен рот его, углами вниз,
 Мучительно-великолепны брови.
 В его лице трагически слились
 Две древних крови.
 Он тонок первой тонкостью ветвей.
 Его глаза — прекрасно-бесполезны! —
 Под крыльями раскинутых бровей —
 Две бездны.
 В его лице я рыцарству верна,
 — Всем вам, кто жил и умирал без страха! —
 Такие — в роковые времена —
 Слагают стансы — и идут на плаху.

И все же со временем вы уже не могли не видеть, что роковые времена давно наступили, а белый рыцарь с этим явно не справляется.

М а р и н а . (*Устало.*) Без комментариев.

И р и н а . А можно я попробую дать свои комментарии?

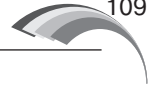
М а р и н а . (*С интересом.*) Рискните.

И р и н а . Вы, Марина, тоже последние годы не очень наслаждались жизнью. Но работали добросовестно, делали все возможное, вы не могли иначе. То, что ваша убогая жизнь во многом зависит от слабохарактерности мужа, конечно же, понимали. Но вы не такой человек, чтобы бросить его в беде. На обочине. Это исключено. Вы смирились с тем, что не каждому суждено стать успешным, особенно когда мир летит ко всем чертям, смирились с бедностью. Что оставалось важным и неизменным? Чтобы человек не утратил чувства собственного достоинства, порядочности, оставался честным.

М а р и н а . И что дальше?

И р и н а . А дальше и без того в не слишком жизнерадостную ситуацию снова вмешался сумасшедший автор и довел ее до трагического абсурда, который нормальному человеку не мог даже прийти в голову. Как можно было предположить, что Белый рыцарь бывший поручик Эфрон, идейный убежденный участник легендарного ледового похода генерала Маркова в составе офицерского полка, станет платным агентом НКВД? Что он будет вербовать таких же наемников и предателей. Что примет участие в одной из ликвидаций бывшего советского шпиона, открыто порвавшего с коммунистами. Ничего более позорного с точки зрения эмигрантов быть не могло, и отторжение в полной мере коснулось и вас.

М а р и н а . (*Вырвалось.*) За что?



Ирина. Говорили, что причиной была ностальгия, недовольство уровнем жизни... Не хочу выяснять, как и почему дошел Эфрон до жизни такой, не хочу тратить на него время нашего с вами интервью. Не хочу задавать уже надоевший вопрос, знали ли вы об этом. Я не французская полиция, которая вас допрашивала.

Марина. Я им сказала: «Его доверие могло быть обманутым, мое доверие к нему непоколебимо».

Ирина. Сказано красиво, вы держались, как могли, но все уже было за гранью того, что может вынести человек и остаться... скажу так — адекватным. Тем более, что опытный вербовщик Сергей «распропагандировал» — так это тогда называлось — и вашу дочь Ариадну. Ей казалось, что ее жизнь в Париже не удалась, и терять нечего. Но она недооценила Советы, которые довольно быстро доказали ее ошибку. Ариадна первая вернулась в Москву и первая была арестована.

Марина. *(Срывается.)* Я не могла ее удержать.

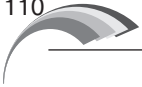
Ирина. Потом Сергей сбежал в Россию. Вы остались с Георгием, которого в семье называли Муром, в Париже.

Марина. Это было ужасно. Меня выталкивали из Франции. Я физически ощущала презрение, мною не заслуженное. Я никогда сознательно не участвовала в том, что противно моей совести.

Ирина. Но вы тогда еще не знали, что может быть кое-что хуже отторжения — тотальный страх, подтвержденный миллионами убитых в стране, чего советская власть даже не скрывала.

Марина. *(Очень спокойно.)* Я знала, что мы едем на смерть.

С фонарем общарьте
Весь подлунный свет!
Той страны на карте —
Нет, в пространстве — нет.
Выпита как с блюда, —
Донышко блестит.
Можно ли вернуться
В дом, который — срыт?
Заново родися —
В новую страну!
Ну-ка, воротися
На спину коню
Сбросившему! Кости
Целы-то — хотя?
Эдакому гостю
Булочник — ломтя
Ломаного, плотник —
Гроба не продаст!
Той ее — *несчетных*
Верст, *небесных* царств,
Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России — нету.
— Как и той меня.



О сталинских тридцатых не знали Горький, Ромен Роллан, Бернард Шоу, которые ездили к нему в гости, но эмигранты знали все. Что было делать? В Париже оставаться невозможно, а в Москве были муж и дочь.

Ирина. Вы приехали туда 18 июня 39-го года. Жили на даче НКВД под Москвой в Болшино. Так был продемонстрирован статус сотрудника этой организации Сергея Эфрона. Через два месяца оттуда увезли в тюрьму Ариадну, еще через примерно такой же срок арестовали Сергея, и через пять месяцев дача была свободна для очередного кандидата. Но все-таки удивительная страна Россия — в этом доме недавно открыли музей Цветаевой. Не дом-музей НКВД, как следовало бы ожидать. Ну да бог с ними.

И тогда вы в полной мере почувствовали, что значит одиночество, страх — за близких, за себя. Письма с просьбами, очереди в тюрьмах. Ни надежды, ни поддержки. Одна. Вот январь сорокового, неоконченное, недоработанное стихотворение. Но в нем такое отчаяние!

Многие мои! О, пьющие
 Душу прямо у корней.
 О, в рассеянии сущие
 Спутники души моей!
 Многие мои! Несметные!
 Мертвые мои (— живи!),
 Дальние мои! Запретные!
 Завтрашние не-мои!
 Смертные мои! Бессмертные
 Вы, по кладбищам! Вы, в кучистом
 Небе — стаей журавлей...
 О, в рассеянии участи
 Сущие — души моей!
 Вы, по гудбищам — по кладбищам —
 По узилищам —

Марина. Зато окружающие от меня испуганно шарахались, или всеми силами старались избегать встреч, А уж знаменитые знакомые, о которых вы упоминали, тем более. Людей, не боявшихся общаться со мной, было немного. Даже Борис Пастернак сначала перепугался, правда, потом взял себя в руки и помогал получать переводы — писать мне ничего не разрешали. Последним был перевод Гарсиа Лорки.

Ирина. Я читала, что Эфрона пытали, хотели, чтобы он и против вас дал показания. Он вроде бы отказался.

Марина. (Твердо.) Я в это верю.

Ирина. И вы писали горячие письма в его защиту. Из чувства долга?

Марина. Мы всегда были очень близкими людьми.

Ирина. Но ведь он вас и детей втянул в эту историю.

Марина. (Долгая пауза, должна создать напряжение.) Это еще неизвестно, кто кого...

Ирина. Как это? Как это?

Марина. Ну хорошо, я скажу. Все равно никто вам не поверит. Я вот что думаю. Сережа был хорошим, но... не очень умным человеком. Немного слабозлым. Он видел, что становится никем, и болезненно это переживал.



Да и я стала время от времени примерно такое ему говорить, иногда довольно откровенно. Этого он вынести не мог. И попытался убедить себя, а главное меня, что причина этому одна — он не дома, он на чужбине. В России все было бы иначе. Чтобы доказать, что он что-то значит, Сергей и поддался на посулы гэбистов. Других реальных возможностей как-то проявить себя не находил. И старался он... дурачок... ради меня, как и все, что делал в жизни. Я, занятая собой, это поздно поняла, уже в Москве, на даче. При каждом уважительном, а иногда подобострастном обращении к нему — гэбист! — он победительно смотрел на меня: а ты говорила... И однажды напрямую сказал что-то в таком духе. А когда взяли Алю, он... *(С трудом берет себя в руки.)* Когда за ним тоже пришли, Сергей даже облегченно вздохнул. Кстати, пришли по-советски, с издевкой: «Ждал-то — орден, а получил — ордер». Выходит, я сама, не зная, не ведая, была не просто соучастницей, но даже подстрекателем.

Ирина. *(Испуганно.)* Нет, я такого придумать не могла! Даже при всем желании. Марина, все-таки ущипните меня за руку! Так значит, Галилей был прав, и она вертится! И ночью бог знает до чего можно договориться. Ведь то, что вы сказали...

Марина. *(Невинно.)* А что я сказала?

Ирина. Только что, о муже.

Марина. *(Еще невиннее.)* Ничего такого я не говорила. Я вообще молчала.

Ирина. Так я и думала! *(Берет себя в руки.)* Спокойно, не будем сходить с ума. Ну хорошо... Марина, а где выжили после Болшино? Честно говоря, я долго была уверена, что вас сослали в Елабугу сразу после ареста Эфрона. И уверяю вас, даже сейчас многие думают, что в Елабуге вы были в ссылке. Потому что никаких следов вашей жизни в Москве после Болшино нет. Я перерыла Интернет — никто не знает, где жили, что делали. Почему?

Марина. Потому что меня и не было. Не было. Фантом. Мало кто знал о моем существовании. После эмиграции даже упоминать обо мне, не говоря о том, чтобы публиковать, было запрещено. Когда возвратилась — тем более, жена и мать врагов народа. Фамилию под переводом боялись поставить. Моя смерть вызвала некоторый шум, но и его старались приглушить. Я ушла в небытие во всех смыслах. И только потом, во время оттепели началось возвращение. По воле читателей, а особенно читательниц. Прорвались мои стихи. Сами по себе. Помните, вы читали:

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Ирина. А пока вы с сыном жили за счет переводов... Голодали? Кто-то упоминал...

Марина. Нет, после Парижа меня уже трудно было удивить. Сороковой год был тучным в советском понимании. И контраст не такой, как во Франции. Все выглядели и жили примерно одинаково. Ни бедных, ни богатых. Серые. Ни на кого не похожие. Удивительно, но меня не выбросили из Союза советских писателей. Членам союза кое-что подбрасывали.

Ирина. Да, я знаю. Кто-то писал, что видел вас в Доме творчества писателей. Что вы были замкнутой, неконтактной.

М а р и н а . Не написал — как вы сказали — неадекватной? И это была бы чистая правда.

И р и н а . Ничего удивительного, существует предел всему. Словом, оказалось, что когда началась война, вас с сыном эвакуировали из Москвы паромом в Елабугу в составе группы писателей. Туда вы добрались 18 августа. Вам сразу же выделили комнату, для эвакуации довольно приличную. Потом вы съездили в город Чистополь, где в основном находились эвакуированные литераторы. Там получили согласие на прописку и оставили заявление: «В совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». Тоже получили согласие. Возвратились в Елабугу.

А 31 августа покончили жизнь самоубийством.

М а р и н а .

Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Надверный...

Единственная моя радость — вы будете смеяться — восточный мусульманский янтарь, который я купила на парижском «толчке». Носила его на теле невидимо...

Пора снимать янтарь...

И р и н а . Вы оставили три записки, одна сыну, в других просили о нем позаботиться. О вашем самоубийстве так много сказано и написано, что... Марина, я не хочу ни обсуждать, ни оправдывать, ни осуждать. Это божья епархия.

М а р и н а . Спасибо.

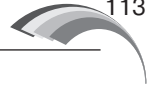
И р и н а . Конечно, ваш принцип, что человек имеет право уйти, если впереди одни мучения и нет никаких надежд, неправильный. Надеяться, говорят, нужно всегда. Но зато... зато вы не узнали, что мужа расстреляли, что сын погиб на войне в первом же бою, что дочь еще будет сидеть долгих пятнадцать лет. Не знаю, может вам и без этого уже хватало страданий на нашей земле... Я говорила — судить не берусь. А до будущего, когда не только Россия, но и весь мир признает Марину Цветаеву классиком и выдающимся русским поэтом, вам вряд ли удалось бы дожить. И наверно, весть об этом признании уже дошла до тех миров, где вы находитесь.

Но вот еще о чем я подумала... Если я хорошо поняла ваш характер... Это было не только отчаяние, бесконечная усталость. Не только искупление. Это была и жертва, вы надеялись, что жертва поможет спасти мужа, сына и дочь. Но страшный молох — советская власть — был ненасытен.

В одном не уверена — это мои мысли, или вы, Марина, мне их внушили. Впрочем, это не важно.

Ирина выходит вперед.

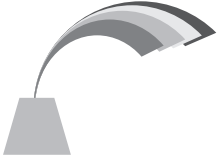
Не хочется тему замечательного любимого поэта завершать на печальной ноте. И кроме того, нельзя в такой вечер не прочитать еще одно стихотворение, каким бы популярным и растиражированным оно не было.



Читает дуэтом с Пугачевой, которая звучит чуть тише —
как бы вторит Ирине.

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, —
За то, что вы больны — увы! — не мной,
За то, что я больна — увы! — не вами!





Андрей КОРОВИН. Стихотворения.



Андрей Коровин — поэт, прозаик. Родился в Тульской области. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Автор восьми поэтических книг. Стихи публикуются в международных поэтических антологиях (в том числе антология ООН), периодических изданиях Германии, Грузии, Польши, России, США, Украины, Финляндии и других стран, переведены на десять языков, в том числе на английский, грузинский, немецкий, польский, украинский... Руководитель литературного салона в Музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва) и других культурных проектов. Лауреат премий ряда литературных журналов.

Андрей КОРОВИН



Андрей КОРОВИН

* * *

а ворон сидит на заборе
и ворону в общем плевать
на небо на звездное море
он трупы умеет клевать

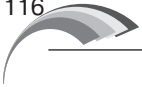
вот он и сидит на заборе
и прячет улыбку в усы
ну что ему темное горе
свидетелей куршской косы

он весь и смятенье и ветер
и черная туча над ним
ведь ворон летает в бессмертье
вот каркнет
и мы полетим

* * *

не пишется не спится не читается
а только бесконечно причитается
побуквенно из жизни вычитается
не хочется не длится не считается

болит как невлюбленная цветаева
как проза постаревшего катаева
как войнами сожженное сараево
как яблоко откушенное раево



не жизнь не дом не дождь не воскресение
не надо так со мной мое спасение

летают истребители над крышами
невидимо недвижимо неслышимо

* * *

кто нам выдал холодное лето
соловьиное соло залил
я по дому брожу не одетым
как впадающий в морок Дали

в доме всюду разбросаны вещи
стопки книг и учебников спят
и в прихожей не светят зловеще
пара лампочек в ватт шестьдесят

* * *

когда внутри взрывается титан
идет создание внутреннего мира
ты как Ван Гог от взрыва мозга пьян
теперь тебе вселенная квартира

густая магма спермы и любви
срывающая крыши у вулканов
свингует у создателя в крови
грассируя на камешках каштанов

и пепел жизни прошлой и большой
взлетает в небо задевая звезды
вот так огонь становится душой
а Бог уходит стар и неопознан



* * *

не жизнь случилась а стихия
летают люди и дома
летают дворники бухие
и жизнь моя летит сама

стена дождя зашла послушать
как я справляюсь с темнотой
я разворачиваю уши
и дождь идет густой-густой

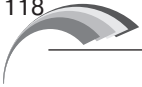
и гром конца и гром начала
стучат в распахнутую дверь
кто там войдите света мало
внесите перечень потерь

* * *

в такую погоду лишь спать да писать романы
заливать кальвадосом душевные раны
когда за окном дельфиновый плещет воздух
когда в нелюбви уже признаваться поздно

в такую погоду халат иван-чай с малиной
а вера в любовь оказалась ужасно длинной
длиннее любви длиннее ее заката
дрожит за окном прерывистое стаккато

в такую погоду проводишь рукой по струнам
и дождь входит в комнату изображая руны
и тени дождя по книгам скользят неслышно
и мыши бегут из книг
до свиданья мыши



* * *

самогон закусывать малиной
в летнем зачарованном саду
разговор о жизни слишком длинный
вы поговорите я пойду

пусть кружатся бабочки ночные
над моей седою головой
прыгают кузнечики ручные
кычет филин из лесу совой

пусть ежи пыхтят под облепихой
терпко пахнет синий базилик
пролетела жизнь моя шутихой
кто ты незнакомый мне старик

* * *

жизнь проходит на красный
на красный сгущается свет
ты потерян опасен
ты можешь уйти в интернет

каждый мчащийся мимо
норд-ост BMW или стриж
говорит что стоишь
что стоишь
что стоишь
что стоишь

надо двигаться дальше
на красный на синий на злой
свет любой
свет любой
свет любой
свет любой
свет любой



* * *

когда закончится дорожная карта лета
и начнется дорожная карта зимы
не забудь отключить межсезонный роуминг света
на границе тепла и законной тьмы

мы погружаемся в красное золотое
в белое голубое в подкладку сна
там где хранится первое молодое
голое слово солнце или луна

там в темноте тепле изнутри повсюду
россыпи слов касаний или огней
кто ты внутри меня беспокойный будда
что тебе снится о пантомиме дней

* * *

это спорная версия птичьего рая
та в которой нет Бога где он не играет
в сотворенье в защиту в спасение мира
видишь женщину
знаешь теперь это лира

хочешь все испытать возвращайся к расстрелу
где курил Гумилев свои горькие стрелы
где клетчатку рычащую оком звериным
разрывает свинец пополам с никотином

у расстрелянных пальцы болят от рифмовки
дайте им полежать пододвиньте циновки
видно слишком суровая это работа
жить взаймы на полях
смерти нет идиоты

* * *

в детстве мне говорили
что друзья предадут
я не верил

в отрочестве мне говорили
что любовь проходит
я не верил

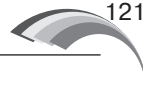
в юности мне говорили
что жизнь коротка
я не верил

а если бы верил
что толку

* * *

и вот вся жизнь персонажа
которую он прожил
умещается в один рассказ
или абзац
или предложение
автор только подумал о нем
и забыл
а персонаж еще корчится
сучит ножками
требует справедливости
он хочет пожить еще на страницах книги

так и жизнь человека
Бог только подумал о нем
и забыл
а человечек кричит подпрыгивает
пытается что-то доказать
Богу
чтобы он услышал
или хотя бы заметил



КТО ГДЕ КУДА

1

завтрак ужин и обед
никого на свете нет
только юркие старушки
им как раз сто лет в обед

в ожидании Годо
спит растерянный Роден
уходила прочь Бардо
ночь оставила взамен

а когда потушен свет
никого на свете нет

Бог проснется включит свет
никого на небе нет

2

человек стоит на голове
у него мозги лежат в траве
у него кузнечики поют
радужные бабочки снуют

человеку надо одного
чтоб никто не требовал его
чтобы спал усатый телефон
чтобы дрых носатый граммофон

проплывают рыбы в вышине
пролетают рыбы в глубине
человек стоит на голове

рядом Бог стоит на голове

* * *

как жить на белом свете
а потом
дышать на белом свете
а потом
бежать на белом свете
а потом
мечтать на белом свете
а потом
любить на белом свете
а потом
прощать на белом свете
а потом
летать на белом свете
а потом

ты в розовом
я в темно-голубом





Юрий КОВАЛЬСКИЙ

НАДО ПОБЕЖДАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Жизнь и должна быть восхищением...

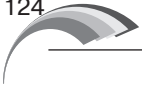
Иван Бунин

После первой же встречи с Юрием Николаевичем Соколовым захотелось написать о нем. И совсем не потому, что в отечественной медицине он, несомненно, значительная фигура — руководитель отдела интервенционной кардиологии Национального научного центра «Институт кардиологии имени Н.Д. Стражеско», член-корреспондент НАМН Украины, почетный член Европейского общества кардиологов, доктор медицинских наук, профессор. Впервые в Украине он осуществил коронарный тромболитизис у пациента с острым инфарктом миокарда (1991), коронарную ангиопластику у такого же пациента (1993), установил стент сразу после инфаркта (1997)... Наоборот, все это даже отпугивало. Вдруг увязну в сложных медицинских терминах, и кому в итоге это будет интересно? «Но ведь собираюсь писать прежде всего о человеке, личности», — несколько высокопарно, но успокоил себя.

Хороший человек — это не профессия. Фраза популярная, ее любят повторять. Только есть в этом утверждении несомненная ущербность. Хороший человек не будет держаться обеими руками за профессию, которой не соответствует. Он бросит ее, попытается искать другую, и верится, обязательно найдет. Ведь думает не только о своем благополучии, но и о тех, кто его окружает, кому будет нужен. И дай Бог, чтобы в любой профессии хороших людей было больше.

Юрий Николаевич Соколов — человек обстоятельный и энергичный. Увлекающийся и критичный. Решительный и мягкий. Откровенный и знающий, когда надо смолчать. Вот такая кажущаяся противоречивость характера не мешает. Напротив, это несомненно помогает в разных жизненных ситуациях. И ему, и окружающим.

И еще о человеческом факторе в профессионализме.



— Знаете, какая одна из главных, а может, и самая главная черта, которой должен сегодня обладать кардиолог?

Соколов явно убежден, что я отвечу неправильно (так оно и есть, откуда мне знать?!), и сразу же сам объявляет:

— Честность!

Мне кажется, он сейчас хоть слегка усмехнется (ведь действительно, нечто комическое в этой ситуации, в этом утверждении о профессионализме есть), но он все так же серьезно продолжает:

— Сейчас в кардиологии очень легко обмануть пациента: назначить и проводить более дорогостоящее, чем необходимо, лечение или поставить, например, стенты самого низкого качества, при этом объявив, что они лучшие и стоят баснословных денег. А кто проверит? Кто правду узнает?! Разве что я, исследуя потом этого больного, или другой опытный интервенционный кардиолог. И вообще, самый страшный бич нашей медицины — это коррупция. Она буквально зашкаливает. Думают не о том, как помочь больным, как одолеть тот или иной недуг, а как поплотнее набить свои карманы.

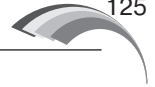
Конечно, он не обо всех. Во время нашего разговора звучат имена достойных врачей. Но, как говорится, ложка дегтя...

Сколько с момента обретения Независимости было в Украине министров здравоохранения? По подсчетам Соколова — девятнадцать. И к каждому из них он приходил, говорил, как важно развитие в нашей стране интервенционной кардиологии. Жизненно важно. Это даст ощутимые результаты в плане снижения смертности от сердечнососудистых заболеваний, в частности, от инфаркта миокарда. Эту медицинскую технологию по праву называют жизнеспасающей. Первый этап — коронарография, то есть рентгеноконтрастный метод исследования, который позволяет с максимальной точностью диагностировать ишемическую болезнь: определить характер, место и степень сужения коронарной артерии. Затем следующий этап — стентирование, которое позволяет быстро «открыть» эту артерию, диаметр которой всего три миллиметра, и восстановить кровоток в затромбированном сосуде. Делается это с помощью стента (тонкой трубочки, состоящей из проволочных ажурных ячеек), который вводится в пораженный сосуд и при расширении вжимается в его стенки, увеличивая просвет.

Его слушали, кивали, обещали. А воз если и сдвигался с места, то совсем ненадолго и преодолевал ничтожное расстояние.

— Когда беседуешь с нашими высокими руководителями, начинаешь верить, что они все знают — и о недостатках, и о том, как их надо исправлять и как впредь делать все исключительно правильно. Но слова у них почему-то постоянно расходятся с делом.

И вот когда в очередной раз терпение лопнуло, а тут еще подвернулся журналист, попросивший об интервью, Соколов повторил ему все то, что откровенно и нелицеприятно говорил в больших кабинетах. Материал был напечатан. А потом Юрия Николаевича позвал к себе один уважаемый и заслуженный медик: «Что же вы наделали?! Теперь на вас пятно, которое с себя никогда не смоете. Вас занесут в «черные» списки. Месть чиновников — это...» И в ответ услышал: «То, что я сказал, это моя точка зрения. И я не собираюсь отказываться от нее».



Что было дальше? Чиновники, как известно, тоже не вечны. И списки, которые они составляют, — далеко не египетские папирусы. Буквально через несколько дней после этого разговора в Киеве разгорелся второй Майдан.

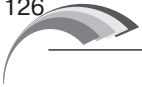
Соколов, человек, повторяю, увлекающийся, не сразу выбрал профессию врача. Одно время хотел заняться географией. Манил огромный мир своеобразием, уникальностью в разных регионах, уголках... А потом, после окончания школы, решил стать военным летчиком. Поехал из далекого Иркутска, где тогда жил с родителями, в Харьковское летное училище. Выбрал именно его, потому что узнал — оно одно из лучших. Причем не сомневался, что обязательно поступит. Действительно, экзамены сдал достойно. Оставалась только такая мелочь, как медицинская комиссия. Ему-то ее не пройти?! Столько времени посвящал физкультуре и спорту. Теперь настоящий атлет. И вдруг!.. И не болезнь это даже была. Просто тогда считалось, что если во время нагрузки резко поднимается артериальное давление, а потом в покое быстро нормализуется — это недопустимо для летчиков. Нынешние врачи только усмехнутся или удивленно разведут руками. Но в итоге пришлось распрощаться с мечтой о небе.

— И хорошо, что так случилось, это заблуждение врачей. Медицина — действительно мое.

Жизнь, встав на правильные рельсы, покатила достаточно гладко. Успешно закончил мединститут в Иркутске, остался здесь работать. В городской клинике начал осваивать ангиографию (метод исследования, при котором в сосуды человека вводят специальное контрастное вещество и с помощью рентгеновских лучей видят состояние артерий). Защитил кандидатскую диссертацию — по коронарографии. Тогда ведь все чаще стала приходиться следующая мысль: «Если можно исследовать сосуды сердца с помощью вещества-контраста, то наверняка реально и ввести нечто для корректирующего вмешательства».

Приехавший в Иркутск в командировку известный хирург Александр Шалимов, оценив профессиональную подготовку Соколова, а еще, вероятно, и талант, предложил переехать к нему в Киев, в Институт клинической и экспериментальной хирургии, который недавно создал. (Сейчас Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова.) В первый раз Юрий Николаевич не согласился. Но Шалимов продолжал убеждать, рисовал перспективы. Теперь уже телефонные звонки из Киева. Один, второй... Посоветовался с женой и поехал пока, так сказать, на разведку... И вроде бы с точки зрения профессиональных возможностей все было в ярких красках. Но атмосфера вокруг... В коллективе, где попробовал работать, почему-то сложилось мнение: раз пригласил сам Шалимов, да еще из такого далека, не иначе как хочет в самое ближайшее время сосватать ему высокую должность, а на нее столько претендентов!.. Поэтому понятно, как смотрели на новичка. Как на нежелательного конкурента! Не выдержал и уехал. Обрато, домой.

— Не понимаю, почему они решили, что я претендую на какую-то серьезную руководящую должность. Никогда не стремился и не был большим начальником. Я всегда был врачом. Врачом, который любит свою работу, которому интересны люди, которых он лечит. Ведь нередко бывает как? Сделал врач операцию очередному пациенту, тот выписался из больницы, и всё. А что дальше? Может, он умер вскоре?.. Мне же интересна история каждого моего больного. Каждый



ведь человек уникален. Нет двух людей, у которых, например, похожие сосуды. У каждого свои особенности...

Я слушаю Соколова и вспоминаю, как во время нашей первой встречи передавал ему привет от известного журналиста, которому он лет семь назад делал операцию. Назвал имя, фамилию. Он оживился:

— Да, конечно, очень хорошо помню. У него своеобразные анатомические особенности сердца...

Дальше пошли медицинские термины, которые не буду пытаться повторить.

— ...Передавайте ему тоже привет. Если вдруг возникнут какие проблемы, пусть не откладывает, сразу приходит.

Об особенностях сердца своего пациента Соколов отлично помнил. А о том, какой это известный журналист-редактор, по-моему, впервые услышал только от меня. Впрочем, тоже с интересом.

— Да, конечно, читал эту газету, которую, вы говорите, он возглавлял. Хорошая была газета...

Главное у больного — не профессия. Это тоже характеризует врача.

Однако продолжу о переезде в Киев. Шалимов опять разыскал его. Сказал так:

— Я звоню вам последний раз. Исполню все, что пообещал, даже больше... Вы видите, это очень хороший вариант. Может, для вас даже самый лучший. Решайтесь. Повторяю, больше звонить не буду.

И Соколов понял главное: это реальная возможность профессионального роста, возможность заниматься именно тем, что ему действительно интересно и что крайне важно в борьбе за здоровье и жизнь пациентов.

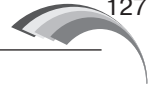
— Сделали у Шалимова хорошую ангиографическую лабораторию, начали практиковать современные способы и средства эндоваскулярных вмешательств. Конечно, стентов тогда еще не было. Для расширения сосудов в конце 70-х годов использовали баллон-катетер — специальную трубочку, на одном конце которой закреплен баллончик, надувающийся, когда это необходимо.

В институте Шалимова Юрий Николаевич проработал с 1977-го по 1991 год, защитил там докторскую диссертацию. Потом перешел в институт Стражеско и работает здесь по сегодняшний день.

Конкуренция с внушительным довеском придинок, зависти, оскорблений — явление общеизвестное. В том числе и в медицине. Не секрет, что два знаменитых хирурга Николай Амосов и Александр Шалимов недолюбливали друг друга. Это если говорить очень мягко. И нередко откровенную неприязнь переносили на сотрудников. При желании Соколов мог бы в некоторых случаях выступать сейчас судьей, но не хочет. Он высоко оценивает вклад в отечественную медицину обоих. Подчеркивает самое достойное в работе каждого. При этом издалека видится и другое:

— Они оба были деспотами. Но как же в то время иначе?! Тогда что-то значительное без деспотизма нельзя было сделать, построить. И они построили. И это восхищало.

Соколов вспоминает, а я невольно думаю о нынешнем времени, где накопилось столько бездействия, безразличия, неразберихи. Неужели и сейчас помогут только деспотизм, диктаторские методы? Или все-таки можно сообща



изменить обстоятельства? Ведь неустанно провозглашаем себя демократической страной, где все зависит от всех, от каждого.

Кстати, такой примечательный факт об Амосове и Соколове. Проходила некая официальная встреча кардиологов Украины. Соколов рассказывал и с помощью видеоматериалов демонстрировал, как провел одну операцию, используя при этом новую методику. Амосов неожиданно поднялся и... стал аплодировать.

Не буду утверждать, какое самое любимое слово Юрия Николаевича. Но во время наших бесед он столько раз повторял слово «интересно», его производные и синонимы — «любопытно», «занимательно»!.. А на вопрос о его увлечениях, сказал так:

— Мне нравится все. Мне все интересно.

Вероятно, корни этого из далекого детства, когда занимался, например, не одним, а сразу многими видами спорта.

— И все у меня получалось, — усмехнулся и добавил: — Во всяком случае мне так казалось.

Эти фраза и усмешка, они тоже определенный штрих к характеру Соколова. Он несомненно знает себе цену, но при этом достаточно самокритичен. И примеров этому, пожалуй, приведу еще немало.

Но снова о детстве, одна из особенностей которого связана с тем, что отец был военным. Семье приходилось переезжать с места на место. Так вот за десять школьных лет Юрий проучился в одиннадцати школах! Можно посочувствовать, но с другой стороны — столько новых открытий, впечатлений.

А еще мама — учительница русского языка и литературы. Не иначе как и отсюда любовь к книгам, искусству, умение ощутить красоту в самом казалось бы обыденном.

— Я нередко вижу нечто такое примечательное, хотя другие почему-то этого не замечают, проходят мимо, — говорит Юрий Николаевич. — Вот посмотрите, что на прошлой неделе, когда возвращался с работы, сфотографировал. Красота какая!

На экране его мобильного телефона высоченная изумрудная ель с вплетенной в нее лозой винограда, и листья, как и положено в октябре, огненно-красные.

Фото малюсенькое; ясно, что «живьем» это было куда эффектнее. Соколов будто догадывается, о чем я подумал, и говорит:

— Во дворе нашей больницы эта ель, но сейчас всю эту красоту уже не увидишь. Почти все листья осыпались. — Помолчав, добавляет: — Я хочу нарисовать, как было. И ель, и виноград...

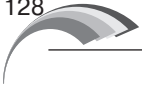
Это его большое увлечение последних лет — рисование. Или нет, не рисование (хотя сам именно так говорит, явно скромничая); правильнее сказать — живопись. Он ведь пишет акварельными и масляными красками.

В рабочем кабинете на стене висят не очень броско три его картины. Четвертая просто сверху на каком-то шкафу. Вероятно, скоро ее постигнет участь многих других его картин — он ее подарит. Мне вдруг становится жаль, что не смогу увидеть их, эти подаренные.

— А фото себе на память хоть оставляете?

Соколов разводит руками. Мол, зачем?

Но к процессу дарения он подходит достаточно избирательно и серьезно.



— Я чувствую, кому какая картина может подойти — по характеру, по состоянию души...

А главное, что Юрий Николаевич старается себе привезти, бывая за границей, это — краски и кисти.

— Я люблю, когда много кистей. Самых разных! А краски, какую ни возьми — синюю, красную, даже черную, — сколько тут разновидностей, оттенков!..

И глаза у профессора горят, как у мальчишки.

Да, ему нравится рисовать, или все-таки будем говорить — писать. Но сам никогда не рисуется. Его кабинет, по его же словам, больше похож на склад, где столько всего... Впрочем, все нужное всегда под рукой. Или правильнее — перед глазами. Это я о мониторах; один на письменном столе, второй, значительно больший — на стене. Постоянная связь с операционными, где установлены камеры. (А еще за происходящим в операционных он может наблюдать и со своего мобильного телефона. Что и делает обязательно, если сам не на работе.)

Другой бы развесил на стенах награды, дипломы, сертификаты, подтверждающие высокий статус их обладателя. Добавил бы к этому еще фотографии, где позирует с известными и влиятельными людьми, которых оперировал или консультировал. У Соколова ничего этого нет. Ему показуха не свойственна.

Кстати, о наградах.

— У нас сейчас коммунизм наоборот, — говорит он и поясняет: — Раньше членство в партии, активная общественная деятельность способствовали благополучию некоторых персон, а теперь — всевозможные звания, награды. У нас столько охотников на них. Об этом только и думают. Все свое время на это тратят. И вот он уже и академик, и орденносец, и лауреат, а ведь знаний, умения почти никаких и нет. Но поучает всех, принимает решения... Многие наши беды от таких специалистов и руководителей.

Я жду, когда Юрий Николаевич вернется из операционной. Жду в его кабинете. Гляжу на монитор на стене. (Интересно, он когда-нибудь выключается?) Слабо понимаю, что там, в операционной, происходит. Разве что по времени, сколько продолжается операция, догадываюсь, что она из разряда сложных. (Кстати, пишу «операция», хотя понимаю, правильнее надо иначе. Ведь при стентировании врачи не открывают грудную клетку, тем более не останавливают сердце и не подключают аппарат искусственного жизнеобеспечения. То есть это не совсем хирургическое вмешательство, интервенционные кардиологи практикуют манипуляции, так сказать, на расстоянии, ограничиваясь лишь проколом кровеносного сосуда и введением стента внутрь сосудистого русла.)

Но вот Юрий Николаевич наконец возвращается, победно вскидывает руку. (Помните, в молодости атлет! Да и сейчас на него приятно смотреть.)

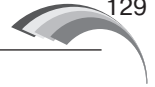
— Все хорошо! — радостно объявляет.

И уже садясь на стул:

— Я опасался, что будет хуже. Очень волновался за этого мужчину. Ему только сорок восемь лет, и вот такое с ним уже приключилось. А я его вчера еще и обидел.

-?!

— Сказал, что не буду его оперировать.



— Почему?

— Нет, он сам ни при чем. Но знаете, когда много влиятельных знакомых, которые хотят помочь... Хотят якобы, чтобы было лучше. Без конца мне звонили, приходили. И все с одними и теми же вопросами: «А может, операция не нужна? Может, вы преувеличиваете риски?» И я пошел к нему, к этому больному, в палату и сказал: «Как я могу оперировать, если в моих словах, в моих знаниях, а значит, и во мне самом сомневаются?! Не могу и не буду!» Бедный больной, он совсем растерялся... И я подумал: «Что же я в самом деле так разошелся? У него серьезные проблемы, а тут еще я со своими претензиями и капризами». И вот простентировал его. Все теперь со временем должно наладиться.

Соколов умеет постоять за себя, или правильнее сказать — за то, что важно для него, как врача, важно для дела. В качестве примера захотелось пересказать одну уже давнюю (90-е годы) историю. Весьма занимательную.

Ему позвонили с таможни (возможно, кто-то из бывших пациентов) и сказали: «У нас тут завис ящик с какими-то катетерами. Никто не забирает. Это случайно не вашему институту привезли?» Он точно знал, никто ничего не собирался им привозить. Но знал и другое — как они нужны, эти катетеры, их институту, как нужны для лечения больных. И он поехал забирать этот дефицит. Без документов. (Все-таки иногда хочется даже поаплодировать нашей неразберихе.) На месте выяснил — привезли какие-то американцы. Разыскал находившегося в Киеве их представителя, познакомился с ним и, похоже, произвел самое хорошее впечатление. Американец как подтверждающие документы отдал все, что у него было, — свою визитку. То ли у них в Америке тоже случается неразбериха, то ли все так пристойно, что и документы в самом деле не особенно нужны. Привез Юрий Николаевич катетеры в институт. Наглядеться не может. Большой ящик — целых триста штук. А тут из другой клиники звонят: «Это нам привезли! Отдайте!» — «Почему же сами с таможни не забрали? Может, у вас и документов для этого нет?!» — «Нет... А у вас разве есть?» — «Конечно, есть!» — и посмотрел на визитку.

Спорили, ругались долго, но он (с визиткой!) был неприступен как стена. «Я понимаю, вам тоже надо. Такой дефицит! Так и быть, поделюсь. Но на много не рассчитывайте».

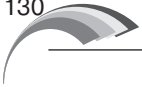
Пришлось конкурентам согласиться. Представляю, что при этом думали и как характеризовали Юрия Николаевича. А может, и завидовали, что не у них работает.

Его жена, Валентина Алексеевна, тоже много лет проработала врачом. Акушер-гинеколог.

— Я всегда поражался, какая она труженица. В ее кабинет в течение дня, бывало, приходило до тридцати пациентов. И на каждого хватало времени и сил. Я бы никогда так не смог.

И теща, Наталья Ивановна Ремезова, была врачом.

— Ее не стало в прошлом году. Прожила 95 лет. Необыкновенно замечательная женщина! Очень обаятельная, всегда тебя понимающая, умеющая выслушать, подсказать. От нее будто исходил какой-то свет.



Дети тоже стали врачами. О сыне Юрий Николаевич рассказывает так:

— Существует мнение, что на детях природа отдыхает. Но в данном случае, отдыхала, вероятно, на мне.

Да, Соколов-старший гордится сыном. Максим Юрьевич старший научный сотрудник здесь же, в отделе интервенционной кардиологии института им. Н.Д. Стражеско, доктор медицинских наук, эксперт Минздрава (на общественных началах). Вместе отец и сын написали несколько книг по своей специальности.

— А начинал Максим у нас санитаром, потом был медбратом... Так и надо — проходить поочередно все ступеньки.

Гордится отец и дочерью. Наталья работает в том же институте Стражеско, только в другом отделении. Кандидат медицинских наук.

Традицию продолжили и внучка Анастасия (она эндокринолог), и внук Максим (пока еще студент медуниверситета).

— Я очень рад, что у нас сложилась такая династия. Это правильно, что и дети, и внуки решили стать врачами. Я вижу, им всем присуща очень важная черта, без которой не может состояться настоящий врач — умение сопереживать.

«Умение сопереживать!» Как часто этого не хватает в нашей жизни. И я не могу удержаться от следующих слов:

— Вероятно, вы их так воспитали, научили...

Он пожимает плечами:

— Что воспитание?! Дети всегда смотрят на тех, кто их окружает, и переживают то, что те делают...

Я не спорю... На своего отца они ведь тоже смотрели и смотрят. Хотя, возможно, он считает, что заниматься воспитанием ему времени постоянно не хватало.

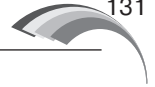
— А у вас много учеников?

Юрий Николаевич опять неопределенно пожимает плечами:

— Учитель, наставник в данном случае, то есть на рабочем месте, — это терминология из нашего советского прошлого. Важно обладать некими знаниями, умением, опытом, а кто захочет, тот сам на твоём примере обучится.

Я не совсем готов согласиться. Но слова его диктует не скромность, а осознание роли и ответственности каждой профессии, в частности — преподавателя, учителя. А он ведь по профессии не учитель и не уделяет, по его мнению, должного внимания тем, кто учится на его примере. Ладно, он не учитель. Но он — пример. Достойный пример.

Кстати, сам Соколов чтит врача и ученого, «создателя нашей профессии», — как он сам говорит, то есть можно сказать — и своего учителя. С этим связана такая история. Юрий Николаевич был в Цюрихе на симпозиуме по интервенционной кардиологии, по завершении которого организаторы заинтересовались, кто что хочет увезти с собой в подарок. Многие предпочли баллоны-катетеры. А Юрий Николаевич сказал, что хотел бы бюст Андреаса Грюнцига — немецкого ученого, который работая в Швейцарии, изобрел эти самые баллоны-катетеры, впервые позволившие расширять сосуды. Его бюст Соколов увидел на симпозиуме, хотя, конечно, понимал, такой подарок вряд ли возможен. Слишком дорог для самих организаторов. К тому же бюст получил высокий приз на одной из престижных арт-выставок. Короче, уехал он ни с чем. Но спустя несколько месяцев те же швейцарцы пригласили Соколова на конференцию в Москву и там подарили этот бюст.



— Как я боялся перевозить его через границу! — смеется Юрий Николаевич. — Во-первых, произведение искусства, во-вторых — увесистый кусок бронзы, которую как раз тогда, наряду с другими цветными металлами, запретили вывозить из России. Придумал спрятать бюст в наволочку. Подложил в вагоне себе под голову, будто это подушка. Именно так встречал таможенников на Хуторе-Михайловском... Уже дома рассмотрел на бюсте надпись: «Для доктора Соколова». Да, они сделали копию. Причем не одну. Но моя была первой. Теперь это приз, который вручают лучшим интервенционным кардиологам Европы.

Бюст Андреаса Грюнцига в рабочем кабинете Соколова. На видном, почетном месте.

И еще такие факты. По инициативе Юрия Николаевича и при его участии уже многие годы в Национальной медицинской академии последипломного образования им. Л.П. Шупика и на базе отдела, который он возглавляет в институте им. Н.Д. Стражеско, украинские и зарубежные врачи проходят специализацию и курсы усовершенствования в области интервенционной кардиологии. А еще в 2011 году он создал и возглавил Ассоциацию интервенционных кардиологов Украины. И конечно, не забыть сказать: Соколов автор и соавтор учебников, пособий и монографий, где собраны исчерпывающие данные в этой области.

— Почему у нас так мало читают? — удивляется Юрий Николаевич, даже огорчается. — В том числе, художественную литературу.

Я не случайно к этому очерку о Соколове взял эпиграфом слова Ивана Бунина. Это его любимый писатель. А еще в разговоре со мной он ссылается то на Салтыкова-Щедрина, то на Чернышевского, Набокова...

— Лично для меня художественное слово очень много значит. Это удивительный инструмент, который во многом формирует личность. Вот и в песнях для меня важен текст, его смысл, содержание. Поэтому с таким удовольствием слушаю, например, песни Святослава Вакарчука.

Кстати, сам лидер группы «Океан Эльзы» не раз обращался к Соколову — проконсультировать атошников, сделать кому-то из них стентирование.

Находясь в командировке во Франции, Юрий Николаевич в свободное время поехал на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, разыскал могилу Бунина. Поразился, как неприбрано там. Решил хоть немного навести порядок. Когда закончил, присел у могилы передохнуть.

— И тут, — рассказывает Соколов, — знаете, кого я увидел? Прямо на могиле сидит белый кот. Такой красавец, глаза голубые... Откуда он мог взяться? Я бы заметил, если бы он подошел, через ограду перебрался. Подумалось даже: «Не душа ли самого Бунина решила поприветствовать меня таким образом?» А потом я куда-то на мгновение в сторону обернулся, а кота уже и нет. Исчез, будто действительно душа...

Юрий Николаевич чуть виновато улыбнулся, вот, мол, придумал же такое! Но несомненно это воспоминание ему приятно, даже дорого.

— Вообще, надо чаще ходить на кладбища, — говорит Соколов. — Там мне всякие правильные мысли приходят. Ведь так тихо, спокойно...



Вот только сейчас я не верю его словам. Не верю, что ему так уж там спокойно. Потому что помню и другое, сказанное им:

— На кладбищах меня поражает возраст многих недавно погребенных — сорок-пятьдесят лет. Могли бы еще жить и жить.

Скорее кладбище для него место, где он со всей очевидностью снова и снова убеждается в правильности своего выбора: лечить. В этом он видит не только профессиональный, но гражданский свой долг.

— Главное не то, что ты имеешь, достиг. Главное, что сделал для других... Ведь так?!

В одном из углов его кабинета много икон.

— Вы их коллекционируете?

— Нет. Я вообще ничего не коллекционирую. Мне иконы время от времени приносят, дарят. Одну некий интересный товарищ даже с Афона привез. Но забыл о наклейке с ценой. Потом так спешил оторвать, что кусочек той бумажки остался. Белеет вон там внизу. Я не трогаю, пусть, как было, так и будет.

Он усмехается, и мне понятно, не иконы ему дороги (тем более, которые никогда не коллекционировал), а дороги опять же воспоминания — такая себе коллекция характеров и поведения людей, в том числе, которые принесли эти иконы.

А еще мне захотелось поспорить, что он ничего не коллекционирует (шутя, разумеется, поспорить), когда заметил здесь же, в кабинете на ручке какого-то шкафа (холодильника?) внушительную связку беджей с различных симпозиумов, конференций, семинаров и т.д.

— Часто ездите?

— Да. Много интересного, полезного можно узнать и перенять. И в Европе, и в Америке.

— И посмотреть достопримечательности? — вспоминаю о его увлечении географией.

— Обязательно! Как только появляется свободное время...

По-моему, он готов поделиться какими-то яркими впечатлениями от увиденного, но я почему-то обрываю его и задаю вопрос, который меняет тональность разговора:

— А в командировки вас посылает ваш институт, то есть он оплачивает расходы?

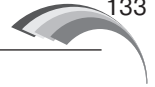
— Нет. Мы всегда ездим по приглашению. Все за счет приглашающей стороны. И он грустнеет. Комкает разговор. Явно что-то недоговаривает.

— Тут есть проблемы... Возникает всякое...

Я почему-то уверен, что ему не особо нравится, что «за счет приглашающей стороны». Это ущемляет достоинство, и даже не его — а страны, которую он представляет. Которую любит. Которой хочет гордиться. Вспоминается услышанное от него чуть раньше:

— У нас такая страна! Святое место!..

Второй раз Соколов обошелся без некоторых подробностей, когда заговорили о его встрече с выдающимся писателем Павлом Загребельным. Он вообще с большим пиететом относится к деятелям культуры, в частности — к писателям.



Охотно начал рассказывать, какое впечатление произвел на него Павел Архипович. Об обстановке в его квартире, где было все так весомо и обстоятельно. И как к этому относился сам Загребельный — с явной иронией.

«Что вы! Не снимайте ботинки!»

«Но ведь такой ковер!»

«Да, китайский, и мне сказали, что он должен прослужить в любых условиях более тысячи лет. Так что надо проверять, ботинками в том числе...»

— А почему вы встречались с Загребельным?

— У меня возникла одна проблема, сказали, он может помочь.

— Какая проблема?

Соколов будто не услышал вопрос. Начал говорить о чем-то другом.

— И что, Загребельный помог?

— Не совсем. Сказал, что мог бы обратиться к одному писателю — народному депутату. Но тот такой... (далее было не очень приличное слово), что все равно бесполезно обращаться. Однако Загребельный кое-что подсказал, что можно сделать.

— А что у вас была за проблема?

Соколов опять не услышал моего вопроса. Уверен, потому, что не любит жаловаться, долго горевать о своих личных проблемах. Их надо решать. А если что-то не удалось, необходимо все равно идти вперед, не сокрушаясь, не оглядываясь на неудачи.

— Вы верующий человек? — спрашиваю его.

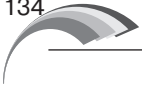
— Сочувствующий. И люблю ходить в церковь. Это особенное место. Намолненное. Там такая аура! Чаще всего бываю у нас в Киеве в Ильинской церкви. А еще вот Почаевский монастырь. С ним в истории Украины столько связано!.. И духовные книги с большим интересом читаю. И Библию, и другие...

Он проникновенно говорит о заповедях. Чувствуется, это для него не пустые слова.

Докторскую диссертацию Соколов защитил в 37 лет. Впечатляет.

— А кто вы все-таки в первую очередь — ученый или врач?

— Конечно, врач. Это мне ближе. Это мое. Мне нравится и лечить, и общаться с больными. Для больных это тоже, кстати, очень важно — такое общение. Врачу всегда нужно найти хотя бы пять лишних минут, чтобы поразговаривать с пациентом, выслушать все, что тот хочет ему рассказать. Если после общения с врачом больному не стало лучше — это, как известно, плохой врач. Или даже совсем не врач. А ученым в нашей стране сейчас очень сложно быть. Сложно что-то новое открывать, изобретать. Может, это даже у нас в медицине пока и невозможно. Ведь что спрашивают не только отечественные инвесторы, но и наши государственные мужи: «Сколько времени надо, чтобы вложения в ваши исследования принесли практические результаты?.. Целых десять лет?! Нет, это нам не годится...» А в США, например, когда решили заняться проблемой пересадки донорского сердца, открыли сразу десять соответствующих центров и серьезно профинансировали научные исследования каждого из них. Развитие же медицинской науки в нашей стране я пока вижу только следующим образом: надо активно ездить на конференции, симпозиумы в другие страны,



узнавать там об открытиях, новых методиках, изучать их, проверять и внедрять самое лучшее. На самостоятельные исследования, увы, пока средств не хватает.

Соколов мог бы жить и работать за рубежом. Такие, как он, везде на вес золота. Но он никогда не хотел уезжать из своей страны. Он верит в Украину, в ее будущее. Он патриот Украины. И разве минусом тут может являться то, что большую часть детства и молодости провел вне ее пределов? А еще то, что предпочитает общаться на русском языке, которым владеет лучше? Точно так же основополагающим плюсом не обязательно считать самый первый факт биографии — родился Соколов в Украине (очередное место службы отца-военного), в Пятихатках (Днепропетровская область). Все же патриотизм измеряется посредством иных координат, где главное — поведение, поступки. Хотя уместно тут и лирическое отступление, вперемешку с определенной научной гипотезой: место, где появился на свет, программирует твою жизнь, и лучше всего ты чувствуешь себя именно здесь. А значит — и реализуешь свои потенциал, способности.

Конечно, многое в родной стране его неприятно удивляет, раздражает, а то и злит. Например, почему стоит только включить телевизор, и на тебя выливают ушат грязи. А все-таки, может, лучше поискать хорошее, поддержать его? И вообще, может, самое правильное в каждом человеке искать это хорошее? И в ответ, как благодарность, оно обязательно даст новые ростки.

— Хотя не обходится без разочарований, — признается Соколов. — Иногда кажется — такой замечательный человек! Ты к нему всей душой. А потом выясняется...

Однако из разговоров с ним больше примеров иных. Раньше Юрий Николаевич кого-то критиковал, а вот теперь слышу об этом человеке добрые слова. Или все-таки время начинает меняться, и мы все понемногу становимся лучше? Иначе не побороть трудности, иначе нам просто не выжить.

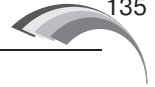
То, что становится лучше, — он в это твердо верит. В том числе это видно и на примере работы его коллектива.

— Мы многого добились. И за последние два года вышли на новый уровень, которым можем гордиться. И очень важно, что это распространяем по всей Украине. — (Напомню, Юрий Николаевич возглавляет Ассоциацию интервенционных кардиологов Украины). — В стране активно развивается сеть реперфузионных* центров, где по разработанной нами программе — так называемому протоколу, бесплатно проводится коронарное стентирование у больных с инфарктом миокарда. Работают эти центры по схеме 24/7, то есть круглосуточно и без выходных. И сотрудники «скорой помощи» теперь имеют право везти пациентов с признаками инфаркта не к ближайшему лечебному учреждению, а в реперфузионный центр, где они гарантированно получают необходимое экстренное лечение. Да, у нас теперь значительное число специалистов может профессионально делать стентирование.

— Сколько специалистов? — уточняю я.

— Более двухсот, — он задумывается, будто пересчитывает: — Двести пятьдесят. А чтобы оценивать эффективность развития у нас в стране интервенционной кардиологии, мы создали специальный реестр, в который вместе с коллегами в регионах вносим данные о каждом пациенте, которому было проведено

* Реперфузия — восстановление кровотока.



внутрикоронарное вмешательство. Сегодня в этом реестре сохраняются данные о 120-ти тысячах человек. Отрадно и то, что пусть и с боем, но отступает коррупция. В результате, например, в этом году за те же деньги, что выделялись кардиологам и раньше, куплено стентов в три раза больше! Кстати, на страницах авторитетной американской газеты New York Times даже появилась статья «Сердечные стенты как пример борьбы с коррупцией в Украине».

Все, что говорит Юрий Николаевич, нашло свое отражение (только в еще более оптимистических выражениях) в информации «Урядового порталу», размещенной в сентябре и октябре нынешнего года.

— Но, конечно, успокаиваться рано, — продолжает Соколов. — Надо побеждать каждый день. Важно все удержать, ни в коем случае не снижать планку. У нас сейчас в Украине достаточно хорошей кардиоаппаратуры. В частности, 26 аппаратов для проведения стентирования — ангиографов. Но вот вопрос: что сделать, чтобы все постоянно надлежащим образом функционировало. Какой был кошмар, когда во время стентирования у нас вдруг отключилось одно устройство! Значит, и в этом направлении надо работать, готовить специалистов-наладчиков, зачислять в штат, изыскивая резервы, добиваясь большего финансирования.

Но мне кажется, что во время этого нашего разговора Юрий Николаевич все-таки не хочет заглядывать далеко в завтрашний день. (Устал, может быть, после сегодняшнего сложного стентирования?) Хотя в свое время, например, он ходил к президенту Национальной академии наук Борису Патону и доказывал ему, что в Украине надо строить завод по производству отечественных стентов. Патон согласился поддержать, в свою очередь куда-то ходил, но в следующую их встречу объяснил, что средств на это (понятно, огромных) и в помине у нашего государства нет. Еще Юрий Николаевич ведь знает, что в мире ежегодно делается один миллион стентирований, и не только для лечения, но и как метод профилактики осложнений коронарной болезни. А нам в Украине что? Только завидовать?

А может, все правильно, что Соколов далеко не заглядывает? Надо закрепиться на занятых позициях. А потом (я почему-то начинаю мечтать) — стремительная атака. Все-таки Юрий Николаевич даже просто своим присутствием заряжает оптимизмом.

В следующем году у Юрия Николаевича Соколова значительный юбилей. Но уверен, он не собирается к этому особо готовиться, предпринимать какие-либо шаги, чтобы и другие не забыли. Конечно, по его мнению, это суета, не достойная траты времени, которого и так постоянно не хватает. И все же верится, что юбилей не останется незамеченным, в том числе и теми, кто может и должен по достоинству отметить заслуги Юрия Николаевича в отечественной медицине.





Одесса, можно сказать, уже давно стала одним из родных городов «Радуги». Совместно со Всемирным клубом одесситов наш журнал — соучредитель Международной литературной премии им. И. Бабеля. Сотрудники «Радуги» — в числе членов жюри проводимых здесь Международной Корнейчуковской премии и премий, конкурсов Одесской книжной выставки «Зеленая волна». И сколько уже лет мы участники этой замечательной выставки — подлинного праздника книги! Многие писатели из Одессы — наши постоянные авторы. Это, например, Валерий Хаит, Александр Лозовский, Александр Мардань, Элла Леус, Наиль Муратов, Евгений Деменок, Роман Бродавко... А для кого-то из одесских литераторов «Радуга» — первый журнал, в котором их напечатали. Вот лишь несколько имен: Никола Седнев, Виталия Бабушак, Анна Малицкая...

А еще в Одессе работает судоходная компания «Укрферри», решившая активно способствовать вдохновению наших авторов. Около десяти из них уже были приглашены в морские круизы, которые осуществляет эта фирма. Круизы — особенные, с весомой литературной составляющей. В программе писательские вечера, презентации, дискуссии. А еще общение не только с коллегами, но и с представителями других творческих профессий, также участвующими в круизах, — художниками, фотографами, музыкантами, актерами. И в придачу — уютная обстановка на корабле, романтика путешествия, очарование моря. Как же тут не родиться вдохновению! Подтверждение этому — две публикации в этом номере наших авторов: Андрея Дмитриева о путешествии к берегам Турции и Марианны Гончаровой — в Батуми.

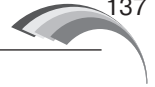
Спасибо, Одесса, спасибо, СК «Укрферри»!

Андрей ДМИТРИЕВ

ПРЕДЧУВСТВИЕ СТАМБУЛА

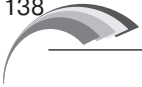
В былые, советские времена, по нашу сторону железного занавеса мы ничего не знали о Стамбуле, кроме самых общих исторических сведений о нем, которые, в предложенном тогда виде и объеме вполне бы поместились на одной страничке ученической тетради. По сути, и в одну строку они бы уложились, всего из нескольких слов: «Был Константинополь, стал Стамбул — Стамбулом

Андрей Дмитриев — прозаик, киносценарист, телеведущий. Лауреат премий им. Аполлона Григорьева, «Ясная Поляна» им. Льва Толстого, «Русский Букер» и других. Ныне живет в Киеве.



он и остался». Сюда стоит добавить, что наши знания о Константинополе были немногим богаче. О больших городах Европы, Америки, о мегаполисах Азии мы имели представление благодаря кино, иным визуальным материалам, а также благодаря воображению, разбуженному и возбужденному беспрестанным чтением западной и восточной литературы, как в ее классическом изводе, так и современной. Турецких фильмов в советском кинопрокате я что-то не припомню. О турецкой литературе мы не имели никакого представления, ни одного имени не знали — за исключением Назыма Хикмета, благодаря невероятным обстоятельствам его судьбы, забросившей Назыма в Советский Союз. Когда (с 1973-го по 1977 гг.) я учился на историка русской литературы в московском университете — я прослушал лекции о татарской литературе, о литературах народов Средней Азии, Закавказья и Кавказа — турецкую литературу нам, русистам, не преподавали. Не уверен, что на нашем филологическом факультете преподавали ее вообще. В это трудно поверить, но Стамбул для нас словно бы и не существовал. Должно быть потому, что мы о Стамбуле совсем не думали — а значит, отторгали и любую информацию о нем, даже если она и была в наличии. Впрочем, был один советский фильм, к слову сказать, блистательный, где немалая часть действия происходит в Стамбуле 1921 года. Это — «Бег» режиссеров Алова и Наумова, снятый по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова. Фильм, повторюсь, блистательный, но не слишком подходящий для того, чтобы составить себе мало-мальски внятное представление о подлинном Стамбуле даже и той поры, о которой в фильме идет речь. Прежде всего, стамбульские эпизоды фильма были сняты в Баку. Понятно, режиссеры избегали планов и панорам, по которым Баку был бы узан — и потому обошлись вполне нейтральным, неопределенным изображением города, стараясь передать не подлинный облик его, но некую атмосферу, заданную сюжетом. А по сюжету Стамбул — место и символ бедствия русских белых эмигрантов, проигравших гражданскую войну и вынужденных покинуть родину. Стамбул в «Беге» сам по себе никого не интересует — ни персонажей, ни авторов фильма. Стамбул в «Беге» — это ад. Один из кругов ада, куда сбрасывают побежденных. Об исторической Турции мы знали несколько больше в силу того, что учебники истории России были заполнены сюжетами из многочисленных русско-турецких войн. То есть Турция была в сознании большинства из нас исторически привычным врагом. К тому же Турция — член НАТО, как тогда считалось, враждебного военного блока, а Стамбул от Турции неотделим. В массовом сознании даже и просвещенного сословия СССР образы исторической и современной Турции были равно примитивны и неразличимы, слиты в один, и Стамбул сам по себе не имел значения и не представлял интереса. Странно было бы представить мечты о Стамбуле, по крайней мере у населения европейской части СССР, тогда как мечтать о Лондоне и Париже было обычным и всем понятным делом — если бесплодные мечты можно назвать делом.

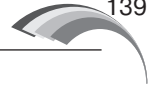
Железный занавес, однако, рухнул. И вместе с ним рухнули остатки советской экономики. Рухнула уверенность в надежности материального существования, пусть сколь угодно скудного. Особенно тяжело пришлось относительно благополучным, образованным и работоспособным людям, в одночасье потерявшим и кусок хлеба и какие-либо надежды на будущее. И вдруг оказалось, что совсем недалеко, пусть и за морем, есть великий город Стамбул, в котором есть все,



что может только пожелать простой постсоветский человек — и это все можно покупать там задешево с тем, чтобы потом подороже, но и не слишком дорого продавать на просторах бывшего СССР. Многие тысячи бывших инженеров, ученых, строителей, конструкторов, учителей, даже и моих коллег, литераторов и киносценаристов, — стали, что называется, «челноками». Так они сами себя прозвали за беспрестанные челночные поездки в Стамбул и обратно — с различным, пусть и не самым разнообразным товаром: прежде всего обувью, одеждой, изделиями из кожи и шерсти, шубами из овечьих шкур. В Стамбуле образовались целые кварталы, населенные русскими челноками. Эти предприимчивые люди, открыв для себя Стамбул, спаслись сами и спасли от кошмаров рухнувшего быта (этот быт тогда не знал никакой другой, доступной по цене, качественной обуви и одежды, кроме турецкой) сотни и сотни тысяч своих соотечественников. Открыв для себя Стамбул, челноки открыли его и всем остальным. В сознании и, главное, в воображении огромного числа моих соотечественников, даже еще и не побывавших в Стамбуле, этот город понемногу стал живым, близким и манящим — даже у тех, кто и не собирался быть челноком. Понемногу граждане моей страны, точнее стран, образовавшихся на постсоветском пространстве, открыли для себя и турецкие курорты, прежде всего в Анталье, по сей день чрезвычайно популярные у нас. Программа отдыха в пансионатах Антальи предусматривает для всех желающих экскурсию в Стамбул. Желających оказалось немало — много их и сейчас. Так для многих тысяч людей, еще недавно ничего не знавших о Стамбуле, в довольно короткий срок он стал очень близким и желанным городом.

Чтобы пояснить, насколько неожиданным и решительным был этот поворот в нашем отношении к Стамбулу, сошлюсь на свой опыт. В 1977–82 годах я учился в Москве, в Институте кинематографии, на сценарном отделении. В нашей мастерской было пятнадцать студентов под началом двух педагогов-мастеров. Это были Евгений Григорьев и Вера Тулякова-Хикмет, русская вдова великого турецкого поэта Назыма Хикмета, который провел в Москве последние годы своей жизни. Назыма мы, студенты Туляковой, понятно, живым не застали — он ушел из жизни еще в середине 60-х годов. В рассказах Веры о нем — среди многих историй и сюжетов — всегда звучал мотив неизбывной тоски Назыма по родной Турции. Но облик Стамбула как такового оставался как бы в тени этих историй и сюжетов. (Большинство этих историй и сюжетов стали содержанием книги воспоминаний Веры Туляковой-Хикмет о Назыме. Книга эта давно и, кажется, не один раз издана в Турции. Я причастен к первым, относительно недавним, русским изданиям этой книги. В московском издательстве «Время» книга Веры «Последний разговор с Назымом» вышла по моему настоянию и с моим предисловием.) Рассказы Веры о Назыме сильно увлекали меня и моих товарищей, но собственно Стамбула в этих рассказах почти не было, и интерес к нему они все же еще не пробудили. Прошли годы, прежде чем Стамбул заинтриговал меня и неудержимо к себе поманил...

Я впервые приехал в Стамбул в начале нулевых — без какого-либо делового повода, просто купив пятидневный индивидуальный тур. Все пять дней я провел в Стамбуле совершенно один — и потому сразу почувствовал одно из главных эмоциональных преимуществ этого огромного города. В Стамбуле ты всегда уединен, но никогда — одинок. Ты чувствуешь себя уединенным, то есть



свободным и независимым от любого общения, от нежелательного внешнего вторжения в твоё личное пространство, но в то же время ты не страдаешь от одиночества, даже ни с кем не общаясь. В отличие от многих мегаполисов мира, Стамбул всегда обращен к тебе лицом, то есть лицами его жителей, а не спиной. Стамбул тебя приветствует, но не навязывается тебе в компанию. Стамбул бережно ведет тебя по своим улицам, не нарушая твоей убежденности в том, что ты вполне самостоятельный пешеход. Как заметил по этому поводу один мой друг: «Стамбул несет тебя над собой, как младенца — бережно подхватив под попку ладонью, — а младенец озирается по сторонам, поглядывая на всех сверху вниз, убежденный в своей мнимой взрослости». Второе, чем меня сразу покорила Стамбул, — физически ощутимой энергией, которой город с тобой щедро делится. Тем более удивительно мне, человеку извне, пришельцу, было воспринять Стамбул, рассказанный изнутри, Стамбул дивных романов Орхана Памука — хрупкий город нежности и печали...

Прошло не так уж много лет, я перебрался из Москвы в Киев, подружился с Одессой, и здесь, как и во всем в Одессе, мне повезло. Я был приглашен в плавание по Черному морю на грузовом пароме компании «Укрферри». Паром вышел из порта Ильичевск под Одессой и взял курс на Стамбул. Мы вошли в Босфор в половине четвертого утра и встретили рассвет на палубе. Переживание незабываемое. Года через два мне довелось повторить это плавание — правда, на другом пароме той же компании — но с тем же переживанием рассвета на Босфоре... Уже впервые побывав в Стамбуле, я вообразил себе молодого нашего человека, который запутался в жизни, как это молодым людям свойственно, и, случайно, накоротке побывав в Стамбуле, внушил себе, что именно там он найдет тот единственный ракурс, в каковом его жизнь предстанет не только в ее подлинном виде, но и окрасится в цвета надежды. То есть этот парень надеется взглянуть на себя в прямом смысле со стороны — со стороны Стамбула. Возможно, эта странная идея пришла моему герою в голову еще и потому, что он — недоучившийся историк... Этого я еще не решил. Как бы то ни было, но если бы мне, когда я был в возрасте своего героя, предсказали, насколько глубоко Стамбул войдет в состав моих переживаний и размышлений, я бы, пожалуй, даже и не понял, в чем суть предсказания и о чем вообще идет речь. Но сегодня я предчувствую очередную встречу со Стамбулом тем нетерпеливее, чем интереснее и богаче моя повседневная жизнь.



Марианна ГОНЧАРОВА

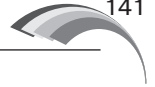
И ПАРОМ ПЛЫВЕТ...

(travelogue)

Размашисто и щедро, от плеча — н-на, н-наслаждайся! — мироздание в лице многоуважаемого пресс-секретаря судоходной компании «УкрФерри» Александра Федорова сделало мне интригующий подарок: путешествие на пассажирско-грузовом пароме в большой и яркой компании поэтов, писателей, философов, художников, научных работников, журналистов, музейных сотрудников и водителей-дальнобойщиков. И поверьте мне, все, все без исключения попутчики мои были незаурядной красоты, душевности, дружелюбия и щедрости люди. У меня есть подозрение, что директор литфеста Александр Федоров — с первого же дня мой герой, мой role model и example-to-follow, специально подбирал компанию, тщательно изучая каждое досье, учитывая только ему известные критерии... Он выбирал участников примерно так, как подбирают команды на Северный полюс, на научно-исследовательские суда и военные подводные лодки, чтобы люди не перессорились и не передрались. К тому же нельзя не учитывать, что в море мы все получили ошеломительный опыт: отсутствие всякой связи, бесполезность наших гаджетов, начиненных различного рода, свойства и качества мессенджерами, вайберами, вотсапами, телеграммами. Поэтому буквально сразу, как только отчалили, мы не стали отчаиваться, а подняли глаза и с изумлением уставились друг на друга и, конечно, вдаль. А дали там были, о-о-о! Они менялись каждую секунду, они играли огнями и туманами, дразнили, они манили и влекли... Но по порядку.

А как было. Многим нашим и не нашим дипломатам следовало бы поучиться у Федорова деликатности, изобретательности и элегантности формулировок. Это я вам точно говорю: сама видела, сама слышала, сама успокаивалась. Выход

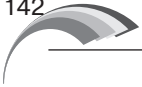
Марианна Гончарова — прозаик. Лауреат литературных премий им. Исаака Бабеля, им. Владимира Даля, журнала «Радуга», конкурса «Русская премия» и других. Живет в Черновцах.



парома переносили трижды, но каждый раз Александр Федоров (мой герой. Что, говорила уже? Ну так я повторю!) находил вескую причину задержки, в которую верили все. И никто не сдал билеты и не отказался идти в плавание на нашем пароме. Причем, если честно, все объяснения были такие фантастические, что только безвыходность нашей ситуации и авторитет Федорова заставили нас в них поверить. При этом он, успокаивая нас, ухитрялся интриговать и держать всех в напряжении. И не знаю, как другие участники путешествия, но я с самого прибытия на причал тянула голову, прищуривалась, глядя в море и приложив ладошку ко лбу козырьком, уже держала нос по ветру. Я предчувствовала будущие приключения, яркие, волнующие и радостные. Еще бы, нас вел сам команданте Федоров — мой герой... (Да, помню я, помню, что говорила!) в далеком прошлом чемпион Украины по прыжкам с шестом! Правда, как кто-то рассказывал, он однажды перепутал свой шест с копьём и так его метнул, что тот улетел куда-то в необозримые дали, а сам атлет, даже не посмотрев вслед, махнул рукой и ушел в журналистику. И журналистика не прогадала, что получила такого классного спортивного обозревателя. Мало, что все про спорт знает, так еще и ответственный и непьющий. Клад, в общем!

Вот вам аргументы Федорова. Первый раз мы не вышли, потому что в прошлый раз на наш паром пробрались беженцы и переправились на нем из Стамбула в Черноморск. Ребята были не промах, учитывая, что и в Стамбул они левым образом откуда-то попали. Кроме того, они повыбрасывали (или попрятали) свои документы. А без документов их никак невозможно было высадить. Скажу больше, ответственные, занятые и трезвомыслящие люди, у которых на уме были планы, тонны, таблицы, мили, грузоподъемность, графики, так устали с этими беспаспортными открывателями новых земель, что даже не исключали версии: а может быть, они вообще... как бы это сказать, эм... ну... не земляне, а? Уж слишком странно, чуть ли не из космоса они свалились всем на головы и, поселившись в каютах нашего парома, основательно уселись на шею судоходной компании «Укрферри». (Согласно международным правилам, до выяснения личностей их не могли высадить плюс обязаны были обеспечивать всем необходимым.) Они жили, ожидая своей участи, чирикали между собой на своем птичьем загадочном языке, посмеиваясь, плотно завтракали, обедали и ужинали, еще и капризничали, что кофе недостаточно крепкий, как они привыкли, а чай вообще в пакетиках, а они любят, чтобы листовой. И сахару! сахару побольше туда положи — знаками командовали они, оценив сервис и профессиональную вежливость команды.

Вторая причина переноса нашего торжественного выхода в открытое море была заявлена как недостаточная безопасность для судна: кто-то где-то стрелял. То ли со стороны Крыма, то ли в сторону Крыма... В новостях ничего мы не увидели, вездесущий гугл пожал плечами и не ответил, но наш драгоценный Федоров все равно поднимал брови и с какой-то очень знакомой интонацией объяснял: «Стреля-а-а-али». Мы опять поверили, только дама Эф. ворчала: «Пусть отдадут деньги», но билет сдавать не спешила. Ну и третья версия нашей задержки — сперва на сутки потом еще на одни — была туманна. Но намотав километры нервов на свои кулаки, сдавая и меняя билеты на поезда и самолеты, которые многих из нас привезли и должны были увезти из Одессы, мы уже были готовы ко всему. Заправили в планшеты космические карты, и штурман, то есть Саша Федоров, уточнил последний раз маршрут.



И вот наконец мы собрались со своими торбами и мешками в назначенном месте, отдавая в телефоны последние распоряжения семьям, сотрудникам, посылая нежные смс возлюбленным и диктуя самым доверенным лицам, что делать если вдруг — нет, не то, что вы подумали — что делать, если мы задержимся, и все-таки опоздаем к нашим скорым поездам, рейсовым или чартерным самолетам, к нашим междугородним элегантным «неопланам» или старым дребезжащим «икарусам», к почтовым каретам, бричкам и телегам, вьючным упрямым осликам и попутным караванам белых двугорбых верблюдов, высокомерных и волооких, не желающих ждать опоздавших пассажиров хоть и с уникального морского парома «Грейсфвальд», занесенного в Книгу Гиннеса за величие и красоту. Нет, подумайте только: нам подарено чудо путешествовать на пароме из Книги Гиннеса, а некоторые: «пусть деньги вернут, пусть деньги вернут!» Стыдно, дамы, стыдно!..

— Внимание! — скомандовал пограничник с американским кокер-спаниелем на поводке. Спаниель с легкомысленными золотистыми локонами на ушах и затылке ответственно обнюхал наши сумки, тут же потерял к нам интерес, отошел и сел на башмак своего хозяина. Нас построили в колонну по одному в затылочек — журналистов и художников, литераторов и певцов, даже одну известную актрису — очаровательную красавицу Елену. И вот эта компания — Елена-прекрасная, тут же знаменитый романист, лауреат Букеровской премии, плюс видный литератор и редактор, общественный деятель с супругой, а супруга в изумительной синей кофточке, тоже построились ровненько, а с ними еще и одесский архитектор-строитель Регина, маленькая, смешливая с роскошной черной шевелюрой, бесстрашный защитник всех исторических сооружений Одессы. Словом, видела я перед собой в очереди на паспортный контроль диковинную компанию: одна — моя подруга в синей кофточке, вторая — с этой вот роскошной прической с вплетенными в нее бусинами, третий значительный и красивый, в пиджаке и с бородой, четвертая — актриса с глазами голубыми искристыми, пятые — пара с аккордеоном... А, нет, потом оказалось, что это был не аккордеон, это был портплед для костюмов. Но тоже красиво и загадочно. И пограничники, и таможенники давай нас всех проверять, сличать, сверять и опрашивать: с какой целью, куда, зачем, что ищите в краю далеком, чего дома не сидится вам всем, особенно вот вам двоим, с аккордеоном... Не аккордеон? Ну так тем более... Едете куда-то. Без аккордеона!

А у меня в паспорт вклеена фотография дочери. Пухленькая, с длинными косичками. Там ей двенадцать лет.

— А она где? — поинтересовалась девушка в форме. — Она с вами?

— Нет, — говорю, — не с нами. Со мной только сын и внук.

— А где же она? — растерянно спросила девушка и заозиралась вокруг.

— Ну... Точно не знаю... — растерялась я.

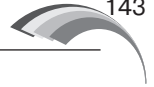
— Как! — возмутилась девушка. — Так зачем же?!

Мне казалось, что это или снится мне, или я уже начинаю придумывать будущие сюжеты. Я потрясла головой, оказалось, что все правда:

— Стоп, стоп, девушка. Она уже взрослая. Ей двадцать два года, она в Черновцах...

— Ну-кх, — пожалала плечами девушка и осуждающе покачала головой, — не знаю, сын тут, внук тут, а дочь где-то... В Черновцах... А в паспорт, между прочим, вклеена.

— Хорошо, — пообещала я, — в следующий раз я ее тоже возьму с собой.



— Вот-вот, — отдавая мне паспорт, — нечего детей оставлять, где попало. Одна. В Черновцах где-то...

«Что это было?» — спросила бы моя взрослая дочь.

Как что? Обычные мои приключения. Они уже начались, поскольку я надеялась и ждала. А приключения... ну да, я уже об этом говорила, а приключения бегут навстречу тому, кто их ищет и ждет.

ПОЕХ... ПОПЛЫ... ПОШЛИ... А, НЕТ. СТОИМ, ЖДЕМ

Мы погрузились на паром. Поселились в каюты. В иллюминаторе солнечные лучи резвились, дразнились, слепили нам глаза и плескались в море, неподалеку стояло то ли датское, то ли норвежское ярко-синее с белым судно. Над нашим паромом реяли флаги Украины и Панамы. Нас пригласили на ужин. Вроде уже и пора отчаливать, а ничего — стоим. «Стоим на пьичале», как пишет классик. И дама Эф. продолжала роптать. Ну и что ей надо?! Вот тебе, казалось бы, всё: море есть? Есть. Горячий душ есть? Есть. Еда, бар с кофе и алкоголем. Философы для серьезных бесед, поэтические девы для романтики и украшения коллектива. Чайки, ветерок, палуба, солнце...

Все пассажиры собрались на верхней палубе и глазели по сторонам, облокотившись о поручни. Поэтические девы уселись кружком, брали тонкими прозрачными пальчиками воздушные зефирки, подносили к губам, почти не откусывая, запивали их девичьим бренди «Honey» и хохотали звонкими голосками. Мимо них туда-сюда шаркал большой нескладный грузин-дальнобойщик, коротконогий, с длинными руками, огромными ладонями, спиной и пятой точкой, принявшими форму водительского кресла. Он косил ярким крупным лошадиным глазом, водил усами, завистливо цокал, глядя, как развлекаются пышные и нежные, тонкие и опять же нежные поэтические феи, приговаривая: «Ц-ц-ц! Какии красивии девачки. И пют. Зачем пют? Нада кушить. Си-ир. Фру-укты. Сматри какии худиныккии». Его звали в компанию, что, жалко что ли... Но Важа — его так звали, этого усатого, Важа, — категорически отказался, он водитель-дальнобойщик, ему через день-два в горы ехать.

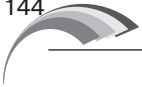
А на ярком круге с надписью «Вертолетная площадка» прямо посередине сидела большая легкокрылая стрекоза, красивая, хрупкая, нежная, как юная Наташа Ростова в платье, подколотом булабочками, и пялилась на нас, таких дураков, сияющими радостными, восхищенными глазами. Стрекозы не копят денег, не пишут жалобы и заявления, не платят налоги, и век их короток. Наверняка поэтому они не успевают привыкнуть к волшебной красоте этого мира.

«Ах, море — восхищалась Стрекоза, — ах, солнце, ах, пароходы, синее небо и эта вот большая вертолетная площадка! И все это для меня... Спасибо».

— То ли еще будет, — пообещала я Андрею, своему внуку, — скоро ты увидишь дельфинов.

— Пусть деньги вернут! — продолжала где-то настойчиво митинговать со скандальными нотками в голосе красивая дама Эф. — Почему мы стоим, а не плывем?

— Ах! — вздрогнули радужные крылышки нашей Стрекозы. — Да есть ли мне дело до того, плывете вы или не плывете... Мы все равно плывем, все. Вы — просто большие насекомые, и не чувствуете, как мы все плывем, плывем, плывем... хотя и стоим... Так зачем же?



Никто уже не слушал красивую даму Эф., и все подумали примерно то же, что и Стрекоза на вертолетной площадке. Тем более, что происходило еще одно волшебство: садилось солнце. Мы с внуком моим видели, как длинная тень упала на воды разглаженного жарой истомленного моря. Силуэт кого-то очень высокого, с палубы аж до неба, в широкой мантии, отчетливо виднелся на фоне жаркого оранжевого круга.

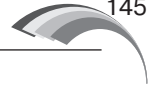
«Видишь? — шептал внук, — ты тоже видишь?» Этот гигантский, прозрачный, пугающий старательно размешивал в гигантском котле красное, черное, синее, зеленое, фиолетовое в равных пропорциях, отхватывая у солнца слой за слоем, кусок за куском. И поднялось и вспенилось вечернее зелье, закипело, и повалил пар от котла, перелилась и побежала через край по морю, оттуда с кромки света к нам, прощальная узкая дорожка... Хоть становись на нее и беги. Загадочный великан ссыпал на дорожку из широкого рукава горсть ярких сверкающих лент, и растворилась тень его, исчез он сам. Наша Стрекоза развернула радужные крылья, вздохнула, как ученица балетной школы вытянула вверх маленькую аккуратную головку и строго вертикально взмыла с вертолетной площадки в темнеющее небо. «Ах, опоздала, — лопотала она. — Загляделась на мальчика, чьи пленительные глаза такие же яркие, как и мои, и такие большие, что внешние их уголки заходят прямо на виски...»

Стало темно. Мы еще постояли на палубе и пошли спать. А в два часа ночи паром отчалил. Капитан, обветренный как скалы, поднял флаг, не дожидаясь дня.

КАПИТАН И ЕГО КОМАНДА

На пароме команда как-то ближе к пассажирам, чем на круизном судне. Хотя, когда мы по радио слышим команды (особенно мне нравится команда «Полный аврал!»), вроде бы ничего не происходит. То есть это мы ничего не видим. Наша беспечная жизнь на пароме продолжается, а в это время невидимая нам команда выполняет свои обязанности: условно говоря, носится по трапам, поднимает и опускает паруса, поддает жару в машинном отделении, драит палубу и каюты, возится на кухне, чистит овощи, накрывает столы свежими скатертями и аккуратно промазывает легким кремом и складывает большой праздничный торт, чтобы вывезти его в ресторан для своих гостей-именинников.

Наутро после завтрака к нам всем вышли знакомиться капитан парома и пассажирский помощник — помощник по нам. В капитаны, как мы знаем, берут образованных, бесстрашных, умных, выдержанных. Но ко всем перечисленным качествам необходимо еще одно: в капитаны берут не только по уму и храбрости, но и по красоте! По крайней мере, у меня создалось именно такое впечатление. К моему мнению охотно присоединились все дамы, девушки и поэтические феи нашего спянного отсутствием Интернета и мобильной связи коллектива. Эти двое — капитан и его помощник — вышли к нам такие подтянутые, такие новенькие, свежие. Они вышли к нам, расслабленным, ленивым ворчливым людям с плохими привычками и лишним весом, и встали перед нами, стройные и высокие, как пирамидальные тополя. Капитан сказал: «Добрый день, дамы и господа» — и затем произнес возвышенную приветственную речь, обозвав нас всех «культурной интеллигенцией». Я думала, он случайно оговорился, а потом поняла, что — молодец какой! — он так интересно пошутил. Он, к слову,



постоянно шутил с абсолютно серьезным и непроницаемым лицом. Ах, пожалела я, что не было с нами моей юной дочери. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка... Ну да.

«Капитанам дальнего плавания, когда они стоят на мостике или глядят себе из окон рубки, часто приходится думать о мироздании и о Боге. В родных долинах, среди маков и спеющей ржи человек вправе забыть обо всем на свете, кроме теплых лучей солнца, ласкающих кожу лица, и приветливой тени под изгородью; но тот, кто ходил сквозь тьму и шторм, думать просто обязан», — писал мой любимый Уильям Батлер Йейтс в «Кельтских сумерках».

— Господин капитан, вы когда-нибудь слышали о капитанской молитве? — пискнула я.

— Конечно, слышали, — улыбнулся пассажирский помощник, — Господи, — бархатным голосом тихо и проникновенно произнес он, — застегни мне душу на все пуговицы.

— О Lord, — подхватил капитан, — give me a stiff upper lip.

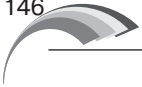
После «дамы и господ», а еще и признания нас культурной интеллигенцией мы готовы были шагать за ними хоть куда. И они повели нас на экскурсию в святая святых, на капитанский мостик. Мы шли молча, переходили с одного трапа на другой, поворачивали, опять поворачивали, поднимались еще выше... (Я же говорила тебе, читатель, что это самый большой паром в мире.) Если бы мне пришлось возвращаться с капитанского мостика самостоятельно, что в принципе запрещено категорически, я бы со своим топографическим кретинизмом обязательно заблудилась бы, забрела бы в какой-то нежилой угол, поселилась бы там на тряпках, ловила бы рыбу с борта с помощью подручных средств, ходила бы косматая, с длинной бородой, в козьей шкуре и босиком... Ой, ну да. Я отвлеклась, но тот, кто неплохо меня знает, пусть не огорчается, он не будет разочарован, — я использовала свой шанс заблудиться и попасть не туда, куда надо было, а как же. Но гораздо позже. Короче, привели нас на капитанский мостик. Вообще я сначала подумала, что это операционная в хирургическом отделении, такая там была чистота. И меня удивило, что ни капитан, ни помощник, ни операторы, которые там находились и время от времени подкручивали какие-то кнопки, сдвигали какие-то ручки, ни один не сказал: «Ничего не трогайте!» А нашей культурной интеллигенции ведь как: если не запрещают, значит — можно. И гости капитана давай хвататься за все, что торчит, блестит, светится и мигает на пультах капитанского мостика. Один даже схватил бинокль, но пассажирский помощник попытался взять деликатно его из рук гостя, сказав при этом:

— Простите, но даже мы, члены команды, не смеем брать то, что принадлежит капитану.

Ну гость после «а можно хоть разок глянуть» и «а я только подержу», согласился отдать бинокль и утешился тем, что вцепился в подобие небольшого руля. Ну тут уже, несмотря на причисление себя к культурной интеллигенции, по-простому рывкнула уже я:

— Не трогай ничего! Слышь?! Отойди на два шага! Опусты руки! По швам!

Парень, видимо, испугался, чего это какая-то культурная интеллигентка раскомандовалась, отошел и опустил руки. Но завопила я, конечно, от страха. А в принципе, хорошо, что там большого штурвала не было, ну, как в кино, а то бы мы все — культурная и некультурная интеллигенция — как вцепились бы



в него вместе и давай крутить и песню петь про веселый ветер. Эх, да и угнали бы паром куда-нибудь в Турцию, по дороге выбросив наши паспорта. Хотя мне нельзя, у меня в октябре начинаются концерты и встречи с читателями.

И вот, чтобы отвлечь нас всех от хватания и лапанья незнакомых нам предметов, капитан предложил задавать вопросы.

— А расскажиЦе о вашем паро-о-оме подробно, а? — красиво изогнувшись и заглядывая в лицо капитану, попросила хорошенькая юная журналистка в больших очках.

— Охотно! — кивнул капитан. — Подробно. Рассказываю. Валовая вместимость нашего парома: двадцать четыре тысячи, — с готовностью отвечая взглядом на взгляд, отчеканил он.

— Как инЦересно... ДвадцаЦь четыре тысячи... Эм... А еще расскажиЦе что-нибудь, а? — нежно проворковала другая девушка.

Опять как на экзамене, весело рассматривая деву, капитан четко ответил:

— Дедвейт: восемь тысяч пять тонн!

— А-а-а... — все закивали.

— Ну, а если вдруг... Например, шторм. Такой большой паром... Как же мы... Мы не перевер...

Взгляд капитана оледенел. За моей спиной возмущенно хмыкнул помощник капитана по нам, бестолковым пассажирам. Капитан с достоинством задрал подбородок, губы сжались в ниточку, как будто он вот-вот превратится в Иного, в Белого Ходока, и пойдет громить Винтерфелл к чертям собачьим:

— Мы, — сквозь зубы тихо, но отчетливо проговорил он, — никогда. Никогда. Не. Говорим. Об этом. На борту. — Потом он увидел испуганное лицо девушки, смягчился и добавил: — Интересно, обсуждаете ли вы такие вопросы, когда летите в самолете. Или когда едете в автомобиле.

Они оба, — и капитан, и помощник — определенно были потрясающие парни. Когда мне нравятся люди, а в принципе, мне нравятся практически все люди, кто-то больше, кто-то меньше, я всегда думаю, что у них есть мамы. Что это чьи-то дети. А моя мама, учитель английского языка, всегда говорила, что каждого ребенка, а в моем случае, взрослого ребенка, нужно рассматривать глазами его родителей. Вот и я рассматривала капитана и его помощника глазами их матерей. И гордилась ими. Господи, застегни их души на все пуговицы!

* * *

Кто-то подошел к пассажирскому помощнику, стоявшему в дверях во время экскурсии на капитанский мостик, и тихо поинтересовался:

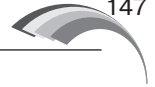
— А можно я пойду на палубу?

— Нет, — холодно ответил тот, — Все пришли и все уйдем.

— ... и все уйдем, — эхом повторил кто-то. Наверное, я.

* * *

На палубе у поручней столпились люди, уже известный дальнобойщик Важа радостно кричал и размахивал огромными, как лопаты ладонями, привлекая внимание всех вокруг:



— Дэвужки! Гдзе ходзите?! Суда идзи! Сматри быстро вныз! Дэлфинджики! Дэлфинджики!

Дельфины-азовки сверкали на солнце тугими спинками, плыли рядом с паромом как маленькие катерки и, как мне показалось, хихикали. Отдельно от всех стоял писатель Дмитриев, сосредоточенный и серьезный, похожий на Эрнеста Хемингуэя, который идет в разведку на своем катере «Пилар». Дмитриев, облокотившись о поручни, смотрел вниз на дельфинов, которые, как будто узнав его, собрались в воде как цыплята. Они прыгали и качали своими любопытными дружественными носами.

Писатель Андрей Дмитриев, к моему удивлению, рассказывал много и охотно. Казалось бы, все эти захватывающие истории он мог складывать в кованые сундуки, перебирать как скупой рыцарь и тратить их по капельке, дозированно, понемногу на свои романы и киносценарии. А нет, он распахивал нам душу и сердце и щедро рассказывал, да так, что мы невольно раскрывали рты. Так и хотелось крикнуть: замолчите, оставьте себе хоть чуть-чуть.

Так вот о дельфинах. Однажды в детстве, тощий, ушастый и беззащитный мальчик вдруг научился плавать и был так счастлив, что сразу поплыл далеко. Это, как мы поняли, в характере Дмитриева — ничего никогда не откладывать. Например, влюбиться в кого-нибудь и немедленно украсть ее, свою отраду, из терема высоко-го. Задумать роман и тут же сесть его писать и, как только закончить, сразу, я вам говорю, сразу еще за горячий, прямо из печи том с синей стрекозой на обложке получить Букеровскую премию. Словом, было именно так: мальчик Андрюша научился плавать, и чего тянуть, сразу поплыл в открытое море за буйки. И там перед ним вдруг встал на хвост большой дельфин-афалина. Андрей сначала испугался, а потом быстро понял (он и в детстве был неглупого десятка), что дельфин поприветствовал неофита. Практически, как принято в приличных кругах, принял от Андрея верительную грамоту и милостиво позволил обитать во вверенном ему пространстве. С тех самых пор Дмитриев с дельфинами на короткой ноге.

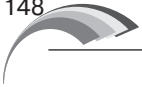
* * *

Словом, мы все были радостные и счастливые. Мои мальчики, сын и внук, втерлись в доверие к команде и облазили все вокруг. Стояли и фотографировались на носу парома, осмотрели все восемь палуб, увидели, как четко и слаженно работает команда в машинном отделении. А потом за их искренний интерес, радость и любопытство, за их бесхитростный вид и симпатичные физиономии (ха! они ведь оба похожи на меня!) команда пригласила их поплавать в своем бассейне. В закрытом бассейне, который предназначен только для моряков парома.

Словом, все было хорошо. Мы в компании с подругой Юлей и ее мужем — редактором журнала, сидели на верхней палубе, нежились на утреннем сентябрьском солнце, подставляя лица, и вот обычно молчаливый муж моей подруги (в свободное от разных общественных дел время редактор всех моих книг, ведущий всех моих встреч и концертных выступлений, а также временами деспот и тиран, за что мы все, авторы журнала, его любим и совершенно не боимся), любуясь морем, вдруг говорит:

— Знаете, девочки... А люди стали невнимательны, очерствели люди. Они перестали...

— ... лазить в окна к любимым женщинам? — подсказала Юля.



— Почти,— согласился редактор.— Они перестали распознавать знаки сверху. Люди разучились видеть чудеса. Они торгуются с небом:

«А ну-ка, яви чудо! — требуют они,— А ну, а ну?!»

«Как?! — говорит Он.— Как?! Я ведь являю вам чудеса каждый день!»

«Где?! Где они, твои чудеса?! Ну где, где? — возмущаются люди.— А ну потрудись показать нам!»

Он растеряно разводит руками.

Я слушаю, замерев и вдруг в своем неумном воображении вижу, как тот, о ком идет речь — тот самый Он,— вдруг я отчетливо вижу как Он уходит, на прощание обведя нас всех печальным и разочарованным взглядом. Уходит по морю аки по суху.

Вдали в дымке отрешенно и виновато мнется и белеет полуостров Крым. Над водой парит кем-то уроненная одноразовая целлофановая перчатка, машет нам как ладонь человека-невидимки, коварно подымая указательный палец, грозит, грозит, покачиваясь в воздухе. Вдоволь полетав, она не падает в воду, к счастью для морских обитателей и глубин, а залетает на паром, улегшись на нижнюю палубу.

Стюард быстро подбирает ее и уносит...

БЕСЕДЫ ПРИ ЛЕГКОЙ ВОЛНЕ

(из услышанного и подслушанного)

Пошли вторые сутки нашего путешествия. Каждый день мы все присутствуем на литературных вечерах, посещаем выставки рисунков и фотографий, знакомимся с писателями и поэтами, художниками, исследователями-историками. Кто-то сказал после встречи с писателем и исследователем одесской истории А. Горбатюком, аплодируя и кивая куда-то себе за плечо:

— Ну где такое услышишь?! Я вот тут на одном международном литфестивале был... Скука, я вам скажу, непроходимая. Не то что здесь! Мо-оре счастья!

Я — хороший внимательный слушатель. А человеку иногда просто нужно с кем-то поговорить. Жаловаться же родным, близким, «грузить» их — себе дороже. А так рассказал кому-то первому встречному, или едва знакомому — и ему ничего, и тебе легче. Ну, правда, кому нужны твои проблемы, когда своих полно. И вот я бродила по палубам, сидела в разных компаниях и слушала, слушала, слушала... А люди с удовольствием говорили, говорили, говорили...

Ничто так не говорит о человеке, как то, над чем он смеется, плачет или сплетничает.

* * *

— Тут важно вот что: не рассчитывать и не планировать, что роман, который ты пишешь, обязательно получит какую-нибудь премию. И тогда он, возможно, как раз ее и получит.

* * *

— Видите ли, есть такой рыцарский закон. То есть, чтобы вам было понятно, это закон настоящих мужчин. Что, конечно, редкость в наше время, настоящие

мужчины... Так вот, закон гласит: «Никогда не сражайся с женщиной. И твоя победа, и твое поражение будут твоим позором».

* * *

Глядя в море ясными яркими глазами: «Я его так любила, так любила, что когда он вдруг выходил из-за угла, я слепла и теряла сознание...»

* * *

- У него завелась очередная девушка.
- Завелась...
- Ага. Как блоха.

* * *

— У интеллектуалов, милочка, высокие стандарты. Ну, например, строгость к себе.

* * *

Высокая красавица Ирина в изумительном ярком широком платье, с африканскими крупными украшениями, с высокой иссиня черной тщательно уложенной прической, с очаровательной ласковой улыбкой, научный сотрудник музея Восточного... (она всегда подсказывала деликатно «...и Западного» искусства):

- Life is too short to wear boring clothes*.

* * *

Дети. Победители международного конкурса молодых художников:

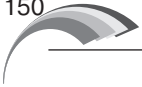
- Вот кто больше, бегемот или слон?
- Бегемот.
- Не-а...
- Слон?
- Не-а...
- А кто?
- Оба больше.

* * *

Говорит редакторша:

— ...и вот он мне пишет: «Прошу опубликовать мое творчество». Ну, можно ли после такого читать то, что он прислал?.. Но назавтра опять получаю от него письмо: «Я вам послал свою повесть. Хочу получить ответ в любом случае!» А вдогонку еще письмо: «Я забыл написать в предыдущем письме, что я номинант многих литературных премий, а так же мой юмористический

* Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду (англ.).



скэтч опубликован в газете для железнодорожников «Магисталь». Так что прошу прислать положительный ответ».

Я плюнула на всё и кинулась сюда, на паром. Я бежала стремительно, очень боялась, что он бежит следом. С рукописью. Вы знаете, я так рада, так рада, такая у нас здесь благодать.

— Конечно. Море. Солнце. Чайки. Дельфины. Белое вино.

— Да что вино! Да что море!.. Интернета нет! Не звякает у меня телефон от его сообщений! Плохо только, что придется возвращаться, а дома Интернет повсюду: и дома, и на работе, и на улице, и в такси... А, может, он вообще меня на пирсе будет встречать. О-огкх! Вот этого боюсь. А вы не знаете, у нас по дороге есть какие-нибудь острова? Желательно, необитаемые...

* * *

— Чего ты боишься? Я тебя умоляю... Батуми — самый безопасный город в Грузии. И вообще. Какие джигиты? Какое «украдут»?! Тебя, с твоим воспитанием, с твоими привычками и с твоей способностью убеждать могут украсть только Свидетели Иеговы или мормоны.

* * *

Поэтические феи:

— Любовь зла. Полюбишь и козла. (*Выпили.*)

— Любовь — еще та, полюбишь и кота. (*Опять выпили.*)

— Любовь, однако. Полюбишь и собаку. (*Пьют опять.*)

— Любовь добра! Полюбишь и бобра! (*Послали в бар за бутылочкой.*)

* * *

Не было ее целый день. Куда пропала в открытом море? А вечером появилась. Сидит одна. Грустна. Кутается в шарф. Молчала, молчала. А потом:

— ...и это ровным счетом ничего не значит.

Всё. Встала и ушла, неся шарф на своих плечах. Бережно, как память об этом своем загадочном дне.

* * *

— В день отъезда звонит мне студент, задолжник, еще весеннюю сессию не сдал, спортсмен, наверное. Звонит и спрашивает: «Ольга Рубеновна, а мы не могли бы встретиться сегодня или завтра?» О, небеса... В последний раз этот вопрос звучал в моей жизни в семидесятых годах прошлого века... И по-моему, задавала его я.

— Ну что, встретились?

— Не-а... Послала его... В деканат.

* * *

— Не люблю я, когда хозяин привязывает собаку у магазина, а сам идет за покупками. Это напоминает мне... меня.



Ноябрь. Холодный вечер. Зябко. Стоишь, смотришь в ту сторону, откуда он должен приехать. Ждешь. Хвост повесила. Поскуливаешь...

— И-и-и-и-и... А-у-у-у-у-у...

* * *

— Когда я работал в искусстве...

* * *

— Аха-ха! Ха-ха! А вот я вам расскажу.

Голубь полюбил голубку. И пригласил ее на свидание. На центральной площади. Крошек там поклевать, бабушки обычно приносят булочки. Воды попить из фонтана. Сам прилетел взволнованный, перышки почистил, торжественный. В клювике — березовую веточку принес с сережками салатными. Ждет час. Ждет два. Ждет три. Уже солнце садится. Наконец — о! вот и она.

— Где ты была? — он ужасно взволнован. — Я тебя три часа жду!

— Ай... — легкомысленно откинула она головку, нежно улыбаясь, — решила пройтись пешком...

* * *

— Отношения с актрисой?.. Не дальше восьмого ряда!

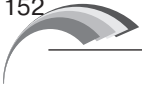
* * *

— А потом выяснилось, что он — директор бани. Нет, ну прояви себя в своем деле, купай людей дочиста. Это ж какая благородная миссия. Нет! Он считает, что он тоже может писать! И не только писать. Он платные курсы писательского мастерства открыл. Пять уроков — и ты Лев Толстой. И пишет о себе: «Мы с тобой закончим начатые тобой рассказы. Даже тот, кто никогда не писал ничего — писем, записок, на заборе, тот начнет писать книги, я вам обещаю. Триста долларов за пять уроков». И везде в социальных сетях реклама этих курсов. Эти мастер-классы по всему миру! Написал одну книгу, детскую, украл сюжет у Астрид Линдгрэн, переделал под местные современные реалии. Такой изобретательный. Так пусть бы в бане у себя переделал все как — откуда Линдгрэн? — как у шведов!

Слушай, почему люди не открывают и не рекламируют курсы, например: «Как построить и организовать хорошую баню». Или «Как сеять, растить, собирать и печь хлеб», или «Как открыть приют для бездомных животных», или «Как выращивать зелень и овощи на своем балконе». Мне кажется или на самом деле, что весь мир вдруг решил, что может писать и петь? А? Именно писать книги и петь в микрофон, а?

— Я бы открыл курс: «Как сформировать критическое отношение к себе». Но кто ж запишется...

— Ну я могу...



* * *

— ...врет мне. Верней, недоговаривает. А у меня — воображение. Ой, да ладно, ну подумаешь: в моей жизни было столько предательств, я привыкла. И мелких предательств, и крупных... Мелкие предательства — самые страшные. Они накапливаются, собираются в липкий ком и душат по ночам... Можно и не проснуться. Смотри, чайки!..

* * *

— Все самое важное в жизни решается в паузах...

* * *

— Я здесь отдыхаю... Хотя, конечно, волнуюсь, как там мои. Потому что дома я живу так, что немедленно перехожу из состояния глубокого сна в положение «Чип и Дейл спешат на помощь».

* * *

Поют:

— У не-е-е-ей... така-а-ая ма-а-аленькая груттть! И губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки.

Важа (*всхлипывает*):

— Красивый песня. Ваймэ, красивый. Только худзенький очинь эта дзевачка. Ни кушала ничиво наверна.

* * *

— Этика обременяет логику поступков. Их приходится объяснять.

* * *

— Понимаете, Марусенька, в этом фейсбуке... я стою перед ними с открытым забралом, читаю свои стихи, открываю душу, а он или она потом выкрикивает оскорбления из кустов, имени своего не называя. Я даже не знаю, мужчина это или женщина. Вы не находите, что мы не в равных условиях?

* * *

— Она усвоила главное искусство своей жизни — унижать другого человека.
— Рожать ей надо. Рожать!

* * *

— Он шел домой невменяемый, потому что пьяный. Была гроза. Его ударила молния. Трижды... Идет — ба-бах! Он упал. Полежал. Встал. Оглянулся. Вокруг никого. Пошел. Опять — шварк! Упал. Подумал, да что ж такое, что ж я все время



падаю, щас он у меня получит!.. Который меня бьет. Встал, поозирался, с трудом фокусируя взгляд, туда посмотрел, сюда. Никого. Пошел, качаясь. И третий раз ну прямо в темечко. И, представляете, нормально все. Ну полежал еще. Промерз, потихоньку очухался. Пришел домой злой. Говорит, били меня по дороге.

С тех пор не пьет вообще. Появился интерес к людям. Правда, какой-то однобокий. Постоянно ошивается около полицейского участка и просится в понятия. Иногда берут. Ходит смотреть, подписывать бумаги, любит обыски. В «Одноклассниках» в графе «Интересы» написал «Профессиональный понятой» и номер телефона своего.

Ну? Как думаете, получится у меня повесть или даже роман?

* * *

- Оять эти девочки, оять выпивают...
- Пьем за яростных!
- За непокорных!
- За презревших... Это... Как его...
- ...грошовой уют...
- Вот! Д-да!
- Ц-ц-ц-ц...

МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ

Барная... Не бранная, не банная, а барная компания. Эти дамы все время сидели у барной стойки. Нет. Они не пили. Они курили. Потому что на пароме нельзя было курить нигде, кроме определенных мест: специальное небольшое помещение с вытяжкой и бар.

В баре сидели пассажиры из литературной тусовки, а в специальном помещении курили дальнобойщики. Нет, они спокойные работающие парни, но беседа с ними не складывалась. Не потому, что они — грузины, турки, армяне, азербайджанцы. Нет. Просто они молчат, чтобы вас случайно не обидеть. Они владеют русским, но специфическим, можно сказать, аргом дальнобойщиков. Это еще похлеще, чем аргом сантехников. Очевидно, что на пароме есть неписанный закон, кодекс, по которому дальнобойщики не вмешиваются в дела пассажиров, а пассажиры держат дистанцию с дальнобойщиками. Причем пассажиры уважают дальнобойщиков — тяжелый труд, а еще и сухой закон для них на пароме, выпить нельзя. Дальнобойщики пассажиров немного презирают — бездельники: лекции-шмекции, вино, песни, ля-ля, ля-ля...

Но девушки говорили, что Важа (да, тот самый Важа, который осуждающе и завистливо цокал языком при виде выпивающих поэтеес, и тот, который всех призывал смотреть на дельфинов, и тот, чье тело давно приняло форму водительского кресла, а руки вытянулись до колен, потому что столько лет за рулем), да, так вот добрый общительный Важа брал на себя ответственность и был переговорщиком между дальнобойщиками и литераторами.

Когда бар по какой-то причине закрывался и в курительную комнату вдруг входила какая-нибудь «культурная интеллигентка», кто-то из дальнобойщиков указывал на нее подбородком и обращался к Важе: «Скажи ей!» И Важа говорил.

Вот как эти переговоры происходят. Он сначала деликатно выспрашивает имя.
— Ну, Рена,— лениво ему отвечают.

Важа набирает воздуха в грудь и, собрав пальцы руки в горсточку перед собой, глядя в самое лицо девушке, спрашивает:

— Слушай, Нурена, люди интересуются, зачем куришь, э? Ты же такая молодая и красивая, э?

Кто-то из водителей, не глядя на девушку, тихо и хрипло буркает что-то Важе на ухо.

— Люди спрашивают, где твоя совесть, Нурена? Ты свайх детей што учишь? Э?

Опять ворчит кто-то из водителей, одновременно осуждающе и восхищенно скользя по девушке глубоким бархатным взглядом.

— Парни гаварят спросить тебе, или ты женатая, Нурена? Или дети есть у тибья?

Какой-то мрачный кунак, низкорослый, неопределенно мохнатый, черный, какой-то весь как муха, с непроницаемым презрительным видом играет желваками все время, пока девушка курит, и когда она тушит окурок, кивает головой сначала Важе, потом указывает глазами на девушку.

Важа все понимает без слов:

— Как тебе пазванить па телефону, Нурена? Напиши. Ни помнишь свой номер? Ну хоть приблизительна? Напиши адрес. Ни мене. Нугзар хочит. Нугзар тебе персики-шмерсыки привизет дамой прямо. И мандарин. Любишь мандарин? Сир сулугуни еще. Будишь кушать витамины. А то худинькая.

И расплывается, расплывается в улыбке так, что усы растягиваются от уха до уха. И склоняет голову кокетливо, взмахивая пушистыми ресницами.

ИРИНА ИЗ ГОРОДКА

Первый вечер. Все рассказывают о себе. Литератор Ирина жует яблоко. Очередь доходит до нее. Она: «Ну что сказать... Я много лет писала для «Городка» (такая была юмористическая телевизионная программа «Городок»). Ну а в свободное время я ем яблоки». Все хохочут. Профессионал!..

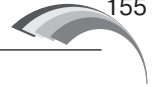
И все дни Ирина как настоящее дитя Евы, с хрустом, рассыпая вокруг себя веселые ароматные брызги, грызла сочные большие яблоки.

МОНБЛАН АНДРЕЯ ДМИТРИЕВА

Его сын в раннем детстве говорил: «Я не люблю, когда плохо. Я люблю, когда хорошо». По-моему, достойный сын своего отца. Очень и очень мудрая мысль. Это квинтэссенция всего: я люблю, когда хорошо. Сына Андрея Дмитриева надо послать в ООН. Пусть он расшевелит это спящее царство. Пусть звонким голосом произнесет с трибуны:

— Я люблю, когда хорошо!

Мы все, взрослые закорюченные суетливые дураки, любим, когда хорошо, но не знали, как это сказать коротко и ясно. И дельфины любят, когда хорошо. И капитан нашего парома, и актриса со сверкающими глазами... И Важа, и поэтические девы, и стеснительные дальнотбойщики, и птицы, и стрекоза... И я тоже люблю, когда хорошо.



Андрей Дмитриев — лауреат многих международных литературных премий, киносценарист, настоящий большой писатель. Советую всем литераторам, графomanам, романистам Дмитриева не читать. Потому что чтение это вызывает ужасный комплекс неполноценности, если вы понимаете, о чем я. Человек неглупый прочтет роман «Дорога обратно» Дмитриева, закроет компьютер с начатой рукописью и пойдет заниматься другим каким-нибудь делом. Потому что все — о любви, ненависти, о детстве, о понимании людей и непонимании их поступков, все мистическое и реальное, трагическое и счастливое — все уже написано. Так зачем?!

Дмитриев в самую жару носит пиджак. Этот пиджак играет в его жизни не только, как он говорил, роль узбекского халата, спасающего от жары, но и роль чемодана. Нет, конечно, у него был с собой большой рюкзак. Но в карманах его пиджака помещалось все, что я обычно кладу в свою сумочку и потом, роюсь в ней, не могу найти. А у Дмитриева в карманах все разложено: там есть огромный блокнот для записок, там есть зубная щетка и маленькая бутылочка коньяку, пара бутербродов на дорогу, ключи от разных дверей, за которыми живут его любимые люди. Или жили. Там, в левом внутреннем кармане помещаются осенние дороги, весенние цветущие сады, зимнее стылое небо, надежда и память о родных. А в правом — баночка чернил и очень красивая перьевая ручка «Монблан».

Он всю жизнь пишет перьевой ручкой. И только потом набирает текст на компьютере.

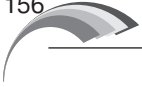
— Раньше, — рассказывает, — я писал ручкой «Фишер». Это была хорошая рабочая лошадка. На тринадцатом году жизни она заплакала чернилами и вскричала: «Прощай». А потом мне подарили ручку «Монблан». Я перед ней робею.

Он достал блокнот из одного кармана, ручку из другого, раскрыл блокнот, бережно раскрутил колпачок ручки, записал одно слово, аккуратно закрутил колпачок и разложил блокнот и ручку по карманам.

ФЭЕРИ

Пара из Германии путешествовала с собакой Фэери. То есть Фея. Собака, как часто бывает, была очень похожа на своих хозяев. Хозяева были длинноволосые и седые, Фэери была длинноволосая и серебристая.

Хозяйка собаки заплела себе две тонкие длинные косички на висках. У собаки тоже были заплетены две тонкие длинные косички под ушами. И у хозяйки, и у собаки были пышные серебристые окладистые бороды. Хозяева были добродушные и приветливые. Собака была доброй, ласковой и отзывчивой. Рано утром мы с внуком бежали ее обнимать. Собака нам улыбалась. Порода Фэери называлась Бородатая колли. Она осмысленно и с интересом глядела мне прямо в лицо, как будто спрашивая: «Как твои дела? Расскажи. Я выслушаю». Хозяева сказали, что Фэери часто путешествует и отдыхает. Ну и они — с ней. Фэери необходим отдых, потому что она — волонтер, работает в госпиталях и кризисных центрах антидепрессантом. Фэери обучена видеть вместо слепых, слышать за глухих, двигаться рядом с теми, кто двигается с трудом. Фэери — одно из немногих существ на планете, которые умеют общаться с детьми-аутистами. Фэери — гений.



«ARRIVAL»

На шестой палубе, на больших мягких диванах все дни сидели дальнобойщики и смотрели на огромной плазме фильм за фильмом. А что им еще делать, если у них сухой закон. Молчаливые и мрачноватые, они просто сидели и пережидали путешествие. Чтобы потом сесть за руль своего грузовика и ехать дальше, по дорогам Грузии. В углу, на этой же палубе, которая играла роль то ли кают-компаний, то ли гостиной, стоял кулер с водой.

И вот я набираю горячую воду в термос и слышу:

— Не будем это смотреть. Я вчера минут десять посмотрел, ушел, скучное кино.

Оглядываюсь, смотрю, а на экране разворачиваются события фильма «Прибытие».

— Да вы что! — говорю. — Это очень хороший и очень важный для нас всех фильм. Вот вы, водители дальних рейсов — люди пространства и времени. В вашей работе ведь это главное — дорога и время! И это чудо планеты не только в вашей работе, но и главная загадка всего человечества. А вы — вы! — ткнула я пластиковым стаканчиком в них, сидящих тесно на низком диване, как ученики, сложив руки на коленях, — вы уже почти открыли эту тайну, потому что дорога располагает к размышлениям...

Они закивали:

— Да, располагает.

— К открытиям располагает.

Они опять согласились молча.

— А время?! Вы выезжаете утром, а бывает, что этим же утром вы и приезжаете в другую страну, бывает?

Они — ну такие послушные.

— Да, — говорят, — бывает.

— А еще, — говорю, — бывает, что дорога — р-раз — и проглотила несколько часов, украла полдня...

— Да-да, — возмущенно переглядываются, — да, пропадают часы, а то и дни, куда уходят, куда деваются, совсем непонятное это время. Обманчивое. То час тянется как день, то день как час.

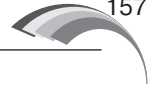
— Так вот, — говорю, — этот фильм о том, как пришельцы прилетели подарить людям возможность ощущать время не линейно, вот как мы — сейчас, потом через минуту, через час, потом ночь, потом завтра, понимаете, а объемно. То есть видеть всю свою жизнь. Вот как сейчас, в море. Вы стоите на палубе и смотрите в море — вон видите верфи? — я им тем же стаканчиком в окно. — Видите. А они ведь далеко, не рядом. Вот так люди смогут видеть события разного времени. Как вот это море и нефтяные установки. И острова.

— И Батуми... — кто это тихо подсказал, и на него зашикали, не мешай. — Дай послушать.

— Видеть свою жизнь и знать, к чему себя готовить, а может быть, и что-то изменить...

Кто-то потянулся к пульту, включил фильм «Прибытие» на начало и поставил на паузу.

— И не думайте, что это какая-то дешевая стрелялка, ужастик, сказка про



зомби и тому подобное. Для этого фильма ученые-лингвисты специально изобрели новый язык и новую письменность в виде кругов, в которые вписаны разные фигуры, слившиеся воедино. Это язык и письменность, которых до этого фильма не существовало на планете. Искусственный язык или нет — это наши с вами внуки или правнуки обнаружат тогда, когда начнутся прямые контакты с другими цивилизациями. Может такое случиться, что язык этот ученым кем-то надиктован. Потому что все, что когда-то придумали фантасты, уже сбылось. И еще, — добавила я, — если услышите слово «оружие», не верьте! Это не «оружие»! Это — инструмент, это — способность! Я говорю это для того, чтобы вам легче было смотреть этот фильм и чтобы вы так не волновались, как я, когда впервые этот фильм смотрела. И чтоб не думали, что весь мир враждебный, агрессивный и воинственный. Нет, все люди, на самом деле, хотят мира. И хотят дружить и водиться не только с себе подобными, но и не с себе подобными, например, с большими белыми кальмарами...

Я поклонилась и ушла, оставив озадаченных водителей дальних рейсов в недоумении. За моей спиной раздалась тревожная музыка и пошел фильм «Прибытие».

Во время обеда — а мы, пассажиры парома, все пообедали в большом зале, каждая компания по десять человек за своим столом — ко мне деликатно подходили «мои» дальнбойщики:

— Очень понравилось твое (мое?!) кино. Мы что-то не совсем поняли, когда эти бомбу принесли. Почему же они их спасли, а себя не спасли, ну, то есть его не спасли, ведь они знали, что эти бомбу принесут? Ты приходи и еще объясни. Нам его жалко, что он знал, но погиб все равно, хоть он и не нам подобный большой белый кальмар. Другие тоже хотят знать. Когда можешь? После обеда можешь?

СПРОСИТЕ ФЕДОРОВА

Если вернуться в самое начало нашего путешествия, скажу, что Александр Федоров сам — сам! — рассадил нас за столы в ресторане. И пока мы ужинали в первый раз на борту, он прохаживался вдоль столов, сам не садился поесть, хоть и был уставший и голодный, а ходил, взыскательно на нас поглядывая. Мне казалось, что он сейчас строго спросит как в пионерском лагере: Гончарова, ты почему не съела свой ужин, и на вечерней линейке под барабанный грохот исключит меня из пионеров. Я даже робко предположила, что нам нужно назначать дежурных по ресторану и за собой убирать и мыть посуду, такой у Федорова был грозный вид как у старшего воспитателя.

За его сильной сухой и длинной жилистой спиной прыгуна с шестом мы все чувствовали себя защищенными. Самым популярным ответом на все вопросы было: «Спроси Федорова. Он знает».

Кроме всех его талантов, умений и возможностей, он обладал удивительной способностью — немедленно появляться там, где был нужен. Согласитесь, редкое качество. Он не прятался, как бывает, прячутся руководители группы. Его легко было найти в разных местах. Причем одновременно. Он ухитрялся быть и в зале, где проходили наши встречи и вечера, и на разных палубах, и на рисепшн, и в коридорах, ведущих в каюты.

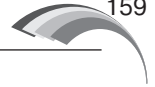
- Вы не видели Федорова?
- Видели. Вот же он идет.

И он тут же появлялся. Он совершал фантастические поступки. Например, когда мы прибыли в Батуми и рассчитывали, что каждый пойдет своей дорогой, что обедать мы будем кто где, оказалось, что Саша Федоров организовал нам и экскурсию, и праздничный, как он сказал, гала-обед с концертом батумских музыкантов и танцоров, и восхитительное выступление воды — музыкальные фонтаны. Ну я об этом еще расскажу здесь, в этом странном репортаже, который сам выбрал себе жанр, капризничает и разрастается чуть ли не в повесть.

И вот Саша Федоров. Забегая вперед, рассказываю. Когда известный литератор Ирина потеряла в Батуми свой айфон, она тут же принялась его искать. Да не телефон. Сашу! Потому что телефон был где-то в Батуми, в автобусе, а Саша, хоть и находился где-то не рядом, но, как я уже говорила, немедленно появлялся там, где он был нужен. Он не кричал, не возмущался, не разводил руками, не хватался за голову, он не закатывал глаза, не шептал проклятья, ничего, он просто сосредоточился... и сразу нашел телефон. В три часа ночи. Когда выход для пассажиров из парома уже был закрыт, когда началась погрузка вагонов в грузовые отсеки, когда автобус с абсолютно незнакомым водителем, где и находился телефон Ирины, уехал куда-то за город, когда водитель уже спал, когда... Просто Саша куда-то исчез на какое-то время и вернулся с телефоном. Скажу вам честно, я тоже прибегла к его помощи, когда мои мальчики ушли в город и долго не возвращались, и связи с ними не было, и я уже, как водится в нашей семье, тут же принялась паниковать и падать в обморок, взбивать вокруг себя воздух, превращая окружающее пространство в торнадо, поглощающее всю радость и беспечность окружающих меня добрых и сочувствующих друзей. Конечно, Федоров тут же появился. Спокойно и без крика. Он шел мне навстречу по коридору, подсвеченный со спины лампами дневного света, он шел не торопясь, но довольно уверенно, как в кино идут только спасители вселенной. Он шел, покачиваясь, с серым лицом, по всему было понятно, что он смертельно устал, причем не только от своей работы организатора путешествия, но и от нас, и лично от меня он устал и очень хочет спать. Но я только умоляюще протянула к нему руки и скроила рожу пожалостливее, как тут же произошло маленькое чудо, будто Федоров взмахнул волшебной палочкой: раздались голоса моих мальчиков, они вернулись на паром.

БАТУМИ

На горизонте — горы, яркая зелень, ах, Батуми, Батуми. Ароматный, пряный жаркий веселый Батуми. Мы оглядели друг друга, ай-ай-ай! одеты кто во что: шорты, майки, шлепанцы... И мы бегом все переодеваться в нарядное. За три минуты прошли весь пограничный контроль, таможду. Всё при открытых дверях, никакой толкучки или очередей. Девушки-таможенники и мальчики-пограничники пришли, улыбчивые, приветливые, с хорошими компьютерами, с аппаратурой: раздва, широко чистосердечно улыбаются моему внуку, говорят ему и заодно и нам: Добро пожаловать в Грузию! И еще говорят: Спасибо, что вы к нам приехали. Таможенники, а? Прошу запомнить, дорогой читатель, именно этот момент, как мы все за три минуты прошли и досмотр, и паспортный контроль, и вышли на набережную. Я ее помню, эту набережную. Была здесь лет тридцать назад. Вышла,



помню, с теплохода, а перейти дорогу не могу. Светофоры не работают, машины мчатся как дурные, стою и понимаю, что вот эта дорога, эти автомобили — всё, что я увижу и запомню о Батуми. А нет, машины вдруг в ряд остановились, оттуда принялись высовываться веселые усатые люди и размахивать руками:

— Иди, дорогая, иди.

Я пошла, торопливо перебирая ногами в сандаликах, а они мне давай гудеть и бибикать! Что так быстро идешь?! Зачем бежишь, красавица?! Иди теперь назад! Только мэд-лен-но! Пла-а-авно!

Веселый народ, батумцы. Как рассказал нам гид, здесь поздно встают — курортное место, город-праздник, зачем вскакивать ни свет ни заря, когда проснулся, тогда и проснулся, пьют кофе неторопливо, потом только начинают работать. И работают долго, не торопясь, обстоятельно, могут и до полуночи работать.

В этот раз мало что светофоры красивые, яркие, работали как часы, так еще и на всех углах стояли щеголеватые полицейские. Подтянутые, спортивные, без признаков переедания и животов, во что в Грузии, где культ еды и питья, верится с трудом. Мы все вертели головами, а у наших поэтических дев просто, как пишут в романах, сердце пропускало удары, такие они, эти грузинские полицейские красавцы, как на подбор.

Нас ожидало три автобуса. А поскольку паром опоздал часа на четыре, а то и больше, то водители и экскурсоводы просто стояли все это время на причале и, прищурившись, глядя в море, терпеливо нас ждали. И наконец увидели на горизонте паром — Е-е-е-едут! Е-е-едут! — а его издалека видно, он ведь большой, самый большой в мире, говорила же вам про Книгу Гиннеса, на всякий случай еще раз скажу.

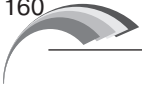
Мы сошли на берег — вся такая расхлябанная и неорганизованная братия, ну прямо двоечники переходного возраста, — попали заждавшимся нас в руки, и началось. Времени было мало, и мы проявили себя во всей красе: очумев от увиденного, мы опаздывали, теряли свои вещи и сами терялись. А грузинские наши друзья, которые нас принимали, ничему не удивлялись — вроде так и надо, спокойно и терпеливо все переносили... Думаю, мы не первые у них такие были — радостные и очарованные.

Сначала нас повезли в Украинский дом, где на пороге выстроились прелестные грузинские девочки в украинских венках, вышиванках, держа перед собой хлеб-соль на рушнике. Красота. И ведь тоже ждали не один час. Вышла вперед хозяйка Дома, по-видимому в прошлом учительница — шикарная обворожительная женщина — и зычным голосом сказала:

— Вітаємо вас... — мы заплодировали, но женщина посмотрела на нас строго. Мы смутились как школьники, а она продолжала: — Вітаємо вас на грузинській землі, шановні онуки Тараса Григоровича Шевченка!

Внуки Тараса Шевченко, большинство из Одессы, недоверчиво переглянулись: ого, а мы-то и не знали, кто тут среди нас, ого, какие люди, а ну, а ну, кто?

В Украинском доме было темновато, вероятно сэкономили свет, дети в сумерках чудесно декламировали стихи на чистом украинском языке и весело ухая, сплясали «Гопачок», это было красиво, а потом нас отпустили с миром, и мы поехали смотреть город. Я спешила, потому что на центральной площади меня ждала моя давняя подруга еще по «Живому журналу» Этери Абашидзе, которая



специально примчалась откуда-то из пригорода на своей машине увидеться.

На Европейской площади в самом центре возвышается статуя Медеи, которая в правой руке держит якобы золотое руно. А на самом деле — золоченого барашка с рогами и ножками.

Великодушный и очень снисходительный народ, эти аджарцы. Добрые уважительные люди. Поставили памятник женщине, которую многие в Грузии считают кунди́ани, то есть опасной ведьмой. Мало того, что эта, кстати, не простая девушка, а дочь колхидского царя, вступила в преступный сговор с аргонавтами, помогла их предводителю, возлюбленному своему Ясону, украсть золотое руно, так она еще с Ясоном и с этим самым руном ухитрилась бежать в Грецию, предав таким образом свою родину, Колхиду. Уж сколько народу она сама порезала — мифы читайте. Словом, очень неоднозначная была девушка. Нет, подумайте только, ведь она при этом творила чудеса: умела летать, оживлять мертвых, варить зелье для лечения болезней и избавления от болей, но...

— В честь Медеи даже называли науку медицину! — безапелляционно воскликнула прекрасная моя подруга Этери. А я ей говорю:

— Стоп-стоп, Этери дорогая, медицина — это очень хорошо, но памятник?! А как же убийства, как же предательства? — и в грузинской манере, складывая пальцы в горсточку и потрясая ими, спрашиваю: — Где совесть ее была, а, Этери?

Я так сделала, чтобы угодить Этери, потому что сами грузины очень любят спрашивать про совесть.

— Зато, — указывает Этери на красавицу с тонким станом, изящную, с длинными и сильными руками, почти парящую в воздухе в центре площади, — стоя здесь, с золотым руном в руке, она символизирует богатство и процветание моей страны, а также связь Грузии с Европейским миром.

Лицо Этери смягчилось, вообще недаром же говорят, что самые красивые женщины в мире — грузинки. Этери загрустила, опустила свои прекрасные глубокие глаза и нежно проворковала:

— Ясон. Мой Ясон... Где ты, Ясон? Предчувствия меня тревожат, о, Ясон...

На площади раскинулся диковинный фонтан, под сводами струй можно было ходить и даже не замочить ноги, так изобретательно он был устроен. И наши люди пошли играть с фонтаном, наслаждаясь мельчайшими водяными каплями, тем более в жару.

— Между нами говоря, — жарко зашептала Этери, отведя меня в сторонку, — она ведь еще та ведьма...

— Кто? — я обвела взглядом женщин, радостно прыгающих в фонтане. Все были наши, все мне знакомые, все хорошие и симпатичные.

— Кто, кто?! Медея! А кто же еще?! — возмутилась Этери, оглядываясь, как будто Медея могла ее услышать. — Злая, мстительная, летала на всем, за что рукой схватится: на кувшине, на метле, на котле. На кошке, на петухе, на волке. Страшная женщина! Брата убила своего младшего... Она его...

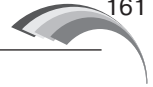
— Не рассказывай! — взвизгнула я, читавшая и не один раз «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна.

— Ладно. А Ясон ей вообще не был официальный муж!

— А кто?

— Не муж!

— Да кто же? Кто?



— Сожитель он был! А ведь обещал жениться... И знаешь, что она делает? Она, незамужняя девушка, позорит свой род, бесчестит седины отца своего и сбегает с Ясоном в Грецию. Вот скажи, что ей дома не сиделось, зачем отца не слушала?! Вот какое воспитание ей родители дали, а? И что сделали они, Медея с Ясоном?! Они корабль еще угнали, «Арго» называется. Слышала такой корабль? А в Греции Ясон на ней все-таки женился, он же слово дал, но сразу и пожалел. Она такое вытворяла в Греции, эта Медея, я не могу терпеть такое. Он даже бояться ее стал. Она людей принялась убивать почему зря. А Ясон... Ну как все эти мужчины. Она ради него кинжалом туда-сюда вокруг, а он ей изменил. С другой, помоложе. И говорит, слушай, Медея, ты уходи, я другую девушку полюбил из уважаемой семьи. Красивую, хозяйственную, домашнюю. И образование приличное у нее. И приданое,— тут Этери стала на себе кофточку поправлять, прическу, как будто эта самая девушка она и есть.— Так эта Медея знаешь что? Девушку эту погубила. Нормальная она? И семью этой девушки тоже. И заодно уже и своих детей. Не могла остановиться, сумасшедшая какая-то, слушай! Ваймэ! Потом она плюнула на все, собрала свои вещички, руно взяла золотое, свернула, упаковала и в Афины переехала. Там опять замуж вышла. За царя. Она ж владела чарами мужчин привораживать. Ну наколдовала там что-то. А царь же не дурак, это ж Афины, он ее быстро разоблачил. Говорит, слушай, Медея, ты что вытворяешь, совсем совесть потеряла, Медея?! (О, опять про совесть,— заметила я.) Ты, говорит Афинский царь, моего сына старшего погубить хочешь? Ты что думаешь, я дурак, Медея? Я тебя вообще даже уважать не хочу! И она опять сбежала. И знаешь, куда она переехала? Ты так удивись сейчас! Она в Колхиду уехала! И сына своего, которого родила от царя этого, который в Афинах, посадила на трон. Сказала: садись и сиди. Будешь теперь царь! Короче, та еще семейка была. Ни чести, ни совести! (О, опять!) Говорят, что за колдовство и за... (Этери прошептала мне слово на ухо. Очень плохое слово для грузинской девушки: «легкомыслие»). И за это она проклята была какой-то богиней греческой. Та сказала: чтоб ты, Медея, была всегда бессмертная и никогда не имела покоя! И тыфу на тебя! Плюю я тебе вслед, сказала она, и на отпечатки сандалий твоих, когда ты будешь ходить куда-нибудь по делам или просто так! Ужас, да? Но смотри, что творится. Они ж до сих пор под ее чарами все!

— Кто, Этери?

— Да мужчины же, Маруся! Знаешь такую породу «мужчины», а? Кто ж еще. Пишут о ней и книги, и пьесы. Рисуют ее. Вот — статую поставили. Поют песни, фильмы снимают, спектакли ставят в театрах... Как будто она — единственная женщина на земле осталась.

Этери возмущенно оперлась на крыло своей машины, сложила руки под грудь, насупилась и задумалась о чем-то, глядя обиженно в сторону, время от времени поглядывая на телефон, который постоянно держала в руке. Я осторожно спросила, просто чтобы прервать это загадочное молчание:

— Скажи, Этери, а сейчас девочек так называют в Грузии? Медея. А?

И тут я вдруг сразу поняла, что происходит с подружкой моей. Во-первых, я живу не первый день. Во-вторых, у меня отличная, практически звериная интуиция.

— Конечно, называют девочек! Конечно! И мальчиков так называют!

— Мальчиков? Медея?

— Ясон! Ясон же! — вскричала вдруг Этери. И с досадой зашвырнула телефон в свою сумку, свой тихий, практически, немой телефон. Постояла молча, покусывая от досады суставчик указательного пальца, обняла меня.

— Побудь еще со мной, Этеричка! — просила ее.

— Нет! — всхлипнула, быстро попрощалась и уехала.

«Ясон, мой Ясон, где ты, Ясон? Предчувствия меня тревожат, о, Ясон...»

Я посмотрела вслед ее машине и перевела взгляд на Медею. Кстати, руно — действительно позолоченное. У нас бы нашли способ украсть его еще раз. Но уже у Медеи. Хотя кто знает. Медея-то бессмертная. Интересный сюжет вырисовывается для мистического детектива. Чур, мой!

Ах, Батуми — город любви, город неги, город страсти. Один из главных его символов — Али и Нино. Я вам одну вещь скажу, мужчины, только вы не обижайтесь: такой живой, нервный, такой чувственный и трепетный символ любви могла создать только женщина. Только женщина Тамара Квеситадзе. Две фигуры — мужчина и женщина. И не надо мне вот это вот — символизирует дружбу двух народов, двух стран... Ах, оставьте, пожалуйста... Тут два человека из-за разных религий не могут найти общий язык. Тут двое любящих, мужчина и женщина, не могут по-настоящему соединиться. Какие народы, я вас умоляю!

Словом так, есть роман «Али и Нино» азербайджанского писателя Курбана Саида об азербайджанском парне Али хане Ширваншире, который полюбил грузинскую принцессу Нино Кипиани. К слову, имя автора романа до сих пор под сомнением. По некоторым версиям — автор вообще женщина. (А я что говорила?!) Ну я сейчас не буду расследовать загадки романа, это надо всю жизнь посвятить, как Гилилов — расследованию авторства произведений Шекспира. Так вот мусульманин Али и христианка Нино. Преодолевая сопротивление родных, как пишется в аннотации, эти двое поженились, но Али погибает в финале и оставляет любимую в одиночестве с ребенком на руках.

Слушайте, я хочу вас спросить, вот когда мужчине нельзя жениться на женщине по религиозным соображениям, те люди, которые им запрещают, чем мотивируют? Кто с кем не может договориться, спрашиваю я вас, если Всевышний у нас всех один, а? Он сам с собой не может договориться? Вряд ли. Или это бородатые насупленные старики и мрачные землистые бабки — и те, и другие, считают себя голосом Всевышнего (какая гордыня, а?! — устраивают разборки, кто с какого конца на завтрак яйцо разбивает, с острого или тупого?)

Знакомая моя Оксана, которая ходила с детьми в Украинский Греко-Католический храм, однажды гуляла с маленькой дочкой и проходила мимо церкви Московского патриархата. Дочка ее, кстати, Ева, попросила зайти: там как раз, как поется в старинной песне, у церкви стояла карета, там пышная свадьба была, все гости нарядно одеты, невеста всех краше была... Венчание, поют красиво... Так старухи, что там за чем-то шныряли между гостями, старухи в черных платках и в серых халатах, заметили Оксану, стоявшую сбоку с маленькой дочкой Евой на руках, и выперли ее не только из церкви, но даже с церковного двора, мол, знаем мы, ты не из нашего патриархата... Это чистая правда, я вам говорю. Тут бы хорошо в эту сцену посадить где-нибудь рядом с храмом человека с добрыми и мудрыми глазами, человека, который спрашивает плачущую обиженную Оксану:

— Что? Не пускают?

— Не пускают...



— Вот и меня не пускают...— сказал бы человек, погладил бы Евочку по голове и ушел...в город Батуми... по морю аки по суху.

Вернемся к фигурам Али и Нино. Они медленно движутся друг к другу. И приходит момент, когда она робко заглядывает ему в лицо, он ее целует, а потом она кладет голову ему на плечо где-то в районе шеи. И в этот момент они такие живые, что видно, как они взволнованно дышат. Это так красиво и трогательно, дамы и господа, что описывать нет никаких сил... К тому же, сразу же после объятий, эти двое медленно расстаются. Фигуры расходятся, подчиненные какому-то невидимому мотору или, может быть, обстоятельствам, их разлучающим. Самое время заказывать кофе в ближайшей кофейне, большую чашку сладкого кофе с корицей и перцем. Сначала приятная сладость и мягкость, а потом — горечь и печаль.

Ах, Батуми, город беспечности, фортуны, радости и чудес... Раз в какое-то время фонтан у набережной перестает лить воду, и вдруг ненадолго включается подача чачи! Фонтан с чачей! Никто никогда не знает, в котором часу будет литься чача. Но все равно, именно к тому моменту, когда это вдруг происходит, у фонтана уже стоит толпа любителей горячительного.

— Интересно, как они узнают, когда будет литься не вода, а чача? — интересуется кто-то из наших.

— Это легко. Посылают кого-нибудь к технику, несут подарок. Говорят ему, слушай, дорогой, включи чачу в три часа дня, гости у меня, мы гулять выйдем... — отвечает гид Дато. — А технику что, жалко, что ли?! Тем более, если гости. Он включает.

— А какой несут подарок?

— Ну... — Дато почесывает затылок, — одну-две бутылки...

— Две бутылки чего? — мы настораживаемся.

— Чачи.

* * *

В тихом кафе — восхитительное красное вино и очень настоящее вкусное, практически как итальянское, шоколадное мороженое.

— Смотри, — говорят мне, — вон пианино из твоего рассказа.

И правда, в центре кафе «Аджария» — старое раскрашенное пианино. Только пианино одна предприимчивая дама выкрасила краской, которой красят чугунные ворота, а это фортепьяно — ярко украшено отдаленно знакомым городским пейзажем — а-а, так это же Батуми. Вот дома на набережной, вот Украинский дом, вот площадь Европы, вот загс и фонтаны, вот скульптуры в парке, вот белье, развешанное над дорогой в центре города...

— Это мой родной город нарисован, — с гордостью объясняет хозяйка кафе. — Я из Одессы.

* * *

На столике кафе кто-то оставил русско-грузинский разговорник, заложенный салфеткой на странице, где ручкой подчеркнуто:

«Разрешите познакомиться. Неба мибодзет гагецнот. Ме вар...

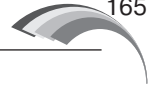
Будьте знакомы. Ицнобдет ертманетс.
 Познакомьтесь с моим другом. Гаицанит чеми мегобари.
 Мы с ним старые друзья. Чвен дзвели мегобреби варт.
 Прошу пожаловать сегодня к нам в гости на обед, на ужин... Гтховт чемтан
 мобрдзандет стумрад садилзе, вахшамзе...
 Спасибо, с большим удовольствием! Гмадлобт, диди сиаомвнебит!
 Войдите! Шемобрдзандит!
 Садитесь! Дабрдзандит!
 Попробуйте, пожалуйста. Мииртвит (гасинджет) ту шеидзлеба.
 Будьте как дома! Тави исе игрдзенит, рогорц сакутар сахлши!
 Наши мысли совпадают. Чвени азреби ертманетс емтхвева».

* * *

Стоит наша группа на улице, любуется городом. Регина, заядлая курильщица, говорит:
 — Некуда окуроч выбросить... Вот куда выбросить?
 К ней подскакивает какой-то местный парень, говорит:
 — Вот сюда, калбатано! — указывает на мостовую.— А я так сделаю,— крутит
 стопой, как будто тушит окуроч.— А потом возьму рукой,— показывает, как
 на ладони понесет торжественно,— и туда положу! — тыкает пальцем в мусорную
 корзину на тротуаре.

* * *

А потом потерялся Менделеич. Мы его забыли и ушли. Как мы могли?!
 Менделеич — это для очень многих одесситов, причем одесситов не только из Одессы — центр вселенной. Менделеич — лицо Одессы, доброе, гостеприимное, улыбочное лицо в ямочках. Внешне он похож на Оле-Лукойе, невысокий, плотненький, уютный. Короче, выглядит он так, что с первой секунды знакомства проникаешься к нему доверием. Мужчины тут же приобнимают его за плечи, и так с ним ходят в обнимку, женщины наперегонки тянутся его целовать, а дети — забираются к нему на колени. Менделеич — вице-директор Всемирного клуба одесситов. Кроме всяких разных проектов, дел, кроме сайта Всемирного клуба одесситов, кроме самого клуба, он создал карту мира, скрупулезно выставляя на ней кружки в тех местах, где живут одесситы. А одесситы живут везде, даже в Африке, а если быть точной, то в Кении. Одесситы. В Кении! И там тоже есть филиал Всемирного клуба одесситов. Представляете, что это была за работа, во-первых — со всеми филиалами мира связываться, знакомиться, помогать им, а потом ползать по карте и отмечать тщательно всех-всех, больших и маленьких, стареньких и молодых, не забыть никого из наших. И как-то в его день рождения я пришла в клуб, потому что знаю, что Наташа, жена Менделеича, обязательно будет в этот день угощать всех мороженым со сладкой мелкой, нагретой солнцем, домашней, лучшей в Одессе, да что в Одессе, бери выше и шире, лучшей в мире клубникой. Конечно, горько усмехаясь, говорю вам, я знала об этом не одна. Набежали отовсюду: и чиновники из мэрии, из администрации и нормальные люди тоже набежали, все любят мороженое



с домашней лучшей в мире клубникой. Ой, да что клубника! Все любят Менделевича. И вот именно тогда, указывая на карту за моей спиной, я назвала ее Таблицей Менделевича. И, конечно, название ушло в народ. И все забыли, что автор названия карты — я. И теперь я каждый раз, надо-не надо — пытаюсь это подчеркнуть, чтобы хоть каким-то боком примазаться к славе Менделевича. Вот и сейчас!..

И вот такого человека мы забыли рядом с Батумским загсом. И ничего же не предвещало. Мы вышли из автобуса: посмотрите направо — мы ахаем, красота неопишная! Посмотрите налево — а там загс и невесты. Мы засмотрелись, залюбовались. Потом шли-шли. Увидели рядом с кафе большого коня. Не живого — декоративного, из папье-маше. Мощный круп. Гордая шея. И хвост из мочалки. Огромный такой коняга. Ну мы же взрослые люди, среди нас были маститые писатели, научные работники. Мы, конечно, сразу стали фантазировать, как мы этого коня будем воровать и грузить на наш паром. И ведь ни капли цыганской крови ни в ком! А гляди ж ты, повело нас... Наверное, воздух такой батумский. Воздух свободы... Ну вот, потом нас водили мимо отреставрированных зданий и альтанок с белыми стройными колоннами, как будто из послевоенного кино. Только не хватало джаза того времени и людей в белых шляпах с бахромой. И чтобы брюки были у мужчин белые широкие. Это мы тоже обсудили. А тут и роща бамбуковая, удивительная. Мы уже к тому времени все ноги себе обтоптали до коренных зубов, так утомились ходить. А полицейские, приветливые красавцы, мол, а то видели? а это видели? Один показывает — вон смотрите, это очень хороший ресторан, но о-о-очень дорогой, шикарный. А тут как специально, пока полицейский машет рукой и рассказывает, что там готовят, из двери этого о-о-очень дорогого ресторана выбегает немолодой человек в фартуке, белой рубашке, застегнутой под горло, в нарукавниках и шваброй гонит из ресторана крысу. И кричит: «Сколько говорить, не ходи сюда!» Та, оглядываясь, бежит по ступенькам, и к ней присоединяется ожидающая у входа желтая собака. Судя по тому, что обе — и крыса, и собака — ушли вместе, в одну сторону, не торопясь и переглядываясь, мы поняли, что они, эти двое, банда и дружбаны, что вместе ходили на дело и не в первый раз, а дело опять прогорело, ну ничего, завтра опять пойдем, все-таки шикарный ресторан.

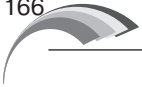
Ну вот, исходили мы все вокруг, пришли к автобусам, гиды нам говорят, посмотрите, кто с кем сидел — никого не потеряли? И мы вдруг поняли, что самого дорогого и значительного в нашей жизни человека нет. Мы как заголосили, как заквохтали — Менделевич, где же наш Менделевич! И давай руки заламывать, что мы наделали, что натворили!

Водитель автобуса, увидев, как мы на себе волосы рвем и как все расстроены и растеряны, прыгнул за руль и выкрикнул командным голосом:

— Поехали его искать. В Батуми еще никто не пропадал! Кто знает этого человека в лицо?!

— Я! — закричали все.

Мы набились в автобус и поехали искать Менделевича. Странная картина представилась беспечным жителям и гостям города. Медленно по улице ехал автобус, а из его окон справа и слева чуть не по пояс высунулись люди, которые сосредоточенно оглядывали не достопримечательности, а людей.



— Вот он! — вдруг хором закричали торчавшие в окнах слева, да так, что содрогнулся весь Батуми от этого радостного вопля.— Вот он стоит с фотоаппаратом на груди! Ур-ра!

Мы нашли Менделевича на том же самом месте, откуда началась наша пешая прогулка. Ну там, где загс и невесты. Он был, конечно, огорчен и обижен и даже, как обычно, не улыбался. Минуты три. Наш дорогой, дорогой Менделевич...

* * *

А потом нас повезли куда-то на заявленный заранее гала-ужин. Почему гала? Потому что все в Батуми — гала. Атмосфера, погода, море, люди, город.

Зачем я буду вас тут дразнить и рассказывать, что подавали на столы и как нас принимали («Гости от Господа пришли,— говорили они.— Мы рады. Спасибо Господу, что прислал нам вас»), как пели голосами, заплетающими диковинные узоры, парни в маленьком, но невероятном хоре, какие танцы мы видели: боевые и свадебные. Боевые — с кинжалами, свадебные — с девушками. Какая талия у девушки-невесты, пальцами одной ладони мужской обхватить можно. Но у девушки такой взгляд, что никто и не посмеет. Не буду еще больше вас дразнить, рассказывая, на каких машинах танцоры и певцы покидали этот ресторан. Расскажу только одно.

Когда мы уже вышли из ресторана, с удивлением и восхищением рассматривая припаркованные новенькие лаковые авто, вдруг предстала перед нами изумительная по своей красоте картина. Под ярким уличным фонарем стояла наша сероглазая журналистка Нелли из Киева, эфемерная, хрупкая, невесомая блондинка с длинными пушистыми волнистыми волосами. Над ее макушкой в свете фонаря порхали и плясали южные бабочки. А вокруг Нелли, скрестив руки, кто на груди, а кто на декоративном (а там кто знает?) кинжале своего национального костюма чоха, застыли грузинские парни, те самые артисты с ровными спинами и гордыми царскими головами на высоких шеях. Они замерли и стояли неподвижно, крепко упершись в землю ногами в легких мягких сапожках, стояли, как веками стоят горы вокруг Батуми, стояли и глядели восхищенно: ветерок и свет всюю играли с длинными русыми волосами Нелли, мальчики ахали, вайкали и вздыхали: «Никогда такой красоты не видел, мамой клянусь!»

— Что они тебе говорили,— спрашивали мы Нелли в автобусе.

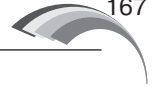
— Ничего... Они... они... они безмолвствовали...

— Не звали куда?

— Нет. Стояли тихо, вздыхали, и всё.

* * *

Сияла огнями набережная, охраняемая или все-таки охраняющая драгоценные пальмы, привезенные на баржах, подаренные президенту Саакашвили арабским шейхом. Батуми вообще называют городом Саакашвили. Михаил Николаевич столько здесь понастроил, столько всего сделал и напридумал, что люди, умеющие быть благодарными, помнят его и всем гостям рассказывают, чья это заслуга, что в городе сейчас так хорошо и, главное, спокойно.



ДОРОГА ДОМОЙ И ТРЕХГЛАВЫЙ ДРАКОН

Когда Батуми скрылся вдаль, когда мы вышли в открытое море, вдруг как-то все вместе одновременно затосковали по дому и стали интересоваться, а сколько нам еще плыть: день или два.

А нам троим, между прочим, было очень даже хорошо. Мы собирались по утрам, садились на верхней палубе вокруг маленького столика, цедили белое вино или пили кофе, да и разговаривали обо всем на свете, главное, чтобы про интересное. Каждый, кто проходил мимо, завистливо косил взглядом и прислушивался. Но нет уж — столик был на троих, у нас были свои секреты, мы сводили головы к центру стола и понижали голоса, и нас за это прозвали трехглавым драконом. Три головы — Седая, Рыжая и С-супругой. Седая голова — это был Андрей Дмитриев, Рыжая голова — была моя голова цвета капучино, как сказала мне мастер в салоне красоты, а голова С-супругой — это был Валерий Хаит, потому что его супруга Юля по ночам читала, поэтому присоединялась к нам позже, для нее в моем кресле на двоих было резервное место. Но потом и мы тоже заскучали по дому, по своим разной срочности делам: у Дмитриева — телепроект, у Хаита — очередной номер журнала, а я должна была дописывать книгу и подумывала, что хорошо бы закончить ее описанием этого нашего путешествия на пароме «Грейсфвальд», самом большом пароме в мире. Ну Гиннесс, вы знаете...

— Все молчите! Я понял! Она все запоминает и записывает. Она нас всех оболжет... — предупредил за обедом Дмитриев сидящих за нашим столом.

— Кто бы сомневался! — тут же подхватил мой редактор.

— Да я! — возмущенно вскричала я. — Да я вас... Вас всех... Я вас всех прославлю! В веках! — воскликнула я.

— Ну хорошо. Ладно, — согласились все. — Ославь, конечно. В веках.

* * *

— Скажите, господин капитан, — обратился кто-то к капитану, — а нельзя нам добраться в Черноморск побыстрее?

Капитан осмотрел оценивающе нашу обленившуюся компанию, развел руками и ответил:

— Увы... Столько весел у меня нету.

* * *

Помните, я просила вас, дорогой читатель, обратить внимание, как мы проходили таможенный досмотр и границу в Грузии? При открытой двери, быстро, легко, четыре минуты и мы на берегу, помните?

Когда мы пришли в Черноморск, склянки на борту пробили полночь. Полночь! И все превратилось в... Ой, я не это хотела сказать! Но люди очень нервничали, особенно водители дальних рейсов. Никто никому не хотел уступать. Мы заходили по одному в помещение, где проходил чек-ин, все это длилось долго. Нас выручил мой внук — пропустили первыми, потому что мы были с ребенком.

— А кто ребенок? Где? — спросил наш мальчик.

Но мы шикнули на него и прошли паспортный контроль. Однако в целом, вся эта процедура шла около двух часов, а то и больше. Мы бродили по лабиринтам таможни уже на берегу, наши вещи просвечивали, какой-то бес занес меня, измотанную, в тупик. Ну, ночью-то чего не покажется. Вот мне и показалось, что таможенник махнул рукой туда, я и побрела. Ввалилась в помещение, где горела настольная лампа, прикрытая газетой, на кровати, поджав под себя колени и сложив ладошки под щеку, похрапывал какой-то дяденька... В телевизоре кто-то металлическим голосом произносил с угрозой: «Сегодня не твой день, Джеймс Бонд». Почему в два часа ночи мне до чертиков захотелось узнать, как выглядит в этой серии девушка Бонда, я не знаю. Я уставилась на экран и замерла. Но кто-то выдернул меня за руку из странного заколдованного пространства.

— Да не сюда! — вытащили меня за шкурку мои дети. И мы пошли к выходу.

Цикады воспевали начало осени. На траве рядом с таможней в пледах и одеялах спали то ли корейцы, то ли вьетнамцы, некоторые даже с детьми. Дорога из грузового порта была разбитая, в ямах и колдобинах. Мы были уставшие, сонные, и казалось нам, что все путешествие нам приснилось. А в реальности был только один день: когда мы стояли в очереди на паром, а потом в очереди с парома. Но наш мальчик, мой внук, прикорнувший на плече своего отца, вдруг поднял голову, обернулся и хрипло сонно прошептал:

— Смотрите! Смотрите, какой он красивый!

— Кто? — сонно отозвались мы.

— Наш «Грейсфвальд», — ответил ребенок, — Как здорово жить на пароме «Грейсфвальд». И как фанта... фастан... фан-гас-ти-чес-ки паром плывет, плывет и плывет всегда.

Мальчик помолчал и спросил:

— А мы поплывем еще раз?

— Мы поплывем? — уставился на меня сын мой, отец моего внука.

— Ну не знаю... — пожала я плечами.

— Спроси Федорова, — хором посоветовали сын и внук. — Федорова спроси. Он знает...





Владимир ЗВИНЯЦКОВСКИЙ

Всех примирить, спасти и осчастливить: Иван Тургенев. Уже 200 лет

(Вместо доклада на конференции к 200-летию И.С.Тургенева в Санкт-Петербургском университете, на которую я не поехал)

1. РОМАНТИКИ НЕ УМИРАЮТ

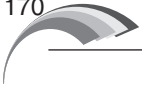
Если мы признаем, что романтизм есть не что иное, как воплощение извечной жажды окончательной истины человеческого бытия и полного взаимопонимания между людьми, то не сможем не признать и другого: что в этом смысле каждый человек в душе романтик.

Кто не хочет повсюду и всегда быть уверенным, точно знать, что живет не зря? Кто не хочет, чтобы его заветные желания и стремления были поняты и высоко ценимы как минимум самыми близкими ему людьми, а в идеале благодарным ему (за те же самые желания и стремления) человечеством?..

В искусстве первой половины XIX века, в силу сложившихся исторических обстоятельств, все эти скрытые стремления каждой человеческой души вырвались наружу. Особенно это можно сказать о творчестве таких «чистых» лириков-романтиков, как Байрон, Жуковский или Лермонтов. Однако культура романтической эпохи складывалась также и из моментов испытания романтика диалогом с современностью (Чацкий в «Горе от ума»), и из попыток системно-философского (Гегель) и стихийно-философского (Пушкин) диалектического осмысления конфликта романтического идеала с реальной действительностью.

В изучении философии, в выработке философского отношения к действительности видели выход многие представители последнего молодого поколения эпохи

Владимир Звinyaцковский — доктор филологических наук, зам. директора Частной школы «Афины» (Киев), профессор Мариупольского государственного университета.



романтизма. В Московском университете в первой половине 1830-х годов — то есть в то самое время, когда там учились и Лермонтов, и Тургенев, — даже существовал кружок «любомудров», что в обратном переводе на греческий значит «философов». Вспомним кстати, что Иван Сергеевич Тургенев был всего лишь на четыре года моложе Михаила Юрьевича Лермонтова. Даже их учеба в Московском университете проходила с небольшой разницей во времени, а затем в одно и то же время они жили в Петербурге. Но в 1837 году пути их разошлись. Лермонтов по известной нам причине отправился на Кавказ. А Тургенев окончил Петербургский университет и, избрав своей специальностью философию, решил продолжить образование в прославленном Гегелем Берлинском университете. Хотя сам Гегель умер еще в 1831 году, в то время в Берлине лекции по философии читали его ученики и последователи. И Тургенев, как мы увидим далее, в совершенстве овладел методом диалектического мышления.

Кроме того, те четыре года, которые Тургенев был немецким студентом, ввели его в свободный заманчивый мир, непохожий на казенную рутину русских университетов. Гордые немецкие студенты с давних пор считали себя, по библейской аналогии, «избранным народом», а всех горожан-нестудентов (по той же аналогии) называли немецким словом *Philister* — «филистимлянин» («избранный народ» Библии, придя на «обетованную землю», истребил живущее на ней племя филистимлян). Отсюда слово «филистер» приобрело теперь уже новое, самостоятельное значение и во всех европейских языках стало обозначать «ограниченного человека», «обывателя», «мещанина». Эрнст-Теодор-Амадей Гофман навечно закрепил такое словоупотребление и противопоставление в литературе («Крошка Цахес по прозвищу Циннобер»).

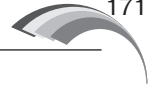
Живя в Германии, Тургенев проникся легендами, которые немецкие поэты брали из фольклора, но чаще придумывали сами. Один из них, Клеменс Брентано, написал балладу «Лорелея» — о прекрасной, но жестокой нимфе, которая якобы живет на Рейне и своими песнями заманивает корабли на скалы. До сих пор часто можно услышать, что тема этой баллады заимствована из немецкого фольклора. Туристам, путешествующим по Рейну, показывают скалу Лорелеи, а некоторым из них даже удается услышать волшебное эхо, живущее в этой скале. Тем не менее, историю про Лорелею от начала до конца придумал сам Брентано...

Летом 1857 года уже почти сорокалетний Тургенев жил в немецком городе Зинциге на берегу Рейна. Не только романтические впечатления, но и воспоминания двадцатилетней давности с новой силой нахлынули на модного и эпатажного русского писателя — автора невыносимо трагичной для нынешних школьников «Муму» и невыносимо скучных для них же «Записок охотника» — а ведь в 1850-е именно эти произведения заставили тысячи образованных людей империи срочно искать выход из жизни в стране крепостного права и сильно способствовали отмене позорного рабства (как «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, в то же самое время, в США).

Как бы то ни было, в Германии Тургеневу, видимо, очень хотелось (но, как мы сейчас увидим, не получилось) отдохнуть от остросоциальной проблематики. Романтический образ рейнской Лорелеи явился его воображению — и вдруг заговорил по-русски. Оказалось, с «романтическими струнами» далекой юности не просто не покончено — но поставленные романтизмом «вечные вопросы» до сих пор не решены. А пока они — «вечные», пока они — не решены, невозможно дальше жить и дальше мыслить...

Так летом на берегу Рейна была начата и затем в ноябре того же года в Риме закончена повесть «Ася». Ее сюжет и составили воспоминания «бывшего романтика», скрывшегося за инициалами Н. Н.

Н. Н. рассказывает о том, как «лет двадцать тому назад проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна». Однажды, сидя у реки, он услышал с противоположного берега звуки вальса — это веселились немецкие студенты. «Уж



не пойти ли к ним?» — спрашивал себя Н. Н., и эта мысль тургеневского героя между прочим свидетельствует о том, что он сам недавно закончил один из немецких университетов. Только в этом случае он мог быть принят на «коммерш» (студенческое празднество) как свой, тем более, что ритуалом подобных празднеств предусматривалось посещение их ветеранами.

Однако в тот самый момент, когда Н. Н. стал подумывать, не присоединиться ли ему к студентам, и произошло его знакомство с главной героиней той истории, которую он хочет нам поведать. Читая и перечитывая его исповедь, читатель невольно пытается понять, могла ли эта история закончиться иначе, чем она на самом деле закончилась в жизни Н. Н. и героини его странного романа.

2. СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS

Подчеркивая, что действие повести происходит лет за двадцать до ее написания, Тургенев четко привязывает его к эпохе романтизма и дает понять, что главный вопрос романтизма — вопрос понимания между людьми, вопрос о том, «как сердцу выказать себя», — так и остался нерешенным.

Надеялся ли автор повести, приступая к работе над ней, решить этот вопрос? И если да, то удалось ли это ему? Попробуем разобраться.

Ася — типично романтическая героиня. Ее происхождение и судьба необычны, поведение загадочно, облик изменчив. То она напоминает ребенка, ее волосы острижены и причесаны, как у мальчика. То она — таинственная Лорелея, очаровывающая странным смехом, диким, загадочным видом. Вот она берется разыгрывать «роль приличной и благовоспитанной барышни», затем превращается в простую русскую девушку, похожую на горничную. «Что за хамелеон эта девушка!» — восклицает Н. Н. Ася примеряет на себя различные маски и хочет казаться не тем, кто она на самом деле.

Но кто она на самом деле? Вот в чем, пожалуй, главный для Тургенева вопрос. Ведь прежде чем сердцу выказать себя — сердце должно себя понять. И так на новом «диалектическом витке» Тургенев возвращает нас к карамзинскому вопросу: «Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце?»

Но только ситуация «Бедной Лизы» в повести Тургенева вывернута наизнанку. «Вы имеете дело с честным человеком — да, с честным человеком», — повторяет Н. Н. Он даже смеет ее поучать: «Вы не дали развиваться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...»

Чем же виновата Ася? Перед ним — ровно ничем. Она виновата лишь сама перед собой: заигралась, слишком затянула поиск своего подлинного «я» путем «смены ролей», которая может быть еще продуктивна в 14–15 лет (для чего мы, собственно, и под этим углом зрения изучаем в школе литературу). Но к Асиным семнадцати годам, когда судьба вдруг может потребовать решения от взрослой личности, эта личность должна хотя бы сложиться. Иначе откуда уверенность, что и любовь ее — не игра?

«— И вам не скучно было без нас? — начала Ася.

— А вам без меня было скучно? — спросил я».

Н. Н., будучи на восемь лет старше Аси, забавляется ее смущением, ее неумением сделать то, что умеют более взрослые, более светские барышни — вложить подтекст, то есть не прямое высказывание, в простой вопрос, который должен многое сказать молодому человеку о том, как девушка к нему относится. У Аси и подтекст выходит слишком явным и, как все у нее, — грациозно-неуклюжим:

«Ася взглянула на меня сбоку.

— Да, — отвечала она. — Хорошо в горах? — продолжала она тотчас, — они

высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

— Вольно ж вам было уходить, — заметил я.

— Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, — прибавила она с доверчивой лаской в голосе, — вы сегодня были сердиты.

— Я?

— Вы.

— Отчего же, помилуйте...

— Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

— И я рад, что вернулся, — промолвил я».

Н. Н. чувствует себя уверенно — а чувство к нему Аси (столь явно выраженное в «подтексте» ее слов, что он, конечно, о нем уже догадался) немножко его забавляет и, конечно, немножко ему льстит — и ему не нужно в разговоре с ней прибегать ни к какому подтексту.

Но вот постепенно Ася становится по-настоящему ему дорога — и в конце концов они круто меняются ролями:

«— Анна Николаевна, — сказал я. Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня — и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони».

Никогда прежде он не называл ее Анной Николаевной и сам еще несколько дней тому назад счел бы глупым подобное серьезное обращение к этой ребячливой семнадцатилетней девушке. Так что само это обращение по имени-отчеству содержит подтекст: отношение Н. Н. к Асе за эти несколько дней в корне переменяется, он воспринимает ее всерьез и всерьез думает о своей роли в ее жизни.

А вот для Аси «время подтекста» ушло без возврата. Ей теперь нужно все высказать ему прямо — или не высказать ничего:

«— Я желала... — начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, — я хотела... Нет, не могу, — проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

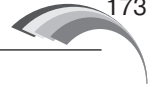
Я сел подле нее.

— Анна Николаевна, — повторил я и тоже не мог ничего прибавить. Настало молчание».

Вот мы и вернулись — и снова на новом «диалектическом витке» — к романтической ситуации, к тютчевскому *Silentium*.

Тургенев часто повторял, что есть такие чувства, которые слово передать бесильно, и только музыка способна их воплотить. В своей повести он часто прибегает к живописно-музыкальным образам. Вот Н. Н., переполненный новым для него чувством к Асе, переправляется через Рейн: «Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса» (композитор Йозеф Ланнер был одним из создателей венского вальса как нового явления в музыкальной жизни Европы). Затем Н. Н. будет танцевать с Асей вальс под аккомпанемент Гагина, и Асе покажется, что они летают и у них «выросли крылья». Особый настрой создает и романс М. И. Глинки на слова А. С. Пушкина «Я здесь, Инезилья»: Гагин поет его под окном Н. Н., словно напоминая повествователю об эпохе рыцарей и великих чувств, ведь он знает, что его сестре «нужен герой, необыкновенный человек»...

«Тургеневских девушек», ждущих своего героя, способных на сильные чувства, на самоотверженный поступок, придумал сам Тургенев. Он, как сказал его младший современник Лев Толстой, «сделал великое дело тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть, таковых, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это верно; я сам наблюдал потом тургеневских женщин



в жизни». Столь велика была в них потребность, что Тургенев стал самым читаемым писателем 50–60-х годов XIX века, и не только в России: он стал первым русским писателем, популярным и даже модным за пределами России. А многочисленные героини его повестей и романов явились примерами для подражания еще более многочисленных русских девушек. И если каждой из них был «нужен герой, необыкновенный человек», то русским юношам поневоле приходилось становиться героями и необыкновенными людьми. Не потому ли начиная с 60-х годов и до самого конца XIX века Россия не проиграла ни одной войны, а русские наука, литература и искусство вышли на передовые позиции в современном мире?

Вот только наш Н. Н. ни героем, ни необыкновенным человеком не оказался — и имеет искренность и мужество сам в этом признаться. Разве не заслуживает он нашего читательского снисхождения? И разве читатель не должен стать тем самым «другим», на котором наконец прервется цепочка непонимания: «Другому как понять тебя?»? Или он, читатель, должен стать суровым мстителем за романтическое, так и не понятое сердце Аси?..

Одним из читателей, взявшим на себя роль такого «мстителя», стал будущий автор скандального романа «Что делать?» Николай Чернышевский, откликнувшийся на публикацию «Аси» статьей «Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».

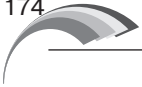
Почему Н. Н. не понял чувства Аси? А потому, объясняет критик, что он вообще «не привык понимать ничего великого и живого», ибо «слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык». Ведь в нашей стране, говорит Чернышевский, негде привыкнуть к великим делам и великой ответственности: ты человек подневольный, за тебя все решает власть («Ах, какой пассаж!» — сказала бы гоголевская героиня). «Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или по крайней мере не становится мужчиной благородного характера». Неблагородно и безнравственно избегать ответственности за свою собственную судьбу и судьбу девушки, с которой тебя связало чувство.

Казалось бы, что можно на это возразить? Разве что одно: повесть Тургенева не совсем об этом. Именно в таком ключе Чернышевскому ответил Павел Анненков статьей «Литературный тип слабого человека. По поводу тургеневской «Аси».

Конечно, писал Анненков, слабый человек — герой далеко не безупречный, но уж вовсе не безнравственный, а, наоборот, «единственный нравственный тип как в современной нам жизни, так и в отражении ее — текущей литературе». В отличие от сильных, ни в чем не сомневающих героев, которые легко дают обещания и берут на себя ответственность, а не справившись — разводят руками, люди, сознающие свою «слабость», быть может, на самом деле ни в чем не уступают этим «сильным», но превосходят их в способности реально оценить свои силы. Н. Н. ведь не уверен в чувствах Аси, которая сегодня одна, а завтра другая — как же он может взять на себя ответственность за эту девушку, связать с ней свою жизнь?..

В русской культурной традиции понятие о нравственном человеке далеко не исчерпывается только тем, что он морален (то есть не аморален). Ключевое слово здесь не мораль, а именно нравственность. Соответствующее определение морали через нравственность находим в толковом словаре В. И. Даля: «Мораль — нравоученье, нравственное ученье, правила для воли, совести человека». А нравственность или нравственное тот же словарь определяет так: «Относящееся к одной половине духовного быта, противоположной умственному, но составляющее общее с ним духовное начало: к умственному относятся истина и ложь; к нравственному — добро и зло».

Могут ли добро и зло зависеть от того, что кто-то считает себя сильным или слабым, способным или не способным на сильное чувство? Все-таки целый век



развития русской литературы о любви не прошел даром: карамзинский Эраст не знал своего сердца — тургеневский Н. Н. свое сердце слишком хорошо знает и потому порывов и позывов его не слушает. «Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду», — такой «романтический» вариант развития сюжета быть может и приняла бы Ася (уподобившись вовсе не роковой Лорелее, а, по русской традиции, бедной Лизе), но решительно отвергает сильно повзрослевший «романтический» герой Н. Н.

Обсуждая его как «тип слабого человека», русская критика второй половины 1850-х годов имела в виду «тип», конечно, не в классицистическом смысле «типов такой-то страсти, такого-то порока», а в реально-историческом смысле принадлежности к тому или иному общественному классу, положению и состоянию. И даже романтическую героиню, «сильную» своей «страстью», Тургенев изобразил вовсе не так, как изобразил бы ее романтик: она для него не столько объект любования, сколько нерешенная проблема. Словом, перед нами уже не романтическое, а реалистическое произведение (вот он, этот простой реальный мостик, которого совсем не там ищут школьные программы и учителя), которое, вместе с яркой полемикой о нем в современной ему критике, свидетельствовало о том, что реализм как художественный метод стал к тому времени насущным и востребованным способом постановки и решения важных общественных и нравственных проблем.

Расцвет реалистической литературы в свою очередь привел к расцвету журнальной критики и публицистики. Отныне (то есть после «Аси» и статей Чернышевского и Анненкова) читатели буквально рвали из рук тот или иной литературный журнал не только для того, чтобы прочесть там, например, новый роман Тургенева, но и для того, чтобы уже в ближайшем номере другого журнала прочесть оперативный «ответ» на этот роман, например, того же Чернышевского. В этих «ответах» оттачивалось мастерство постановки и свободного, зачастую парадоксального изложения вопросов, возникающих при чтении литературных произведений и (или) наблюдении над какими-либо актуальными, важными жизненными явлениями.

При этом литературный персонаж — «родней родного брата». Мы неотступно думаем о его проблемах: ведь автор так и не предложил нам легких или хотя бы приемлемых решений. Почему и по прошествии двадцати лет Н. Н. вспоминает о своем чувстве к Асе как о важном (быть может, единственно важном) событии своей жизни? Почему личная жизнь Н. Н. не сложилась, и он доживает свои «скучные годы» в одиночестве?

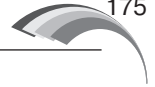
3. В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА

*Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!*

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»

Соглашаясь со Стендалем в том, что литература должна отображать «дух и давление времени», Тургенев как никто другой не только «отражал» жизнь, но и умел заставить ее «отразить» свои собственные идеалы и фантазии.

Бурная полемика в русской журналистике вокруг «Аси» вышла далеко за пределы сюжета повести, герои которой сознательно обозначены автором лишь смутными, смытыми контурами. Однако в ту же самую, предреформенную, вторую половину 1850-х годов и на рубеже реформенных 60-х Тургенев создал три своих первых социально-психологических романа: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860).



Они приковали к себе взгляды и мысли всей читающей России, особенно молодежи. Четвертый же роман Тургенева — «Отцы и дети» (1862) — эту же самую читающую Россию потряс, взорвал и надолго расколол, вопреки намерениям самого автора, который искренне надеялся именно этим романом всех примирить, спасти и осчастливить.

Но о том, как и почему случилось, что искренние художественные намерения и человеческие чувства писателя не нашли понимания у современников, а затем созданные им образы надолго застыли в субъективных трактовках, выгодных «революционным кругам», мы поговорим в конце. Для начала же следует вникнуть в смысл тех ожиданий, которые будущий автор «Отцов и детей» возбудил в русском обществе своими первыми романами.

Начнем с того, что между всеми тремя романами есть много общего. Ведь в них Тургенев зарекомендовал себя прежде всего как продолжатель двух традиций поиска «героя времени» — традиций русского социально-психологического и морально-психологического романа, традиций Пушкина и Лермонтова.

На сюжетном уровне общее между первыми тремя романами Тургенева определяется сходством, образуемым центральными парами персонажей. В каждом из них есть мужчина, который мыслит и действует необычно для своего окружения, и девушка, способная понять такого мужчину и выделить его из того же окружения. Это Рудин (герой одноименного романа), Лаврецкий («Дворянское гнездо»), Инсаров («Накануне») — и, соответственно, три «тургеневские девушки»: Наталья Ласунская, Лиза Калитина и Елена Стахова.

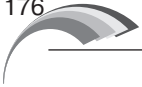
Со времен Софьи Фамусовой, Татьяны Лариной и Матильды де Ля-Моль европейские девушки решают, но — ко времени Тургенева — так и не могут решить одну важнейшую для себя проблему. Источник проблемы (как это верно заметил еще папаша Фамусов) — хорошее, но слишком «книжное», оторванное от жизни образование.

Уже с начала XIX века хорошее образование было доступно девушке из дворянской семьи. Да, ее не пускали в университет — но ведь и сами университеты вплоть до начала 60-х (мы это видим в тех же «Отцах и детях») не столько готовили юношу к определенной профессиональной деятельности, сколько развивали ум, давали общую эрудицию и привычку мыслить. Но все это было доступно и их ровесницам — путем домашнего воспитания и чтения книг.

Почему же мы говорим, что для девушки хорошее образование становилось источником ее «вечной» проблемы? Да потому что общество середины XIX века, всячески поощряя самостоятельно мыслящих мужчин и открывая безграничный простор для их разумной деятельности, — деятельность образованных женщин, наоборот, жестко ограничивало. В лучшем случае их могла ожидать судьба Ольги Штольц в финале романа Ивана Гончарова «Обломов»: судьба единомышленницы мужа, помощницы в его домашних, умственных, нравственных — но не общественных и не профессиональных делах.

Отсюда с неумолимостью вытекало, что найти достойного спутника жизни именно для женщины умной, стремящейся к разумной и хоть сколько-нибудь самостоятельной деятельности, — было гораздо более важной жизненной задачей, чем даже получить хорошее образование (недостаток образования женщины легко и быстро наверстывают самообразованием). И этот, как сказала бы Софья Фамусова, герой ее романа должен был, с точки зрения «тургеневской девушки», быть не просто хорошим человеком (такого, как мы помним, искала все та же Софья, но жестоко ошиблась). Он должен был быть настоящим героем, обладающим необыкновенными идеалами и способным отстаивать эти идеалы наперекор всем жизненным обстоятельствам, в борьбе с ними.

Тут уж не пройдут ни Чацкий, умеющий красиво говорить, ни Онегин с Печориным, умеющие красиво молчать. «Тургеневской девушке» подавай дело жизни, которое могло бы ее увлечь всю и без остатка. Даже умный практик Штольц, знающий жизнь и предлагающий своей жене вполне реальную программу интеллектуально



и душевно насыщенной жизни, не может до конца понять Ольгу, чем-то тоже похожую на «тургеневских девушек». Кстати, Гончаров утверждал, что создал «тургеневских женщин» до Тургенева, имея в виду Надю и Лизу в своем романе «Обыкновенная история», увидевшем свет за девять лет до первого романа Тургенева.

Но кто же, в таком случае, те «новые люди», которые сумели увлечь «тургеневских девушек»? Действительно ли подобные героини время от времени встречаются в жизни? Не придумал ли их Тургенев точно так же, как он придумал «тургеневских девушек», чтобы они затем явились на самом деле? И откуда эти «новые люди» могли явиться?

Прежде чем ответить на все эти не совсем простые и до сих пор еще спорные вопросы, давайте немного вспомним школьные уроки истории, на которых все мы изучали реформы 1860-х—1870-х годов в Российской империи, их подготовку, ход и последствия. Помним, как после поражения в Крымской войне (1853—1856) даже в правящих имперских кругах стали ясно сознавать необходимость коренных преобразований. Помним, в результате какой войны стало возможно освобождение рабов в США, проходившее в те же годы, что и освобождение крепостных в Российской империи. Помним, почему в Российской империи оказалось возможно провести освобождение крепостных бескровно, благодаря реформам «сверху» (что не удалось даже умнице А. Линкольну — в смысле бескровно не удалось). На примере других эпох истории Российской империи и ее бывших территорий мы ясно видим, какие преобразования здесь лучше удавались: революционные (путем восстания «низов») или эволюционные (реформы «сверху» и их постепенное воплощение в жизнь). Помним, что говорил Пушкин (Гринев) в «Капитанской дочке» про «русский бунт», и понимаем, до какой же, черт возьми, последней степени этот Пушкин (Гринев) оказался исторически прав.

Но революции, несомненно, требуют участия в них героических личностей. А реформы? Уж не о том ли и была (по сути) полемика, вспыхнувшая в русской прессе конца 1850-х годов по поводу повести Тургенева «Ася»? И можно ли считать случайным совпадением то, что образы «тургеневских девушек» родились именно в эпоху ожидания реформаторских и (или) революционных преобразований в русском обществе? Можно ли сказать, что «тургеневские девушки» с их поиском настоящих героев олицетворяли волю и чаяния всего общества?

В январе 1860 года Тургенев опубликовал в журнале «Современник» свою статью «Гамлет и Дон Кихот». Занимаясь этими вечными образами, Тургенев замечает, что «в этих двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится... Все люди принадлежат более или менее одному из этих типов; почти каждый из нас сбивается либо на Дон Кихота, либо на Гамлета». И затем автор статьи добавляет: «Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем Дон Кихотов, но и Дон Кихоты не перевелись».

Гамлетами русское образованное общество — и, соответственно, русская литература — были богаты на протяжении всей первой половины XIX века. Гамлет, каким его понимает Тургенев, — это и Онегин, и Печорин, и Обломов. Одним словом, это человек, который «живет для самого себя, он эгоист»: ему дорого его «эго» по той простой причине, что больше он «не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою».

С таким человеком не то что общества не преобразуешь, а семьи нормальной не создашь. Естественно поэтому, что, как бы ни обаятелен был Гамлет, он оттолкнул от себя Офелию. А уж героини всех последующих трагедий и романов, вплоть до «тургеневских девушек», отчаянно пытались выискать в своих избранниках (или в тех, кто претендовал быть таковыми) хоть бледную тень Дон Кихота. То есть по Тургеневу, такого человека, который живет «для других, для своих братьев, для истребления зла»; в котором «нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование... он верит, верит крепко и без оглядки».



Вот почему с такой надеждой читатели «Современника» в январе 1860 года восприняли весточку от автора «Записок охотника» (среди которых, между прочим, есть рассказ «Гамлет Шигровского уезда») о том, что «и Дон Кихоты не перевелись». Эти читатели уже могли по достоинству оценить мучительные попытки героев первых двух тургеневских романов, Рудина и Лаврецкого (от природы — безнадежных, законченных Гамлетов), ради высоких идеалов и любимых девушек стать хоть на миг Дон Кихотами. В результате этих попыток в первом случае гибнет сам герой, во втором погибает любовь...

Между тем в первых номерах журнала «Русский вестник» за 1860 год, то есть практически одновременно со статьей «Гамлет и Дон Кихот», Тургенев публикует свой новый роман «Накануне» — чистейшую попытку изобразить современного Дон Кихота. Этот современный Дон Кихот так же смугл и худощав, как герой Сервантеса, правда, не испанец, но и не русский: он болгарин, и зовут его Дмитрий Инсаров.

Такой выбор героя на роль «современного Дон Кихота», разумеется, русских читателей слегка озадачил. Стал неожиданностью как для почитателей Тургенева, так и для его идейных противников — так называемых «славянофилов», утверждавших «особый», по сравнению с Западной Европой, путь славянских народов. Тургенев же, наоборот, считался одним из первых русских «западников». С 1855 года он постоянно жил в Западной Европе, а в России бывал наездами. Дружил с виднейшими французскими писателями-современниками Проспером Мериме и Гюставом Флобером. Не был замечен в особых симпатиях к славянским народам, борющимся за свое национальное освобождение (как, например, боролись в то время против поработителей-турок болгары и сербы). Кроме, пожалуй, одного народа... Но для того, чтобы понять, какого именно и почему, следует вспомнить предыдущий период тургеневской биографии.

В 1852 году Тургенев был арестован за статью о Гоголе, месяц просидел под арестом, а затем был сослан в свое имение Спасское-Лутовиново Орловской губернии, без права выезда за пределы губернии. Впоследствии, упоминая об этом эпизоде в своих воспоминаниях о Гоголе, Тургенев замечал: «Но все к лучшему; пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания».

Обычно эти тургеневские слова трактуются как указание на еще большее «сближение» автора «Записок охотника» в деревне с крестьянским бытом. Не будем, однако, забывать, что «Записки охотника» уже до ссылки автора были готовы к печати, что крестьянский быт Тургенев, выросший в деревне, досконально знал с детства и что быт этот с тех пор не особо изменился. Но зато провинциально-усадебный дворянский быт, взаимоотношения в этой среде отцов и детей, мужчин и женщин — вот это все как раз изменилось достаточно сильно за те тридцать лет, в течение которых Тургенев только наезжал в деревню как гость, но не жил в усадьбе как помещик, не варился в этом провинциальном соку и в местной жизни не участвовал.

Губернский город Орел был единственным культурным центром, где Тургенев имел право бывать с 1852-го по 1855 годы. И этим правом он активно пользовался, присматриваясь, в частности, и к новому поколению провинциально-дворянской молодежи, и к провинциальным властителям их дум.

Среди последних все, кто впоследствии вспоминал Орел конца 40-х и начала 50-х годов XIX века, особо выделяли «пана Опанаса». Так дружески-уважительно называли здесь украинского писателя и фольклориста Афанасия Васильевича Марковича, сосланного из Киева по делу о Кирилло-Мефодиевском братстве. Николай Лесков, один из орловских юношей того времени, а впоследствии замечательный русский писатель, даже утверждал, что обязан «пану Опанасу» всем своим «направлением и страстью к литературе».

За год до того, как и Тургенев оказался в ссылке в Орловской губернии, Маркович отбыл свою ссылку и уехал на родину, оставив по себе для кого-то — благодарную, а для кого-то — «скандальную» память. «Скандал» же состоял в том, что 29-летний борец за права и свободы украинского и всех славянских народов отбыл из Орла не один, а с 18-летней красавицей женой, урожденной орловской дворянкой Марией Вилинской. Этой русской девушке, увлеченной Марковичем Украиной и им же обученной украинскому языку, суждено было стать великой украинской писательницей Марко Вовчок. Настолько великой, что когда Тургенев при знакомстве с Тарасом Шевченко спросил у него, какого автора ему следует читать, чтобы поскорее выучить украинский язык (зачем — об этом скажем чуть позже), тот, кивнув на тут же присутствующую Марию Маркович, живо отвечал: «Марка Вовчка! Он один знает наш язык!»

Однако знакомство Тургенева с Шевченко, да и с самой писательницей Марко Вовчок состоялось лишь через четыре года по окончании орловской ссылки автора «Записок охотника». А в первой половине 1850-х годов он не мог не застать в Орле еще свежего «скандала»: племянница и наследница богатой орловской помещицы Мардовиновой вышла замуж за нищего собирателя фольклора и «сбежала» с ним для каких-то непонятных и сомнительных дел в Украину! Так, во всяком случае, ворчали орловские обыватели. Но восторженные орловские юноши, вроде Лескова, отзывались об этом событии совершенно иначе. Видимо, примерно так, как тот же Лесков вспоминал о «пане Опанасе» и через тридцать лет после описываемого события:

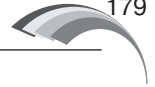
«Афанасий Васильевич сосредоточивал в себе много превосходных душевных качеств, которые влекли к нему сердца чутких к добру людей, приобретали ему любовь и уважение всех, кто узнавал его благороднейшую душу. Литературное образование его было очень обширно, и он обладал умением заинтересовать людей литературой. В общем отношении он принес в Орле пользу многим. Этот-то замечательный молодой человек встретил Марию Александровну Вилинскую, которая, кроме своей несомненной природной даровитости, обладала также и прекрасной наружностью. Афанасий Васильевич полюбил молодую красавицу, и они сочетались браком — девица Вилинская стала г-жою Маркович, из чего потом сделан ее псевдоним Марко Вовчок».

Как видим, Лесков и тридцать лет спустя не забыл, да и не мог забыть, о «прекрасной наружности» юной Машеньки Вилинской, в которую был влюблен, как и все поголовно ее орловские ровесники. Несомненно, среди них было немало замечательных юношей. Однако Машенька предпочла ссыльного чужака, который был на одиннадцать лет ее старше и брак с которым, как она хорошо понимала, сулил ей годы нищеты и борьбы, преследований и скитаний... Чем не сюжет для романа? Но, видимо, тогда, в первой половине 1850-х, время для такого романа еще не пришло, да и с «персонажами» Тургенев был пока знаком лишь понаслышке.

В 1857 году в Петербурге явилась на свет книга на украинском языке, потрясшая всю передовую Россию. Это были «Народні оповідання» Марко Вовчок. В 1859 году они вышли на русском языке — в переводе Тургенева. Вскоре с русского перевода Тургенева осуществил французский перевод его друг Проспер Мериме. Марко Вовчок стала европейской знаменитостью.

Уже давно начав изучать русский язык, чтобы лучше понимать русскую литературу, Проспер Мериме однажды так заявил Тургеневу: «Вы, русские, имеете удивительную силу. Вы правдивы в искусстве. Пока что, кроме правды, у вас ничего нет; но когда-нибудь, идя путем правды, вы достигнете красоты — и тогда убьете Запад, который всегда был на тупиковом пути, надеясь, идя путем красоты, достичь правды».

Но разве мало «правды» у Стендаля, у Бальзака?.. Видимо, «правдоискательство» основоположников западного реализма заведомо ограничено заранее заданным этико-эстетическим идеалом нравственного и прекрасного. Вспомним замечание



Бальзака в его предисловии к «Человеческой комедии» — о том, что этот идеал уже дан христианством и особенно католичеством, которое, «представляя собою целостную систему подавления порочных стремлений человека, является величайшею основой социального порядка». Да, западные реалисты знают подлинную цену человеческой «активности» и подлинную ее природу, которую один из первых апостолов христианства определял как «похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую»...

Каким же образом бурлящую энергию юности направить не в сторону неминуемой гибели, а в сторону идеала, на благо себе и людям?.. Полюби жизнь, созерцай ее красоту и старайся, «идя путем красоты, достичь правды».

Почему же Проспер Мериме, автор «Маттео Фальконе» и «Кармен», полагает этот путь «тупиковым»?.. Да потому, что «правда» в этой формуле похожа на горизонт. Красивая идея — вечно идти за горизонтом. Красивая, но не «на каждый день»...

Католикос значит «вселенский». Католицизм дает «общечеловеческий» идеал христианской жизни, к которому каждый стремится по-своему. «Латинское христианство, — указывал современный украинский культуролог Юрий Павленко, — с самого начала было более индивидуалистическим и рационалистическим, чем греческое». У греческой (византийской) версии христианства — православия — «путь правды» заявлен уже в самом названии. Но дело, конечно, не в названии, не в «национальном своеобразии», как стали думать некоторые деятели русского искусства к концу XIX века — например, те, которые расписывали Владимирский собор в Киеве, говоря о нем как о «первом в новой России национальном храме». Им возражал философ Василий Розанов: «Русский человек умер бы от горя и тоски, если бы его стали успокаивать, что в вере своей он — национален, выражает свой национальный тип, а не то, что в этой именно вере он — близок к Богу».

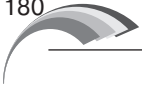
Центральная идея христианства — «совместное ведение», *con-science*, *co-vest*. Но *science*, в силу присущей католицизму рациональности, быстро превратилось в раз и навсегда установленное, точное знание и, наконец, в науку. Весть же всегда нова и не исчерпывается лишь изначальной Благой Вестью (буквально, по-гречески, эти слова звучат как Евангелие), но предполагает тот поиск «высшей правды», который вели и русские, и украинские реалисты XIX века.

Приехав из-за границы в Петербург в 1859 году, Тургенев спешит лично познакомиться с Марко Вовчок. Она, как вспоминал он потом, «служила украшением и средоточием небольшой группы малороссов, съютившейся тогда в Петербурге и восторгавшейся ее произведениями: они приветствовали в них — так же как и в стихах Шевченко — литературное возрождение своего края».

Именно Марко Вовчок познакомила Тургенева с Шевченко, и было решено, что автор «Записок охотника» продолжит переводить на русский язык творения своей новой знакомой и к тому же, несомненно, продолжательницы его традиций. Вот для чего он спрашивал у Шевченко, у кого он должен учиться украинскому языку, и получил достойный ответ: у самого же переводимого им автора! В 1860 году Тургеневым был осуществлен перевод «Институтки», новой повести Марко Вовчок.

Весной и летом 1859 года Тургенев и Мария Маркович активно переписываются. Он горячо рекомендует ей ехать за границу, «выстраивает» ее заграничный маршрут. В письмах Тургенева ясно выражено увлечение незаурядной молодой женщиной: «Молодость — действительно прекрасная вещь, — пишет он ей в одном из писем. — Вы это должны по себе знать — Вы молоды. Самая Ваша тоска, Ваша задумчивость, Ваша скука — молоды».

Очевидно, он пытается представить ее себе той самой, совсем еще юной, не знающей жизни орловской девушкой — участницей того старого «скандала» с замужеством за «иностранцем» Марковичем. Эта новая «тургеньевская девушка» не должна быть похожа ни на Асю, ни на Наталью Ласунскую, ни на Лизу Калитину. Ее «тоска, задумчивость и скука» — свидетельство незаурядной, быть может, гениальной натуры.



«К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все это?» — так будет писать в своем дневнике Елена Стахова, героиня романа «Накануне», который будет написан Тургеневым осенью того же года. «Я никогда не мог творить из головы, — признавался Тургенев. — Мне, для того чтобы вывести какое-нибудь вымышленное лицо, необходимо избрать себе живого человека, который служил бы мне как бы руководящей нитью...»

В конце лета Тургенев назначает Марии Маркович свидание в Германии, в Остенде. И затем целых два дня (!) пишет ей короткую записку из Парижа: во всяком случае, даты 6–8 сентября проставлены самим Тургеневым:

«Бейте меня, ругайте меня, топчите меня ногами, милая Марья Александровна: я безобразный, гнусный человек — я не приеду в Остенде, я прямо скачу в Берлин, а оттуда в Штеттин на пароход — а там в Петербург, в Москву и в деревню — куда мне непременно нужно попасть к 20-му сентября».

Зачем — об этом он ей не пишет, но сам знает зачем: работать над романом о девушке, «скандально» вышедшей замуж за иностранца, борца за освобождение славянского народа. *Rendez-vous* с повзрослевшим прототипом для будущего литературного романа — не нужно, скорее вредно. Свидание с романтической *femme fatale* могло бы привести к развитию всамделишного, житейского романа, но для «слабого» человека, типичного Н. Н., каковым в жизни и был автор «Аси», это было уж и вовсе лишним; для самореализации в этом смысле ему вполне хватало призрака его Вечной Возлюбленной Полины Виардо...

Как Тургенев и предполагал, 20 сентября он был уже в Спасском и к 25 октября завершил работу над романом «Накануне».

Сюжет романа прост до схематизма. Два замечательных, талантливых молодых человека — один скульптор (Шубин), другой ученый-историк (Берсенева) — влюблены в двадцатилетнюю девушку Елену Стахову. В окружении Елены так мало замечательных людей («Как жить без любви? а любить некого!» — думала она), что поначалу она увлеклась Шубиным как представителем «высокого искусства».

Это четко соответствует истории русского общества XIX века, которому до середины этого века искусства, из них же в особенности — литература, «заменили всё». Вспомните Татьяну Ларину:

Ей рано нравились романы,
Они ей заменяли всё...

Интересно, что еще и в середине XIX века поэт и критик Аполлон Григорьев практически то же самое говорит о самом Пушкине и о русском обществе: «Пушкин наше всё».

Но в это же самое время по всей Европе громко заявляет о себе наука. На нее уповают, ее пропагандируют прежде всего сами же деятели искусства (вспомним хоть предисловие Бальзака к «Человеческой комедии»). В строгом соответствии с этой схемой, именно Шубин вводит в дом Стаховых Берсенева. И вот уже тот, уединившись в саду с Еленой (имя, опять-таки, исполнено гомеровско-фаустовского символизма), «принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность... И в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удастся высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполтину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем».



Через несколько часов Шубин поздравляет Берсенева с «победой»:

«— ...ты идеалист, ты веришь... во что бишь ты веришь?.. ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить... и... и... между тем...

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы».

Но не слезы Шубина, не его «слабина» (в конце концов, как «человек искусства» он и должен быть порывисто-впечатлителен) заставляют вдумчивого читателя вынести ему окончательный приговор. А вот эта как бы ненароком сорвавшаяся с его уст фразочка: «...во что бишь ты веришь?..» Сам-то Шубин ни во что не верит — а это значит, что в глазах Елены, которая это поняла, он безнадежен.

Берсенева же на ехидную фразочку отчаявшегося друга-художника не отвечает. Ученому и впрямь трудно вот так сразу сказать, во что он верит, ему проще сказать, что он знает. А слишком банальный ответ «верю в науку» — на самом деле скользкий и двусмысленный...

Но об этом Тургенев напишет уже в следующем романе, и в разговоре о нем мы обязательно к этому «слишком банальному» ответу вернемся. Теперь же заметим, что Шубин, сам того не понимая, нашел-таки у своего идеального друга уязвимое место. И по словнице «свято место пусто не бывает» сразу же находится человек, который таки верит.

Все повторяется, и теперь уже Берсенева вводит в дом Стаховых — Инсарова. («Русский человек,— в скобках замечает Тургенев,— любит потчевать — коли нечем иным, так своими знакомыми».) Это молодой разносторонний болгарский деятель — и ученый, и писатель, и переводчик, и фольклорист. И всем этим он, конечно же, явно напоминает свой украинский прототип, пана Опанаса Марковича. А кстати, и в романе Инсаров является в Россию вовсе не из Болгарии, а из Киева, где он воспитывался у тетки и учился в гимназии.

При всем том Инсаров — не «чистый художник» и не ученый теоретик. Он практик. Этим, собственно, он и нравится Берсенева. Так и должно быть: наука, которая что-то «точно знает», побуждает людей, склонных к практическому действию, делать из «точных знаний» непреложные выводы и эти выводы применять на практике. Сам же теоретик, добывающий все новые и новые знания, отчасти не успевает, а отчасти и не рискует применять их на практике и испытывать на них в чем не повинном человечестве. Ведь он отдает себе отчет во временности «точных» научных знаний, на смену которым каждый день и каждый час приходят более новые и более точные...

Однако у Инсарова есть «одна, но пламенная страсть» (он даже внешне напоминает лермонтовского юношу-мцыри): вернуться на родину и всецело посвятить себя ее освобождению. Вот почему все, что он делает, к чему готовится и что изучает, для него не нуждается в проверке. Там, в Болгарии, враги убили его родителей. Там, «в Болгарии,— говорит он,— последний мужик, последний нищий и я — мы желаем одного и того же: у всех одна цель».

Тут, между прочим, подмечена интересная черта манеры не только выражаться, но и мыслить, присущая всем революционным освободителям: точный социологический портрет всех, кто желает революции («последний мужик, последний нищий и я»), выдается за всеобъемлющий «революционный порыв» всего населения той или иной страны. Ясно, что Тургенев эту формулировку подслушал не у болгарских заговорщиков, а у таких великороссов, как анархист Бакунин (прототип Рудина), которые в эмиграции вынашивали планы русской революции, или среди все той же «небольшой группы малороссов, съютившейся тогда в Петербурге».

Так что если бы политик Инсаров высказывался перед людьми, искушенными в политике, его обязательно спросили бы и о тех слоях населения, которые располагаются между верхушкой революционеров-заговорщиков и «последним нищим».

Спросили бы о религиозном (на православных и мусульман), этническом (на славяно- и тюркоязычных) и социальном (на богатых и бедных, селян и горожан) расслоении его страны, о настроении каждого «слоя», его судьбе в начинающейся войне; наконец, о роли и об интересах Российской империи, жаждавшей реванша после позорной Крымской кампании и всячески провоцировавшей конфликт на Балканах — руками тех же Инсаровых, которых она беззастенчиво использовала...

Но искушенных политиков не нашлось в доме Стаховых — как их не было и в тогдашнем русском обществе. Однако кто-то же им управлял, ведь не Шубины и Берсеневы — сколь ни замечательные, но к этому отнюдь не способные?

На этот резонный вопрос автор романа дает исчерпывающий ответ в письме Елены к Инсарову (уже тогда, когда решительное объяснение между ними состоялось и он уже воспринимает ее не иначе как свою «жену перед Богом и людьми»):

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених... Зовут его Егор Андреевич Курнатовский; он служит обер-секретарем при сенате... В нем есть что-то железное... и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он точно очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот... Шубин заговорил о театре; господин Курнатовский объявил и — я должна сознаться — без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем искусства. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается».

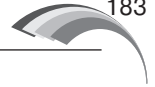
Несколько месяцев спустя, когда Елена с Инсаровым соберутся навсегда покинуть Россию, Шубин и этого «жениха» Елены поставит на одну доску со всеми отвергнутыми ею «претендентами»: «Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеневых, да нашего брата; и это еще лучшие... Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка...» Однако именно Курнатовский, по определению самой Елены, больше других похож на Инсарова: он и «железный», и «в художестве ничего не смыслит». И хоть все это «иначе» и «не так», как у Инсарова, однако Елена не в состоянии объяснить, как «иначе» и чем «не так».

На самом деле «и тупое и пустое» в Курнатовском отчетливо видно по той простой причине, что, считая себя представителем «благоустроенного государства», этот «честный» чиновник охотно не замечает, что в государстве этом «благоустроены» лишь такие, как он сам. В то время о вопиющей «неблагоустроенности» русского народа не знали, кажется, только те, кто обязан был это знать по долгу службы.

Инсаров тоже готовится стать государственным деятелем — болгарского народа, на тот исторический момент вряд ли более «благоустроенного», нежели русский. «Жизнь дело грубое», — как-то сказал он Елене. Эти слова заставили ее глубоко задуматься. «Елена не знала, — объясняет нам автор (а Тургенев любит все объяснять), — что счастье каждого человека основано на несчастье другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя — пьедестала, невыгоды и неудобства других».

Роман называется «Накануне» просто потому, что повествует о моменте выбора и подготовки Елены Стаховой к той ее последующей жизни, которая оказалась совершенно непохожей на жизнь обыкновенной русской женщины и о которой в романе, собственно, ничего не говорится. Инсаров, пробираясь на родину кружным путем через Италию (что, кстати, вряд ли соответствовало действительности: российские власти с удовольствием помогли бы такому борцу с турками без околичностей пересечь границу), умер в Венеции. Но Елена решила не отклоняться от запланированного им маршрута, с гробом мужа морем переправилась в Сербию, чтобы похоронить несостоявшегося героя в славянской земле.

«Я его схороню, и что со мной будет, не знаю! — пишет она родным. — Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными... А вернуться в Россию — зачем? Что делать в России?»



Судьба Елены, сколь ни была она необычной, повторилась потом в судьбах некоторых русских женщин — или, скорее, они ее сами сознательно повторили (вспомним, что говорил Толстой о «тургеневских женщинах»). Одно из тургеневских стихотворений в прозе посвящено памяти близкого друга автора — баронессы Юлии Петровны Вревской, которая во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (то есть через двадцать лет после Елены Стаховой) добровольно уехала сестрой милосердия на русско-турецкий фронт (который, кстати сказать, проходил тогда в Болгарии) и погибла от эпидемии тифа. Узнав о гибели Вревской, Тургенев писал в одном из писем: «Она получила тот мученический венец, к которому стремилась ее душа, жадная жертвы. Ее смерть меня глубоко огорчила. Это было прекрасное, неописанно доброе существо».

Однако в 1860 году русские юноши и девушки искали в романе более широкого смысла, нежели Юлия Вревская — семнадцать лет спустя, и этот более широкий смысл они вкладывали даже в само название романа. Им казалось, что автор романа самим его заглавием заявляет о том, что нужно делать в России; что русское общество накануне больших перемен; что вот-вот придут русские Инсаровы, чтобы смести Курнатовских и все поменять местами: пьедесталы поставить на статуи.

4. «НАКОНЕЦ НАШЕЛ Я ЧЕЛОВЕКА»

*Русский человек только тем и хорош,
что он сам о себе прескверного мнения.*

И. С. Тургенев, «Отцы и дети»

Как только вышел второй номер «Русского вестника», где завершалась публикация романа «Накануне», Николай Добролюбов, ведущий критик журнала «Современник» — самого популярного русского журнала конца 50-х и начала 60-х годов, написал статью «Когда же придет настоящий день?», посвященную разбору тургеневского романа. Прочитав ее в рукописи, Тургенев заявил главному редактору «Современника» — поэту Николаю Некрасову, что если эта статья Добролюбова будет напечатана, то ни одно его, тургеневское, произведение больше никогда не появится на страницах этого журнала.

Столь резкое заявление требует комментария. Для его понимания необходимо учесть, что накануне отмены крепостного права литературные журналы играли роль трибуны, на которой обсуждались и необходимость других реформ, и то, каким отныне должно быть русское общество, и то, каким должен быть «новый человек» в этом обновленном обществе.

Вот почему «реальное», так называемое «гоголевское», направление в 1850-е годы становится в центр литературного процесса, объединяя в своих рядах даже тех писателей, которые уже в следующем десятилетии отойдут от идей радикального преобразования общества и отношений между людьми. Именно к концу 1850-х годов, когда правительство Александра II все еще медлило с началом реформ, вокруг «Современника» сплотились все лучшие силы русской литературы. В этом журнале, редакция которого, во главе с Николаем Некрасовым и Николаем Чернышевским, не скрывала своих революционных настроений, печатались произведения, которые, по мысли их авторов, должны были подготовить общество к «новой жизни». Правда, вскоре выяснилось, что представления об этой жизни и о самих целях литературы у разных авторов «Современника» были разными.

Поскольку накануне реформ политические интересы революционеров и либералов в основном совпадали, то на какое-то время и в «бумажной войне» наступило

примирение. Роль примирителя взял на себя журнал «Русский вестник», который издавал в Москве одаренный журналист, публицист и издатель Михаил Катков. Но когда Добролюбов написал рецензию на роман Тургенева «Накануне», опубликованный в «Русском вестнике», и представил дело так, будто автор романа призывает русских Инсаровых ополчиться на «внутренних турок», раскол русской литературы оказался неизбежным. «Современник» вслед за самим Тургеневым покинули Лев Толстой и другие писатели, не разделявшие радикальных взглядов Добролюбова и Чернышевского.

Конечно, Некрасов, как главный редактор, мог пойти навстречу Тургеневу и тем самым еще на какое-то время отсрочить (а там, глядишь, и вовсе предотвратить) этот раскол. Некрасову можно посочувствовать: выбор был нелегким. Ведь Тургенев — на тот момент не только самый влиятельный, но и самый популярный русский писатель. Получая каждый новый выпуск журнала, читатель первым делом ищет в нем свежее произведение Тургенева. Но именно критика определяет лицо самого журнала. Вот почему, выбирая между Тургеневым и Добролюбовым, Некрасов выбрал Добролюбова, статья которого появилась уже в третьем номере «Современника». С момента ее публикации и до сей поры Тургенев считается основоположником русского политического романа.

Однако Тургенев, в сущности, мало интересовался политикой, и даже «политическая полемика» между его героями — это, как мы вскоре убедимся, чисто литературная полемика, перепевы старых песен о главном и о вечном. И Елена Стахова свой выбор между Берсеневым и Инсаровым делает, конечно, совершенно иначе и по иным мотивам, чем выбор Некрасова между Тургеневым и Добролюбовым. Последний выбор — пример чисто политического решения. В то время как выбор Елены вообще не имеет никакого отношения к политике. Елена ищет и находит именно человека, способного изменить свою и ее жизнь. При этом жизнь понимается не как устройство общества — скорее речь идет о счастье. С точки зрения Елены, счастливы только замечательные люди.

А что если ровно наоборот? Если замечательны только счастливые? Для Тургенева — это вообще главный вопрос, объективно главный, и об этом ни на миг нельзя забывать, читая его произведения.

Однако в начале 1860-х годов вся эта навязанная не только Тургеневу, но и всему русскому обществу полемика о «новых людях», которых потребовало «новое время», сделало вопрос еще и субъективно главным, временно главным — главным для всех. Настало время расставить все точки над «i», доспорить все споры, разъяснить все намерения. И — в последний раз попытаться всех примирить: все слои общества, все его поколения. Такова, кажется, главная цель главного романа Тургенева «Отцы и дети», опубликованного в «Русском вестнике» в 1862 году.

Герои романа так много спорят, что это часто позволяет самому автору уйти в тень. И только внимательный читатель его предыдущего романа может увидеть, как в этом новом романе Тургенев спорит сам с собой и даже пародирует самого себя — как автора «Накануне». И в первую очередь объектом самопародии становится именно то, что в предыдущем романе понравилось тому кругу «революционных» читателей, чьи мысли и мнения выразил в своей статье Добролюбов.

Елена Стахова, как мы помним, искала и нашла человека. И вот герой нового романа, как это видно по всему — «новый человек», Евгений Базаров, появляется в провинциальной губернии. И тут же, в губернском городе, в котором легко узнается все тот же Орел, на Базарова буквально набрасывается купеческий сын Ситников вот с какими словами:

«— Поверите ли... что когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг... словно прозрел! «Вот, — подумал я, — наконец нашел я человека!»



Итак, все ищут человека — как это делал еще древнегреческий философ Диоген, который искал человека днем на улицах Афин, вооружившись зажженным факелом. И, разумеется, не находил. Оценим же, как говорится, по достоинству находку Елены Стаховой, а заодно и Ситникова: он нашел того самого «русского Инсарова», о котором второй год не переставала мечтать передовая критика.

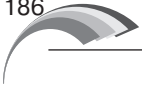
Старинный театральный прием «короля играет свита» получил широкое использование именно в эпоху художественного реализма. Изначально и формально «свита» Базарова — юноша Аркадий Кирсанов, который сопровождает его почти на всем протяжении романного действия. Однако очень скоро оказывается, что Аркадий — лицо «подставное», лицо-«прием». В фигуре Аркадия как бы воплощен молодой читатель романа.

Этот читатель по молодости лет увлечен модными идеями, модным образом жизни. Если сегодня вы молоды и вы не очень любите рэп или не увлекаетесь компьютерными играми, вы все равно все это и слышали, и видели, и воспринимали, и прочувствовали, и обдумали... Вот так и Аркадий и прочувствовал, и обдумал те «новые» идеи, «апостолом» которых выступает в романе Базаров. На всем протяжении романного действия Аркадий продолжает внимательно вслушиваться и вдумываться в то «послание миру» и лично ему, Аркадию, которое несет Евгений Базаров в самом себе, в своем отношении к людям. Вот эта постоянно (за исключением некоторых важных эпизодов, о которых мы будем говорить отдельно) присутствующая доброжелательная, увлеченная, субъективная точка зрения: глаза Аркадия, внимательно устремленные на друга Евгения, и широко открытый рот, с которым он слушает изрекаемые им «истины», — есть один из важнейших приемов реалистического письма автора романа.

Если в «Накануне» нет-нет да и выступит вперед всезнающий и всепонимающий автор (как в литературе просветительского замеса XVIII столетия или как в «Мертвых душах» Гоголя), то в «Отцах и детях» такого автора просто нет. Нет в них и все чувствующего романтического автора — верного «камертона» всего произведения. А ведь без такого «камертона» не могут обойтись ни Пушкин в «Евгении Онегине» (автор-«камертон» там даже «проговаривается», что Татьяна — его, автора, «милый идеал»), ни Лермонтов в «Герое нашего времени» (не столько даже в двух предисловиях, где автор сознательно пытается уйти в тень, сколько в повести «Максим Максимыч», где он тоже временами бессознательно «проговаривается»).

До сих пор русская реалистическая литература знала, по сути, лишь две филигранно выверенные и до конца выдержанные субъективные точки зрения: Белкина в его «Повестях» и Гринева в «Капитанской дочке». Но в обоих этих случаях «автор», как «всеобъемлющая» точка зрения, просто самоустранялся. Художественная новизна «Отцов и детей» состоит в том, что такая «всеобъемлющая» точка зрения в этом романе все-таки есть, но она «разлита» по всей его художественной ткани и не мешает до конца проявиться и развиться субъективной точке зрения Аркадия Кирсанова.

Если же выйти на пару минут за пределы художественной ткани и поискать биографический «ключ» (или, скорее, «отмычку») к взаимоотношениям Базаров — Кирсанов, то это, конечно, посвящение романа «памяти Виссариона Григорьевича Белинского». Взаимоотношения Базаров — Кирсанов есть не что иное, как художественный портрет взаимоотношений Белинский — Тургенев. Зная о той роли, которую Белинский сыграл в становлении молодого Тургенева, просвещенный читатель понимает, в каком смысле Аркадия Кирсанова можно считать «учеником» Евгения Базарова. Ведь хорош лишь тот ученик, который все, что получил от учителя, использует как первый толчок на самостоятельный путь познания истины. Хорош, разумеется, и тот учитель, который толкает своего ученика именно на этот путь и ни на какой другой. Кстати, сразу заметим, что Базаров, в отличие



от Инсарова, никому и никакой свободы с применением силы не несет — и, как мы вскоре увидим, вовсе не по «цензурным соображениям» (на что намекали «революционные» читатели романа).

Ну, а если ученик заведомо плох? Если он не истину ищет, а нечто иное? Разве виноват учитель в судьбе такого ученика? Вернемся к Ситникову, привлечем к ответу еще и его «единомышленницу» Кукшину и спросим: а для чего Базаров терпит их в своей свите и позволяет этой свите играть короля? И что они вообще такое — эти «новые люди»?

Перед написанием каждого нового романа Тургенев составлял так называемый «формулярный список» — перечень персонажей, о каждом из которых писатель замечал его возраст, иногда профессию, образ жизни, особые приметы и даже прототип, например: «Евдокия Кукшина. Рабски скопировать г-жу Киттары и пустить ее в ход».

С художницей Евгенией Киттары Тургенева познакомила Мария Маркович (Марко Вовчок), которая, как свидетельствуют ее письма (не только и даже не столько к Тургеневу, сколько к другим корреспондентам), находилась под сильным впечатлением от знакомства с этой экстравагантной женщиной, которая в своем поведении утрировала принципы «новой революционной морали». Но что особенно вводило в заблуждение молодую украинскую писательницу, так это, как ей долго казалось, искреннее стремление ее новой знакомой искать и находить «новые пути познания».

Откровенно подтрунивая над новым увлечением Марии, Тургенев все же просил ее сообщать ему все, что она будет узнавать об «исканиях» Киттары. И вот сидя в Спасском и заканчивая свой роман, Тургенев получает письмо от Марии из Парижа, и там она между прочим сообщает, что проездом в Женеве встретила Киттары, которая «хочет что-то изменить в живописи. Когда она рисует перспективу, так она не может говорить, немеет. И уверяла, что всегда как перспектива, так и немота. Вам о Киттаре надо знать — знайте же».

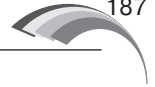
Действительно надо было знать — и действительно пригодилось: тут же в эпилоге романа вновь возникла Кукшина, и ее образ получил достойное завершение. «И Кукшина попала за границу, — читаем мы здесь. — Она теперь в Гейдельберге... изучает архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы».

Опять на биографическом примере хорошо видна разница между подлинно «новой», «тургеневской женщиной» Марией Маркович — и такой подделкой, как Евгения Киттары. Ведь у Марии Александровны были сложности в личной жизни вовсе не потому, что ей хотелось этих сложностей. И она действительно много работала и в своей литературной работе на самом деле открыла новые законы украинского языка и украинского характера.

Евгения Киттары — совсем другое дело. Это умственная и нравственная пустота, ищущая сложности. «Рабски скопировать г-жу Киттары и пустить ее в ход» было совершенно достаточно для того, чтобы в контексте романа получился сатирический образ «ученицы» Базарова. Сатирическим он становился просто по контрасту с образом самого «учителя», который ежедневно работает, занимается научными экспериментами, ставит точные медицинские диагнозы, чем реально помогает людям (например, младенцу-сыну Николая Петровича и Фенечки).

Базаров и сам прекрасно понимает, что «человек дела» — это самая сильная (а может быть — единственно сильная) сторона его, как сказали бы сегодня, «имиджа». Приехав с Аркадием Кирсановым к его отцу, он поневоле оказывается вовлечен в конфликт с «отцами» Кирсановыми: не столько с самим отцом Аркадия — Николаем Петровичем, сколько с дядей — Павлом Петровичем. И вот тут-то «деловая» сторона Базарова являет себя в самом выгодном свете.

Собственно говоря, сам этот конфликт становится центральным и выносится в заглавие романа вовсе не потому, что он так уж важен для обеих или хотя бы для одной из сторон. Он как раз для них совершенно неважен — в жизненном,



практическом смысле этого слова. Базаров — гость, человек временный, он уедет, и никто о нем не вспомнит. Как, впрочем, и самому молодому человеку, который учится в университете и при этом должен сам себя содержать (понимая бедность отца, он никогда не просит у него денег — этим, между прочим, напоминая одного из своих прототипов, Чернышевского), некогда было бы вспоминать о том, как он провел летние каникулы (в университете сочинений на такие темы не задают).

Конфликт этот наполнен скрытой, внутренней борьбой — борьбой за Аркадия. С которым, как это мастерски устроил Тургенев, подсознательно ассоциирует себя молодой читатель романа. И вот если мы с этой стороны посмотрим на сперва словесную, а затем и огнестрельную дуэль главного идейного представителя «отцов» с главным же идейным представителем «детей», то лишь тогда до конца поймем важность этой борьбы.

Результат ее, казалось бы, предсказуем: ведь очевидно же, что Павел Петрович, что называется, по всем статьям проигрывает Базарову... Тем невероятней, как мы увидим, будет «эффект неожиданности» к самому концу романа. Эффект, тем не менее, художественно — то есть нравственно и эмоционально — стопроцентно убедительный.

5. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ СПОР, ИЛИ СПОР О ПРИНЦИПАХ

Говоря о «новых людях», следует пояснить то, что было совершенно понятно самому Тургеневу, который писал свой роман в русской деревне летом 1861 года, а также и первым читателям романа, открывшим «Русский вестник» с его началом зимой 1862 года. Но что совершенно непонятно рядовому читателю по прошествии полутора лет.

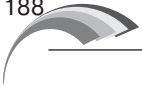
Почему вообще так остро встал вопрос о «новых людях»? Зачем они вдруг понадобились? Почему нельзя было обойтись «старыми» людьми?

Как мы уже вспоминали, после поражения в Крымской войне даже в правящих кругах стали ясно сознавать необходимость коренных преобразований. Первостепенной задачей, вставшей перед вступившим на российский престол Александром II, стала отмена крепостного права. Сразу после вступления на престол Александр заявил представителям дворянства: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, как оно само собой начнет отменяться снизу».

По указу царя (которого вскоре станут называть царем-освободителем) в столице и во всех губерниях были созданы дворянские комитеты по подготовке проекта крестьянской реформы. 19 февраля 1861 года царь подписал Манифест и Закон об отмене крепостной зависимости. Согласно этим документам, крестьяне сразу получали личную свободу, вводились сельские и волостные крестьянские органы правления. В уездах появились органы самоуправления всех сословий — земства.

Ликвидация крепостного права разрушила веками установленный порядок и повлекла за собой другие реформы в области управления, суда, армии, финансов, образования. Реформы 60–70-х годов XIX века фактически убрали все основные препятствия на пути превращения Российской империи в современную европейскую страну. Была разрушена непроходимая стена, которая до тех пор отделяла единственное высшее сословие — дворянство — от всех прочих.

Основная привилегия дворян XIX века состояла в том, что они не платили податей, то есть налогов. В результате реформ понятие неподатного сословия стало шире, чем понятие дворянского сословия. Появилось понятие разночинцы — то есть выходцы из разных чинов, званий и сословий, освобожденные от податей. В. И. Даль в «Толковом словаре» понятие разночинец определял так: «Разночинец — человек



неподатного сословия, но без личного дворянства и не приписанный ни к гильдии, ни к цеху». (К гильдиям были приписаны купцы, к цехам — ремесленники.)

Откуда же брались разночинцы? Что, кроме дворянского происхождения, теперь давало право не платить податей?.. Образование.

Отныне дворяне открывали и другим сословиям доступ к серьезному образованию и умственному труду. Тем самым они как бы снимали с себя всю полноту ответственности за судьбы страны, предоставляя и другим ее гражданам право думать о том, как ей жить и развиваться. В гимназии и университеты теперь принимались не только дворяне. Эти недворяне обычно были самые старательные ученики. Терпеливо снося презрительные взгляды заносчивых дворянских сынков, эти «кухаркины дети», как называли их дворяне, становились врачами и юристами, чиновниками и писателями.

При этом «дети реформ» видели смысл получения образования не только в том, чтобы стать специалистами в какой-нибудь конкретной области знаний и умственного труда. Да и само преподавание в университетах велось широко и свободно, без прицела на узкие специальности. Так что неудивительно, что вместе с образованием «новые люди» как раз и принимали на себя то самое бремя ответственности за всю страну, которое больше не хотели в одиночестве нести на своих плечах дворяне.

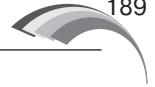
Так возникает новое понятие. К моменту написания «Отцов и детей» слово для него еще не придумано, поэтому в обществе и в печати еще приходится неопределенно говорить о «новых людях». Вскоре такое нужное слово придумает писатель Петр Боборыкин, оно войдет в язык, станет общеупотребительным. Это слово — интеллигенция.

Последние полтора века интеллигенция остается чисто русским явлением, важным отличием русской культуры, целью образования на русском языке. Если мы так до сих пор и не решили, для чего всю жизнь учимся, то теперь можем это узнать: для того, чтобы стать интеллигентными людьми.

С самого начала существования интеллигенции и по сей день (а она до сих пор существует, ибо необходима) никто не может ни разрешить, ни запретить человеку быть интеллигентом. В XIX веке интеллигентцией называли себя некоторые представители и разночинцев, и дворян. В начале XX века появились понятия «рабочий интеллигент», «крестьянский интеллигент». Не служат «пропуском в интеллигенцию» хорошие оценки в школе или университете. Не переводится это понятие и на другие языки, кроме близкородственных — например, украинского. Изучая жизнь и творчество Тараса Шевченко, Марко Вовчок, Ивана Франко, мы можем видеть, что украинская интеллигенция формируется одновременно, на общих идейных и социальных основаниях и в тесном сотрудничестве с русской.

Когда Орест Субтельный, современный канадский историк украинского происхождения, хочет объяснить западному читателю, кто такие наши интеллигенты и какую роль они сыграли во всей нашей истории, начиная со второй половины XIX века, он пишет следующее: «В Восточной Европе впереди всех политических изменений шла особая общественная группа — и вела за собой других. Эта группа специализировалась на обосновании и распространении идей и мобилизации массы на службу той или иной идеологии. Таких людей, отдаленно напоминающих западных интеллектуалов, в Восточной Европе называют интеллигентией».

Тургеневский Базаров — разночинец. Отец его — сын дьячка и военный врач (на языке того времени — «полковой лекарь»). Мать, правда, дворянка, но мелкопоместная. Евгений Васильевич Базаров — типичный разночинец, «сын реформ». Которые, правда, в момент написания романа идут на протяжении всего лишь нескольких месяцев — а Тургенев уже гениально предвидит их главный результат. Он состоит в том, что век дворянской культуры, начатой реформами Петра I, подошел



к концу. Что на смену этой культуре идет новая. Что эта новая культура должна быть основана и на новых нравственных принципах, поиск которых еще только начинается.

Слово нигилист широко ввел в языки мира именно Тургенев. Это не заимствованное, а именно русское слово, хотя и корень (nihil — ничто), и суффикс в нем латинские. Благодаря этому оно быстро вошло и в другие европейские языки, обозначая в них неких страшных людей, отрицающих все на свете, которые уже появились в России и, если так дальше дело пойдет, чего доброго, расплодятся по всему миру. Русские литераторы первыми предупредили мир об опасностях нигилизма: это слово звучало уже в статьях Н. Надеждина (1829) и Н. Полевого (1832), В. Белинского (1836) и М. Каткова (1840).

И, однако, что ни говорил бы сам Базаров об отрицании им «всех принципов», в самом образе этого героя автор романа четко диагностирует появление в среде «новых людей» именно тех первых и главных принципов, которыми (как мы теперь уже можем сказать) и будет в дальнейшем руководствоваться интеллигенция (тоже слово, как мы видели, чисто русское, хоть тоже составленное из латинских морфем). Это принципы личной, не основанной на происхождении, ответственности и личной, без ссылки на авторитеты, порядочности.

Вспомним, что дворянские юноши еще со времен Фонвизина воспитывались в твердом убеждении: как дворянин ты лично — перед Богом и царем — отвечаешь за вверенные тебе земли, крестьянские души. Ты должен быть готов защищать свою родину от врагов. Должен денно и нощно думать и молиться о ее благе, получить блестящее европейское образование не ради самого себя, а ради улучшения и усовершенствования жизни родной страны.

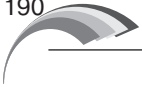
Таков был идеал, в свете которого было воспитано три поколения. Митрофаны Простаковы и Петруши Гриневы были первым поколением русского дворянства, перевоспитанным, качественно преобразованным в соответствии с идеалом. Преобразование, разумеется, шло непросто, так что черты «простаковщины» часто встречались еще и в следующем поколении — однако дворянская честь в нем уже преобладала и помогала сглаживать острые углы.

Облик этого поколения (поколения «дедов», ибо речь идет об отце «отцов»), буквально одной фразой и на типичном примере, очерчен на первой странице «Отцов и детей» — энциклопедии русской культуры XIX века, гениальной по точности, ясности и краткости: «...боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль».

Итак, Петр Кирсанов, «полуграмотный» и «грубый», Наполеона все же победил, а в мирное время, видимо, и своей родной губернии принес немало пользы. Тем и другим свое предназначение русского дворянина вполне исполнил — и передал эстафету сыновьям, предварительно дав себе труд подумать о том, чтобы обеспечить им хорошее образование: военное — старшему Павлу, университетское — младшему Николаю.

И вот уже перед нами Павел Петрович Кирсанов — живой портрет романтической эпохи, золотого века русского дворянства:

«На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов».



Таким образом, этот представитель молодежи «двадцатых годов» выглядит чуть моложе своих лет. Ведь день здесь описанной его встречи с племянником и знакомства с Базаровым точно назван автором романа: 20 мая 1859 года. Учитывая более раннее замечание о том, что Павел Петрович к началу тридцатых годов, когда его 18-летний младший брат поступил в университет, уже «вышел офицером в гвардейский полк», нам легко будет представить Павла романтически настроенным юношей 1820-х. «Стремление вверх, прочь от земли» — унаследованное от этой эпохи стремление к самосовершенствованию. Как написал в то самое время, когда Павел Кирсанов выходил офицером в гвардейский полк, его, быть может, будущий сослуживец Михаил Лермонтов:

Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства.

По прошествии трех десятилетий от этого стремления целого сословия к самосовершенствованию остались, в основном, хорошие привычки. Что само по себе немало — но почему-то заставляет их оправдываться перед «новыми людьми»:

«— ...вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович,— промолвил Базаров,— вы вот уважаете себя и сидите сложа руки... Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Павел Петрович побледнел:

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться...»

В сущности, перед нами — Печорин, по-прежнему моложавый, да и душой отнюдь не постаревший. Ибо Печорину, с его смолоду старческой душой, стареть уж некуда. Недаром автор «Героя нашего времени» заставляет его умереть в дороге, на Востоке: какая-никакая романтическая смерть для него лучше жизни.

А вот Павел Петрович после всех романтических передышек своей бурной молодости остался жив. Ему, вполне живому и как прежде страстному мужчине, хочется любить — и он романтически, рыцарски и без всякой надежды на взаимность любит Фенечку, которая даже внешне напоминает ему его давно умершую возлюбленную. Ему хочется, как прежде, драться на дуэли, защищая честь своей Дульсины, — и он дерется с Базаровым. Тот, впрочем, чужд романтики, но у него не дрогнет рука сперва подстрелить старого Дон Кихота, а затем профессионально обработать огнестрельную рану...

Но не ошиблись ли мы? В самом ли деле перед нами, в образе Павла Петровича, предстал долго и упорно искомый Тургеневым благородный идальго его времени? Подумайте об этом, вспомните этот пыл, это благородство, это безупречно рыцарское поведение всегда и во всем — и вы не только поймете первоисток этого «стремления вверх, прочь от земли», но и легко ответите на вопрос, который так неделикатно задает ему Базаров: почему он сидит сложа руки? А что ж ему, с ветряными мельницами воевать? Так нет теперь ветряных мельниц, их заменили молотильные машины — вот с ними действительно воюет, и притом весьма безуспешно, но только не Павел, а Николай Петрович: «...выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую с первого разу испортили...»

«— Сил моих нет! — не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович...

— *Du calme, du calme*, — замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы» — как истинный Дон Кихот: тем более, что любимое словечко «спокойствие», с которым Дон Кихот обращался преимущественно к Санчо



Пансе (которого, в свою очередь, напоминает Николай Петрович: «уже совсем седой, пухленький и немного сторбленный»), по-испански звучит почти так же, как по-французски.

Из своего дворянского «чувства долга, да-с, да-с, долга» братья Кирсановы возьмется с молотильными машинами и пытаются разрешить тяжбы между мужиками — но ничего не выходит, время их ушло, уж лучше бы «сидели сложа руки»...

Так что ж, судьба русских дворян безнадежна? На этот важный вопрос автор романа даст окончательный ответ в финале. Но чтобы понять ответ, нужно до конца прочувствовать вопрос: о чьей, собственно, личной и коллективной судьбе идет речь — и о судьбе каких принципов?

«Всякий человек сам себя воспитать должен... А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня».

«Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится».

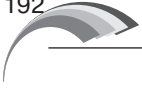
Два вырванных из контекста высказывания совершенно не противоречат друг другу. А между тем, если текст романа свеж в вашей памяти, вы легко припомните, что принадлежат они «идейным антагонистам»: первая мысль — Евгению Базарову, вторая — Павлу Кирсанову.

А теперь вспомните название романа... Не такие уж они антагонисты, эти последние представители дворянской культуры и первые представители русской интеллигенции. Вторые, что называется, плоть от плоти первых: «дети» этих «отцов».

Но вот в чем разница. Интеллигент за свой народ, свою страну отвечает не перед Богом и царем, как отвечал дворянин, а исключительно и только перед самим собой. Но при этом настоящий интеллигент никогда не поступит подло, то есть вопреки тому, чего требует его совесть. А поскольку уж совесть-то, по самому составу слова (со-весть — совместное ведение, сопричастность некой «вести» или согласие с общеизвестным и общепринятым), индивидуальной быть не может, постольку интеллигент не может существовать без интеллигенции... к коей тут же прибавляются ситниковы и кукшины. О критике Николае Чернышевском (одном из прототипов Базарова) его проницательный биограф XX века Владимир Набоков точно заметил: «Он проповедует основательность, толковость во всем — а, точно по чьему-то издевательскому зазыву, его судьбу облепляют оболтусы, сумасброды, безумцы».

А почему они прибавляются, почему «облепляют»? Да потому что они-то как раз, в силу своей личной неупорядочности, стремятся обитать в таких неупорядоченных сферах, где, по русской пословице, дуракам закон не писан. Назовись человек, например, христианином — и все сразу увидят, что он лжет, если не стремится для начала исполнять хотя бы десять заповедей. Но люди неупорядочные, с ослабленным нравственным чувством, больше всего на свете любят прикрываться каким-нибудь громким словом, за которым моральных заповедей должно быть как можно меньше — желательно не больше одной. Нигилизм, определяемый в словаре Даля как «безобразное и безнравственное учение, отвергающее все, чего нельзя ощупать», — идеальное прибежище для тех, кому закон не писан и кому в краю неписаных или писаных, но не исполняемых законов очень хорошо.

Не таковы, однако, те настоящие русские интеллигенты, которых автор «Отцов и детей» впервые показал современному читателю в образах Евгения Базарова и его друга-ученика Аркадия Кирсанова. Этим ответственным и порядочным людям не хорошо, а плохо, неуютно в мире рухнувших или искусственно опрокинутых авторитетов. А потому им неизбежно предстоит либо отличить несправедливо опрокинутые от тех, что опрокинуты справедливо, и несправедливо опрокинутые поставить на место; либо попытаться создать свои собственные правила, заповеди и авторитеты, и не только для себя самих, помня о том, что совесть — ведение совместное.



6. ДВАЖДЫ ДВА — ПЯТЬ, ИЛИ ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ТУРГЕНЕВСКОМ СТИЛЕ

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

Ф. И. Тютчев

Общеизвестные истины плохи не тем, что просты, а тем, что неверны. Казалось бы, что там долго рассуждать о реализме XIX века? Почему не сказать то, что проще простого и всем давно известно: реализм — отражение реальности?

Но зададимся простым же вопросом: а что «отражало» искусство до XIX века? Нереальность? Виртуальность? Разве неправ был шекспировский Гамлет, заявивший еще в начале XVII века, что цель искусства «как прежде, так и теперь была и есть — держать как бы зеркало перед природой: являть добродетели ее же черты, спеси — ее же облик, а всякому веку и сословию — его же подобие и отпечаток»? И разве не лукавил автор «Красного и черного», отводивший предвиденные им упреки читателей при помощи все той же шекспировской метафоры?

Итак, «зеркало на большой дороге» — не более чем метафора, причем метафора не реалистического только искусства, но искусства вообще. Что же нового, в таком случае, внесли в искусство художники-реалисты?

Еще раз вслушаемся в слова одного из них (Льва Толстого) о другом (Иване Тургеневе) и задумаемся, что бы эти слова могли означать для истории мировой литературы: «Может быть, таковых, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились».

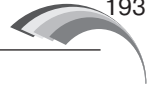
Многие не верили (и до сих пор не верят) Стендалю, что историю своего Жюльена Сореля он полностью завершил до начала Июльской революции 1830 года. И невероятно, но факт: роман Тургенева «Отцы и дети» написан летом 1861 года.

Только что вышел манифест об освобождении крестьян. Прочие реформы — лишь в проектах. «Новые люди», которых вскоре назовут пока еще не существующим словом «интеллигенция», то есть те самые люди, на плечи которых и ляжет основная тяжесть практического осуществления реформ 1860–1870-х годов, еще не выросли, не поступили в гимназии и университеты. Многие из них еще и права не имеют в них поступить, ибо не принадлежат к дворянскому сословию: этого права еще кто-то должен для них добиться.

И вот Тургенев, нагрянув из-за границы в Спасское, не выходя из своего писательского кабинета, сумел увидеть и художественно отобразить главные тенденции будущего развития русского общества. Смело и точно рука мастера намечает контуры тех главных моральных проблем, о которые неизбежно, трагически преткнутся те, кто будет эти тенденции воплощать и осуществлять.

Можно ли сказать, что роман Тургенева точно «отражает реальность» первого пореформенного лета, в которое он написан? Или предпоследнего дореформенного лета, к которому отнесено время действия в романе? И какую именно реальность? Появление молотильных машин и неумение русских крестьян с ними работать, а русских помещиков — руководить такими работами? Или — политические споры? Однако, при всем изобилии споров в романе, до чисто политических дискуссий его персонажи не опускаются, а их споры по философско-этическим вопросам, как мы дальше убедимся, отнюдь не новы.

Если бы перед нами был социально-политический роман, то такой роман сегодня



не заинтересовал бы даже историков России образца 1859 года, ибо в нем «отражается» то, чего в «реальности» того времени еще не существовало. Но в том-то и дело, что «Отцы и дети» не социально-политический, а социально-психологический и морально-экспериментальный роман. Автор его исходит вовсе не из той «реальности», которая исторически уже сложилась, а из выявленных, высказанных на всем пространстве русской культуры «золотого века», начиная от Пушкина и Лермонтова, от Гоголя и Белинского, противоречивых соображений о ее, культуры, смыслах и целях.

И вот с этими-то смыслами и целями экспериментирует Тургенев-художник, примеряя их к той действительности, которую он видит вокруг себя, и к очевидным для этого зоркого художника ее тенденциям и перспективам. Арсенал имеющихся в распоряжении писателя средств современного ему искусства — или, говоря иначе, реалистический метод литературы — позволяет выработать такой индивидуальный стиль, который (в согласии со старинным французским афоризмом: «Стиль — это человек») есть продолжение, завершение и художественное воплощение творческой личности писателя.

С самого начала романа можно видеть ту особенность тургеневского стиля, которая складывалась под влиянием предшественников (особенно Гоголя), проявилась в первых его романах, но в «Отцах и детях» вышла на первый план. То, что в поэме Гоголя литературоведы определяют как «второй сюжет», в тургеневском романе стало неразделимым, органическим единством «двух сюжетов»: «наличного состояния» общества и «скрытой, невыявленной сущности движущейся жизни».

Вот этот «второй сюжет», эта невыявленная сущность жизни — не то еще не познанная, а не то и в принципе непознаваемая — у Тургенева уже и в «Записках охотника» прозвучала пронзительной нотой, прозвенела всеми неповторимыми и печальными голосами русской песни и русской природы. В аранжировке этих мелодий Тургеневу среди писателей равных нет, а среди композиторов, быть может, равен лишь Петр Ильич Чайковский, который вырос на Тургенева и мог бы даже считаться его учеником.

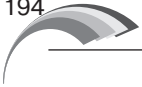
Итак, пейзаж Тургенева — это не живописный пейзаж, а скорее музыкальный. Собственно говоря, об этом он сам предупреждает нас, читателей романа, сопровождая наше «прибытие» в те места, где нам предстоит провести летние каникулы с Аркадием и Евгением. Кстати, имя первого переводится приблизительно как «обитатель райских мест», а второго — «благородный».

Так вот, те райские места, по которым, неуклонно двигаясь к месту действия романа, проезжают благородные обитатели, «не могли назваться живописными», — предупреждает нас автор. Следует один из знаменитых «симфонических» пейзажей. Или, точнее, это как бы отрывок первой части концерта для фортепиано с оркестром, где слаженное — то сумрачно-вьюжное, то радостно-весеннее — звучание оркестровой партии время от времени перебивает сольная партия рояля, выражающая мысли и чувства современного героя.

Этот первый в романе широко развернутый пейзаж состоит из двух частей. Первая, как мы уже сказали, сумрачная, элегическая, которая заканчивается, «среди весеннего красного дня», «белым призраком безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозом и снегами...» — и рождает мысль Аркадия:

«Нет, — подумал Аркадий, — небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..»

«Так размышлял Аркадий», — говорит автор. Ставит многоточие. И — с маленькой буквы, как бы «не заметив» размышлений героя, продолжает пейзаж: «...а пока он размышлял, весна брала свое» — и вот теперь уж все поет, множество самых разных птиц становится видимо и слышимо героем... Что же, это натолкнуло его на новые



«размышления» — типа «не так ли и ты, Русь...» и т.п.? Ни в коем случае: «размышления» как раз не усилились, а, «понемногу ослабевая, исчезали». Тут же Аркадий «сбросил с себя шинель» (видимо, ту самую, из которой «все мы вышли») «и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял».

Здесь нам про Аркадия сразу все становится понятно, вплоть до того, чем закончится его, пока еще даже не начавшийся, «идейный конфликт» с отцом и «отцами». Ясно видна уже из этого отрывка не то что даже социально-экономическая, но просто логическая ошибка «детей». Ведь если родной край не поражает «ни довольством, ни трудолюбием», то «преобразования», направленные на улучшение «довольства» посредством «освобождения труда», заведомо обречены на сокрушительный провал. Эта очевидная для внимательного читателя тургеневская мысль затем не раз подтвердилась в истории Российской империи и ее бывших территорий.

Итак, перед нами развернут великолепный тургеневский пейзаж, потрясающее душу признание в любви к родному краю, хоть «не поражает он ни довольством, ни трудолюбием». И если, по мере развертывания пейзажа, размышления героя «понемногу ослабевая, исчезали» — то размышления читателя разбужены его собственными чувствами, а чувства, в свою очередь, — искренностью, мудростью и мастерством писателя.

В тургеневском романе нет лирических отступлений. В нем «лирика» почти неощутимо пронизывает «эпiku». А «второй сюжет», которому мы можем дать название «Человек и природа», безраздельно и мощно слит с «первым», очевидным, событийным: «Человек и общество». Чем более безраздельно и мощно слиты они в судьбе героя романа — тем более важный, более главный этот герой. Уже по такому признаку главный герой у романа с «собирабельным» названием, конечно, один, и это Евгений Базаров.

Он, как мы уже поняли, отрицает все, кроме очевидных истин: «Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки».

Художественная модель необходимой реакции читателя (олицетворенного Аркадия) на эти «очевидные» истины («нельзя так остаться», «преобразования необходимы», «дважды два четыре»), как мы видели, раз навсегда задана автором при первых же «размышлениях» молодого Кирсанова. Эти «размышления» встраиваются в пейзаж. Дав с самого начала развернутый образец такого встраивания, Тургенев уже дальше (кроме исключительных случаев, о которых надо говорить отдельно) стремится сжать «модель» до предела ввода прямой речи — в интересующем нас случае несколько громоздкого (деепричастный оборот и к нему еще причастный):

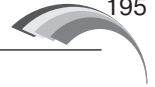
«— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

Если б еще «человек в ней художник» — тогда было бы, по крайней мере, понятно, «что нам делать с утренней зарей» (как, уже в начале следующего века, но явно под влиянием этого диалога, спросит поэт Николай Гумилев) или вот с этим вечерним пейзажем, которым невольно любуется Аркадий. Но какого же рода «работу» может делать человек в природе, кроме презираемой самим же Базаровым «мужицкой»?

И на этот вопрос у Базарова готов четкий ответ, данный им, прежде всего, самому себе еще при выборе будущей специальности: «Главный предмет его — естественные науки, — объясняет Аркадий. — Но он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора».

Итак, Базаров «все знает» ровно настолько, чтобы все отрицать (этим он непохож на некоторых представителей молодежи XXI века, которые все отрицают, но ничего не знают). О главном же своем предмете он хочет знать больше, чем дают в университетах.



Это как раз очень типично для студентов 1860-х, не только в России, но и по всей Европе. Молодежь чутко реагировала на растущую потребность в специализации, при которой уважающий себя специалист уже не мог «знать все». Под влиянием требований студенчества, а главное — самой жизни, университет, не меняя своего названия (а зря, ибо в названии-то и заложена «универсальность» даваемого в нем образования), постепенно превращался в собрание разрозненных факультетов.

Впрочем, Базаров даже в этом смысле лицо чрезвычайно загадочное. Недаром при первом знакомстве с ним Николай Петрович говорит Аркадию:

«— ...Прошлою зимой я его не видал. Он чем занимается?»

Следует приведенный выше ответ Аркадия. Услышав, что Базаров «хочет держать на доктора», Николай Петрович вполне удовлетворен.

«— А! Он по медицинскому факультету, — заметил Николай Петрович и помолчал».

Он «помолчал», очевидно, в ожидании подтверждения своей догадки, но его не последовало — и недаром: медицинского факультета в Петербургском университете не было. Читатели-современники, будучи в курсе «передовых веяний», прекрасно понимали, почему деликатный Аркадий не стал развивать эту тему. Ведь учиться в Петербурге «на доктора» Базаров мог только в Медико-хирургической академии, слышней «рассадником материализма».

Базаров фанатично увлечен хирургией и даже, как мы помним, отдал за нее свою жизнь. Да и как не увлечься этой специальностью студенту Медико-хирургической академии, где кафедру хирургии возглавляет сам знаменитый Пирогов?

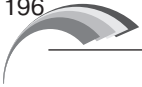
Правда, как раз во время учебы Базарова Пирогов, в результате происков и доносов, был уволен и отправлен в почетную ссылку в Киев — назначен попечителем Киевского учебного округа. Но и на этой должности он стал возмутителем спокойствия, ибо восстал против телесных наказаний в гимназиях. По всей империи пресса смаковала подробности битвы знаменитого хирурга с реакционными киевскими педагогами. В 1860 году в сатирическом приложении к «Современнику» — журнале «Свисток» — появилось стихотворение Добролюбова «Грустная дума гимназиста». Это была пародия одновременно на стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» и на «реформированные», «облегченные» телесные наказания в Киевском учебном округе, явившиеся компромиссом между предложениями Пирогова и возражениями местных учителей:

Нет, не жду я кары гувернера,
И не жаль мне нынешнего дня...
Но хочу я брани и укора,
Я б хотел, чтоб высекли меня!..

Но не тем сечением обычным,
Как секут повсюду дураков,
А другим, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов.

Так или иначе, Николай Иваныч Пирогов — именно в силу неординарности его личности, его желания что-то изменить в обществе к лучшему, изменить практически, — снова и снова, причем против собственного желания, оказывался в центре каких-то скандалов. Недавно тургеневед Н. Никитина выдвинула гипотезу, согласно которой образ Базарова создавался под непосредственным впечатлением от личности и трудов Пирогова.

Впрочем, Пирогов был не уникальной, а скорее типичной фигурой ученого-практика, ученого-шестидесятника. Мемуары выдающихся медиков и естественников, во множестве воспитанных именно в эту пору, пестрят «базаровскими» примерами.



Один из них вспоминает: будучи студентом, он в начале 1860-х годов попросил у профессора текст лекций по анатомии.

— Да зачем вам лекции? — воскликнул профессор. — Возьмите лучше лягушку и анатомируйте ее, вот и познакомитесь с началами анатомии.

Эта анатомируемая лягушка стала настоящим символом 1860-х годов. Недаром молодой критик Дмитрий Писарев так отзывался о ней в статье «Мотивы русской драмы» (1864):

«Тут-то именно, в самой лягушке-то и заключается спасение и обновление русского народа. Ей-богу, читатель, я не шучу и не потешаю вас парадоксами».

Стоит ли после этого удивляться, что и Базарова каждое утро можно застать в его «мастерской», где он ловит лягушек, чтобы «знать, что и у нас внутри делается»? То есть на практике отрабатывает, что «дважды два четыре» и что «мы с тобой те же лягушки».

Нам-то сейчас легко с ним спорить, ведь за прошедшие полтора столетия медицина успела убедиться, что в этом смысле «дважды два пять». А вот автору романа, который, естественно, ничего не знал о грядущих открытиях физиологии, генетики и психологии, но и не верил в «спасение и обновление русского народа», состоящее «в лягушке», — оставались лишь чисто художественные — впрочем, сильнее — средства доказать своему герою, что «у нас внутри делается» не то же самое, что у лягушек.

7. О ТОМ, КАК ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ ОТЦАМИ, И О ТОМ, КАК ВЗРОСЛЕЮТ ТУРГЕНЕВСКИЕ ДЕВУШКИ

Tired with all these, for restful death I cry.

В. Шекспир, 66-й сонет

Мы видели, как от измельчавших «гамлетиков» Тургенева потянуло к «донкихотам». Зафиксировали мы и момент «обретения равновесия», когда одновременно с теоретическим манифестом «Гамлет и Дон Кихот» Тургенев публикует роман «Накануне», где «на другую чашу весов» бросает жизнь, отданную идее, — жизнь «современного Дон Кихота» Инсарова.

Наконец, видели мы и «русского Дон Кихота», у которого уходит из-под ног его историческая почва — а он героически и упрямо держится за свои убеждения и образ жизни. Нет, это не революционер-шестидесятник — эти-то как раз только обретают почву под ногами. А это, конечно, русский рыцарь печального образа, последний представитель уходящего русского рыцарства — Павел Петрович Кирсанов.

Но такому Дон Кихоту, утверждающему бытие, которого нет, должен противостоять, разумеется, не «гамлетик», а истинный и искренний Гамлет, готовый поставить под сомнение бытие как таковое, отказаться от него ради небытия. И разве в гамлетовском монологе «Быть или не быть?» или в 66-м сонете уже не содержится полная мера «нигилизма»? «Tired with all these, for restful death I cry...»

«Русским Гамлетом» современники называли Белинского, памяти которого, как мы помним, и посвящен роман Тургенева.

В начале 1840-х годов молодой Тургенев, восторженный поклонник философской системы Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, которую он изучал в Германии, у тех профессоров, что были прямыми учениками великого философа, вернулся в Россию. Здесь он познакомился с местным властителем умов, «неистовым Виссарионом». Тот к тому времени успел пережить не только восторженное увлечение гегельянством, но и яростный с ним разрыв. При этом он не владел немецким, а русских



переводов Гегеля еще не было, так что приходилось довольствоваться пересказами друга, Михаила Бакунина.

«— Прежде были гегелисты, — кстати вспоминает Павел Петрович, — а теперь нигилисты».

Но где же в романе «гегелисты»?.. Их нет — если не считать... самого автора.

Оттачивая свой ум в философских диспутах в немецких университетах, Тургенев овладел тем новым философским методом (диалектикой), который был так же тесно связан с новым художественным методом (реализмом), как, например, художественный метод просветителей — с философией английского и французского Просвещения, а романтизм — с Шеллингом и Кантом.

Слово диалектика греческое и означает «искусство вести диалог». Так древние греки еще в V веке до н.э. называли свои беседы, во время которых высказывались разные точки зрения, и так, сообщая, они искали истину. В начале нашей эры образцы диалектики дают евангельские притчи. В начале XIX века диалектику как философский метод заново развил Гегель.

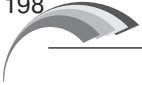
Диалектика у Гегеля — это высший закон реальности. «Все, что нас окружает, может быть осмыслено как пример диалектики», — писал философ. Вот пример диалектического развития: семя должно превратиться в свою противоположность, то есть перестать быть семенем, то есть умереть как семя, чтобы стать побегом. Движение — это жизненная сила бытия. Всякое движение, чтобы оно могло быть движением (в природе, в истории, в человеческой жизни и мысли), включает в себя три взаимосвязанных момента. Тезис (положение, утверждение) — исходный момент диалектического развития («семя»). Антитезис (противоположение) — переход в противоположность, отрицательный момент в процессе диалектического развития («гибель семени»). Синтез (соединение) — соединение первого и второго моментов в новом «снятом» единстве («побег»).

Таким образом, согласно Гегелю, развитие есть внутреннее отрицание предыдущей стадии, а затем и отрицание этого отрицания (ведь побег — это отрицание гибели семени и утверждение семени в новом «снятом» виде). Поскольку отрицание предыдущего отрицания (побег) происходит путем «снятия», оно всегда есть в известном смысле восстановление того, что ранее отрицалось, возвращение к уже пройденной стадии развития (то есть к семени). Это — не простой возврат к исходной точке, а «новое понятие, но более высокое, более богатое, чем предыдущее, ибо оно обогатилось его отрицанием» (Гегель). Диалектическое возвращение — это возвращение не по кругу, а по спирали.

Итак, в чем может — строго по Гегелю — состоять «спасение и обновление русского народа», русской культуры, которая — на этом переломном этапе — на самом деле нуждается не только в обновлении, но и в спасении? «В лягушке»?.. В каком-то смысле и в лягушке — именно в том смысле, в каком она является символом, знаком нигилизма.

В то время, когда последние рыцари-«донкихоты» дворянской культуры судорожно цепляются за ее «последние», «несокрушимые» ценности, которые они могли бы еще противопоставить ее гонителям и разрушителям, Тургенев гениально придумал нигилизм. В этом понятии он собрал все накопившееся в русской культуре самоотрицание. От Белинского, не принявшего «русскую душою» пушкинскую Татьяну и посоветовавшего ей поскорее изменить мужу, — до Чернышевского, поучавшего самого Тургенева по прочтении «Аси»: «Каждый человек — как все люди, в каждом точно то же, что и в других... Различия только потому кажутся важны, что лежат на поверхности и бросаются в глаза, а под видимым, кажущимся различием скрывается совершенное тождество...»

Тургенев, повторяем, все это собрал — и выплеснул в Базарове. Тот так же искренне, как Чернышевский, полагает, что «изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой...»



За последующие полтора века наука-то как раз и доказала, что это не так. Зато последующие полтора века истории человечества показали, что этого достаточно легко добиться в тоталитарном обществе (фашизм, сталинизм), планомерно убивая личность и культивируя «похожесть», «массовидность». Не на это ли намекал Чернышевский, когда заявлял: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дистрикты. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность». То же и Базаров говорит Аркадию: «Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замазает...»

Базаров — «новый человек», очищенный от всех тех бытовых, биографических и политических мелочей и подробностей, которые «отвлекают» в жизни и трудах Белинского, Чернышевского или Добролюбова от возможности воспринимать их как чистое внутреннее отрицание «предыдущей стадии». Отрицание всего того, что так радостно, победительно и уверенно утверждала русская культура первой половины XIX века.

Для полноты картины Тургенев даже заставляет Базарова произнести исторически невозможную, но зато столь выразительную, хлесткую фразу: «...я препакобно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше». Как мы помним, первая (газетная) публикация статьи Гоголя «Что такое губернаторша», запрещенной к изданию в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», состоялась в 1860 году (напомним, что действие романа относится к 1859-му). Но, как мы тоже помним, именно «Выбранные места из переписки с друзьями» вобрала в себя все то выработанное высокой русской культурой эстетически положительное, что Гоголь, увлеченно и преждевременно, предлагал «внедрить» в современный быт. И тем вызвал яростное сопротивление Белинского — истинного Базарова по силе отрицания всего «исконно русского».

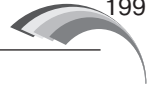
Вспомним, как Павел Петрович в споре с Базаровым вдруг заявляет, что русский народ «патриархальный», и как Базаров с ним неожиданно соглашается: он просто иначе — как «отрицательное явление» — оценивает эту «патриархальность». Даже интонация его ответа звенит нотками знаменитого письма Белинского к Гоголю: «Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разьежжает. Что ж? Мне соглашаться с ним?»

Напрасно читатель стал бы искать в романе чего-то более политически актуального, чем эти давние споры Белинского с Гоголем. Да и можно ли требовать этого от романа, посвященного памяти Белинского? В том-то и дело, что всем последующим отрицателям Пушкина и идейным противникам Гоголя Тургенев — в образе Базарова — предсказал участь Белинского. Им не дано достичь своей собственной зрелости, стать «отцами». Добролюбов, подобно Белинскому, но только еще более молодым, умрет от чахотки (в ноябре 1861 года, когда роман был уже написан). Писарев утонет, купаясь в море...

Все эти люди вовсе не были «новыми людьми» в том смысле, чтобы быть «друг на друга похожи как телом, так и душой». Все это — яркие индивидуальности. И стали они таковыми благодаря своему воспитанию в той самой русской культуре «золотого века», которую они так страстно отрицали. Они — плоть от плоти ее, они — ее семена. В этом — даже не гегелевская, а еще более ранняя и более фундаментальная — евангельская диалектика: «...если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанна 12:24).

Кстати, этот стих Евангелия любили цитировать и сами революционеры-шестидесятники. Но, отрицая и христианство, и гегельянство, они понимали его в том смысле, что идеи и пример какого-нибудь отрицателя вроде Добролюбова породят новых отрицателей.

Однако отрицателей воспитывали потом грубее и проще: отлучая от всей высокой культуры вообще и делая «друг на друга похожими как телом, так и душой». А зерно



нигилизма, падши в землю, дало отрицание этого отрицания (отрицания всего!), то есть возможность сохранить это всё — всю полноту русской культуры, в новом «снятом» виде. В результате, например, русское искусство, поэзия, отрицаемые Базаровым, в искусстве самого Тургенева, в «поэзии», существующей уже в рамках самого романа, совершается не как простой возврат к «исходной точке» пушкинского реализма, а как «новое понятие» о художественном реализме. Новое и, в этом смысле, «более высокое, более богатое, чем предыдущее, ибо оно обогатилось его отрицанием».

Вот какова роль Базарова в романе. Он его главный герой вовсе не в том смысле, в каком был главным герой романтического романа — даже такого, «с элементами реализма», как «Герой нашего времени». Там все работало на Печорина, все заставляло разгадывать его загадку. А загадка Базарова разрешается в первом же споре с Павлом Петровичем, когда он сам спокойно объясняет, в чем именно состоит его мировоззрение — его нигилизм. А все, что происходит в романе дальше, есть просто мощная концентрация в некое органическое единство всего того, что окружает Базарова, что он, по его выражению, «ощущает» и стало быть — «отрицает». Всего того, что не «дважды два», то есть не проверенные научные истины.

Кстати, Базаров не случайно отрицает не только искусство, но и науку: «Есть науки, как есть ремесла, знания; а наука вообще не существует вовсе». И так, «знания» все-таки «есть». И чем больше отрицается всё, что не есть конкретные «знания», тем больше вырастает значение самих этих «знаний».

Так нигилизм, то есть тотальное отрицание, оборачивается позитивизмом (от лат. *positivus* — положительный) — столь же яростным, тотальным утверждением. И если слово нигилизм широко ввел в языки мира Тургенев (вовсе не нигилист), то слово позитивизм ввел сам основоположник этого философского течения — французский философ Огюст Конт (1798–1857). Кстати, Базаров, будучи по своим убеждениям типичным позитивистом, даже ссылается на некоторых немецких популяризаторов этого учения.

Таким образом, отрицая движение научной мысли, законы истории науки, которые на самом деле существуют точно так же, как законы истории искусства, Базаров тем самым становится легкой добычей «конечных» научных истин. В этом смысле он ничем не лучше Кукшиной, которая в своей личной жизни руководствуется новейшей «научной» книгой Ж. Мишле «О любви» (1859). Название то же, что у книги Стендаля, но если Стендаль в своих классификациях и рекомендациях был тонок и ироничен, то Мишле в самом деле претендовал на обретение «конечных» и «строго научных» истин, которые Базаров пропагандирует еще активнее, чем это делает Кукшина. Так, например, Мишле не советовал давать женщине серьезное образование и развивать в ней личность, а вести себя с ней мужчине рекомендовал так, как он вел бы себя с капризным ребенком. Поэтому «изначальный» идеал женщины для Базарова счастливо совпал с восхитившей его Фенечкой, но даже она оказалась слишком сложна для его понимания. Что же касается возможности для женщины думать и выбирать свою судьбу самостоятельно, то тут он и вовсе категоричен: «Свободно мыслят между женщинами только уроды».

Читатель, знакомый с предыдущими романами Тургенева, конечно, понимает, что герою и этого романа предстоит пройти «тест» на подлинность и на героизм, и этим «тестом» должна быть «тургеньевская девушка» и/или «тургеньевская женщина». Так и случается, когда на сцену выходят сестры Одинцовы.

Анна Сергеевна Одинцова, молодая вдова — вполне самостоятельная и — о ужас! — умная женщина (при этом отнюдь не урод) — становится объектом ухаживания и скрытого соперничества Евгения Базарова и Аркадия Кирсанова. Базаров «поразил воображение Одинцовой», и тот рекомендует другу (как кажется Аркадию — в виде утешительного приза, а на самом деле — с вполне искренним восхищением) «заняться» ее юной сестрою Катей:

«— Но чудо — не она, а ее сестра.

— Как? Эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все, что хочешь».

Словом, перед нами некий «изначальный», «элементарный» идеал «тургеневской девушки», как две капли воды похожей на Асю. Но есть разница в судьбах: там был старший брат, тут старшая сестра, которая, как женщина, гораздо лучше понимает свою «и пугливую, и молчаливую» сестру и воспитанницу.

Кто бы ни «поразил воображение Одинцовой», любовь для нее — закрытая тема. Первый раз она вышла замуж по расчету, второй — «по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова — человека еще молодого, доброго и холодного, как лед». Эти сведения в эпилоге романа автор сообщает нам, как правильный ответ в конце задачника — к задаче, которую так и не сумел решить Базаров. Не потому, что он рано умер: он все равно не решил бы эту задачу или, точнее, две задачи. Первая — как заставить Одинцову связать с ним свою судьбу («поразить воображение» — это еще не то же самое, что внушить желание связать с ним свою судьбу). Вторая — как стать «русским деятелем», тем «реальным политиком», каковым Базаров себя воображает (ради «последнего мужика», которому он хочет отдать всю свою жизнь так же точно, как этого хотел Инсаров). Всего лишь двух качеств, необходимых для того и другого, недостает Базарову — среди всех перечисленных преимуществ характера избранника Одинцовой (все остальные были и у него).

Эти эпитеты чаще употребляются как антонимы: добрый и холодный, как лед. Автор романа ставит их рядом — и, «от противного», отталкиваясь от образа Базарова, мы понимаем, что на самом деле они синонимы. Ибо доброта требует понимания человеческого несовершенства. Она, как любовь и политика, основана на «искусстве возможного» — искусстве компромисса. Она требует холодного расчета, необходимого для того, чтобы заранее всех простить, а для себя не требовать ни прощения, ни благодарности.

Базаров же «возненавидел» даже «этого последнего мужика», которому сейчас так плохо, что он готов на все, и которым всегда оправдываются революционеры («последний мужик, последний нищий и я — мы желаем одного и того же...»). Так вот, признается Базаров, «я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?»

Кажется, нелепая и преждевременная смерть главного героя и понадобилась автору именно для того, чтобы логически завершить свой художественный эксперимент и показать, что должно быть «дальше». Как это и следует по Гегелю, гибель нигилиста приводит к появлению ростков новой жизни. И мы уже видим воочию то «древо жизни», что вырастет из этого ростка: «более высокое, более богатое, чем предыдущее, ибо оно обогатилось его отрицанием».

Собственно говоря, то немногое, что выдержало натиск базаровского нигилизма, начало пускать новые ростки еще при нем и вовсе даже не стесняясь его присутствием. Это немногое — любовь.

Но не любовь Базарова и Одинцовой: там все кончилось довольно пустым объяснением (чтобы затем уже эта умная и бесстрашная женщина могла утешить умирающего Базарова своим холодным поцелуем в лоб):

«— То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?

— Кто их помнит? Да притом любовь... ведь это чувство напускное».

Следует авторский комментарий: «Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно».



Отличие реализма от романтизма, в частности, в том, что реализм стремится к «полной правде» — и доходит до возможного предела познания и самопознания, а романтизм упивается ощущением близости непознаваемого. В этом смысле самый романтический герой романа — как ни странно, Базаров, который, как оказалось, читал не только французских «ученых», вроде Мишле, и немецких популяризаторов науки, но и английские готические романы Анны Ратклифф, сделав из них неожиданные выводы по русской социологии: «Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает». Эти слова Базарова не случайно перекликаются с только что приведенными словами автора о самом Базарове и Одинцовой.

Но далеко не все герои романа «себя не понимают». Вопреки сложившемуся стереотипу, превосходно понимает себя, а заодно и Аркадия, «тургеневская девушка» Катя, мудро руководимая в своем воспитании своей «видавшей виды» (как выразился Базаров) сестрой. Именно Катя объясняет Аркадию, что они созданы друг для друга и что он не такой, как Базаров:

«— ...Я чувствую, что и он (Базаров) мне чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой... Он хищный, а мы с вами ручные».

Поначалу молодому человеку слышать такое обидно. Он пускается в объяснения, что не хочет быть хищным: «Хищным нет, но сильным, энергическим». На что Катя возражает:

«— Этого нельзя хотеть... Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть».

Но тем не менее Катя не просто предпочитает Аркадия «его приятелю». Катя любит Аркадия, а он любит Катю. Настолько прекрасно, настолько ясно и безошибочно их взаимное чувство, что оно поразило даже «видавшую виды» сестру:

«— Дети! — промолвила она громко, — что, любовь чувство напукское?»

Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли».

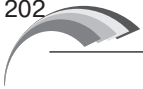
Чем Катя отличается от Елены Стаховой, которая была убеждена в том, что счастливы только замечательные или, по Катиной терминологии, хищные люди? Да только мудрым женским воспитанием, которое дала ей старшая сестра на собственном отрицательном опыте. Вот и вышло, что по-настоящему замечательные только счастливые люди: «Он (Аркадий) едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя...» — а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек».

«Ну, а дальше?» А дальше дети становятся отцами и матерями, «у Катерины Сергеевны родился сын Коля», названный, как это было принято в дворянских семьях, в честь деда по отцу. И это уважение к отцу, таким образом оказанное Аркадием и его молодой женой, — не простая формальность, ведь они влили молодую кровь в его дело, в его «ферму», и эта дворянская «ферма» стала «приносить довольно значительный доход» (чему бывали примеры и в жизни — «ферма» великого русского лирика и сельскохозяйственного практика Фета, например).

Вот, собственно, и все предназначение человека — и вот его счастье. От него нельзя устать. Устать можно от борьбы за счастье. Но если это борьба именно за счастье, если это не голое отрицание, не «нигилизм», не борьба ради самой борьбы — то за счастье стоит и побороться.

Несчастный, уставший от борьбы Гамлет отрицает вечно бодрого, счастливого своей принципиальностью и всегда готового на подвиг Дон Кихота — но истинно счастливые люди отрицают и Гамлета, «на новом витке спирали» возвращаясь в «старый замок Дон Кихота» — в родовое кирсановское Марьино.

Привилегия Гамлета — быть с почетом унесенным со сцены (и то мы теперь уже знаем — почему: в театре «Глобус» не было кулис, надо было убрать «трупы»).



Однако Тургенев и здесь пытается не ограничиться лишь меланхолическим приятием неизбежного:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечно сиять.

Он даже в последней фразе спорит с этими пушкинскими стихами. Он показывает те же самые слезы любви, которые незадолго до этого называл слезами высшего счастья, доступного на земле человеку, — и где показывает? На могиле Базарова, в земной судьбе которого ничего уже исправить невозможно:

«Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном прирении и о жизни бесконечной».

8. СЧАСТЬЕ ЕСТЬ, НО НИКОМУ НЕ НУЖНО

Роман вызвал бурю в русском образованном обществе. Не того ожидали современные читатели от популярного писателя. Тихая мудрость, утверждение и оправдание простого человеческого счастья как основы не только семейного, но и общественного благополучия — все это было не нужно вырвавшейся на свободу «прогрессивной молодежи», в которой Тургенев верно угадал болезнь нигилизма. При этом все они (за одним, но важным исключением) отказались признать верность собственного портрета.

Прежде всего это касалось идейного ядра «новых людей» — редакции журнала «Современник». Посовещавшись, редакция доверила выразить общее мнение критику Максиму Антоновичу. Тот придумал для своей статьи, как ему казалось, верный и точный ход. Его расчет был на умаление художественной силы романа Тургенева, расшевелившего незрелые умы и чувства «прогрессивной молодежи» и заставившего самоуверенных юношей и девушек, быть может, впервые в их жизни искренне задуматься о самом главном и усомниться в «очевидном».

Чтобы прекратить сомнения, М. Антонович пишет как бы и не о Тургеневе и его романе, а о вредной привычке «отцов» читать морали «детям» — ругаться и только ругаться. Критик находит такой художественно беспомощный, чисто «ругательный» роман, направленный «против безнравственности и атеизма» современной молодежи. Автор романа — скандальный писатель В. Аскоченский, название — «Асмодей нашего времени» (1858). Асмодей — это одно из имен дьявола, а также имя демона — разрушителя семейных очагов. Именно так — «Асмодей нашего времени» (1862) — Антонович и назвал свою статью. В ней Базаров поставлен в ряд «асмодеев», то есть ни на чем, кроме брани «отцов», не основанных, чисто «ругательных» образов, не имеющих никакого отношения к реальной действительности.

Масла в огонь подлил и сам В. Аскоченский. Он как раз стал издавать журнал «Домашняя беседа» и, конечно, не мог не откликнуться в своем журнале на, так сказать, бесплатную рекламу в «Современнике». Будучи несомненно польщен сравнением с Тургеневым, В. Аскоченский выразил автору «Отцов и детей» благодарность за то, что тот «заставил высказаться наших «передовых», раздражив их художнически нарисованной картиной их собственного всестороннего безобразия».

Однако для всего последующего восприятия тургеневского романа оценки

«передовых» критиков стали, без преувеличения, большим несчастьем сразу по двум причинам.

Во-первых, оперативные отзывы «передовых» критиков заглушили более неспешные и взвешенные оценки людей тоже еще молодых, но более искушенных и профессиональных — например, Николая Страхова, который в своей рецензии на «Отцов и детей» сумел оценить именно неоднозначность и близость к жизни созданных Тургеневым образов его современников.

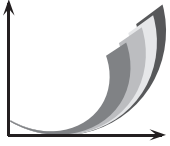
Во-вторых, не все оценки «передовых» были ругательными. Среди них оказался и один положительный отзыв — уже известного нам певца анатомируемой лягушки Дмитрия Писарева. Этот ведущий критик недолго просуществовавшего журнала «Русское слово» в своей статье «Базаров» использовал прием, прямо противоположный тому, что применил в отзыве «Современника» Максим Антонович. Писарев не только не сделал вид, что образ Базарова не имеет к «современной молодежи» никакого отношения, — он, наоборот, полностью отождествился с этим образом. В Базарове его привлекало именно то, что мешало самому Базарову всецело отдаться борьбе за «последнего мужика», стать «реальным политиком» — его непримиримость к любым недостаткам, в том числе и недостаткам «обожаемого» интеллигенцией «простого народа».

Как утверждает авторитетный современный историк русской литературы этого периода В. П. Мещеряков, «именно под влиянием писаревских страстных и зажигательных выступлений» тургеневские образы (а им, кроме статьи «Базаров», нашлось место и в еще более шумевшей писаревской статье — «Реалисты») начинают «положительно» осваиваться «революционной» критикой. А поскольку, пишет В. П. Мещеряков, «в России XX века победила «революционная идеология», точка зрения Писарева стала канонической, а все прочие мнения были объявлены реакционными».

Так Базаров из «асмодея» волшебным образом превратился в «положительно-го героя», «типичного революционера». Каковым он и оставался более столетия в глазах многих поколений, которые познакомились с ним по школьным учебникам да по отрывкам из статей Писарева. Однозначность хрестоматийных трактовок не вызывала никакого желания прочесть сам роман, а иные трактовки были запрещены, а значит недоступны.

И вот наступил век XXI. Все доступно, и даже студенты-филологи в массе своей убеждены, что «все отцифровано» (на самом деле это, конечно, далеко не так), в библиотеку ходить не надо. А полный академический Тургенев пылится на полке со своим невостребованным счастьем...





ПРЕМИЯ БАБЕЛЯ



ТРЕТИЙ СЕЗОН (2019)

До открытия премиального сезона осталось чуть меньше двух месяцев.

Исходя из опыта прошедших лет, Оргкомитет внес некоторые коррективы в Положение о Премии (<http://babel-premia-odessa.org.ua/infoabout/polozhenie>).

Вот они:

3.4. На соискание Премии выдвигаются произведения, впервые опубликованные в период с 1 марта 2018 по 1 марта 2019 гг., а также неопубликованные рассказы, написанные в этот же период.

3.6. Один автор может быть представлен одним произведением (включая написанное в соавторстве), если дата его публикации или написания соответствует условиям данного положения.

3.7. Объем присылаемого на конкурс рассказа (новеллы) — не менее 0,25 и не больше 1 авторского листа (за авторский лист принимается текст объемом 40 тыс. печатных знаков, включая пробелы). Вместо одного рассказа на Премию может быть выдвинут и цикл коротких рассказов под общим заголовком, объемом не менее 0,25 и не более 1 авторского листа.

В третьем сезоне Премии расширен также состав жюри.

На итоговом заседании жюри прошлого года, по предложению Сергея Махотина, поддержанного единогласно, в жюри приглашена первый победитель премии имени И. Бабеля писатель Марианна Гончарова (Черновцы).

Теперь в жюри Премии семь человек (<http://babel-premia-odessa.org.ua/infoabout/jury2017>).

Авторам, участвующим в Премии впервые, сообщаем некоторые другие пункты Положения:

1.7. Размер денежного вознаграждения Премии: I место — 60 тыс. грн., II место — 30 тыс. грн., III место — 15 тыс. грн.



1.11. Все рассказы — победители Премии будут переведены на украинский язык и предложены к публикации в литературных журналах и альманахах Украины.

3.9. Произведения, выдвигаемые на Премию, высылаются по электронной почте в адрес Премии babel.premiya@gmail.com. Шрифт — любой, кегль 12, интервал — 1.5.

Произведения должны быть доставлены в адрес Премии не ранее 15 января и не позднее 15 апреля премиального года.

4.4. Члены жюри отбирают произведения для «Длинного списка», который объявляется не позднее 15 мая текущего года.

4.5. «Короткий список» формируется жюри Премии из произведений «Длинного списка» и объявляется не позднее 10 июня текущего года.

4.6. На основании «Короткого списка» члены жюри определяют лауреатов Премии — обладателей первого, второго и третьего места. А также дипломантов Премии числом не менее трех и не более пяти.

5.1. Церемония вручения Премии в 2019 году приурочена ко дню рождения Исаака Бабеля и пройдет в четверг 11 июля в Золотом зале Одесского литературного музея.

5.2. Лицам, ставшим победителями Премии, присваивается звание лауреата Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля, вручается соответствующий диплом и выплачивается денежное вознаграждение. Лауреату Премии (I место) кроме диплома и денежного вознаграждения вручается главный приз конкурса — миниатюрная статуэтка «Колесо судьбы» (скульпторы Г. Франгулян и М. Рева). Авторам, ставшим дипломантами Премии, вручается соответствующий диплом (без денежного вознаграждения).





МЕЖДУ ВОЛКОМ И СОБАКОЙ

Вячеслав МУСИЕНКО. «Три цвета белой собаки». — К.: Саммит-Книга. 2018.

Роман Вячеслава Мусиенко дебютный. Большая же проза, как известно, подобна трудно достигаемой вершине. Без разработанного сюжета и хорошего знания основ драматургии не обойдешься. Так вот Вячеслав Мусиенко, как альпинист литературных скал, сразу берет читателя в оборот. Начиная с пролога, темпоритм повествования упруг и напорист. «Сколько это длилось? Мне казалось — вечность, однако когда я обретал возможность двигаться и вскакивал, всхлипывая от ужаса, с кровати, никого не было, а часы показывали около пяти утра. Я уже не мог заснуть, открывал настежь окна, хватал ртом прохладный воздух, оглядываясь на смятую постель: неужели приснилось? Неужели сон может быть столь реалистичным и таким однообразным?» В час между волком и собакой в предутренний сон главного героя Марка Gladкохатого приходит посланница тьмы и мучит его тело и душу. С такого пролога начинается этот роман. Черт, частый персонаж европейской литературы, предстает тут в виде ведьмы, у которой невозможно разглядеть лицо.

В первых главах романа лавина сексуальных эпизодов вызывает некоторое недоумение (но не раздражение), потом понимаешь, что эти обильные подробности необходимы для проникновения в психологию и приоритеты главного героя. Чувство соразмерности иногда изменяет автору, но не в токсичных количествах.

Марк Gladкохатый — конечно же, альтер эго Вячеслава Мусиенко. Раздвоенность и в то же время единство идут на пользу роману. Автор не оглядывается своего героя, наоборот, он его не просто судит, а беспощадно препарировывает. Это не кокетливая самоирония, часто встречающаяся в прозе писателей-постмодернистов, а предельно жесткий разговор и с самим собой, и с типажом, которого, на первый взгляд, олицетворяет главный герой. Чем больше Марк Gladкохатый преуспевает в банкирстве и сопутствующем новом нуворишам «шикарном» образе жизни, тем больше у него вопросов к себе и ближним.

Умеренные вкрапления литературных аллюзий дают понять, что Марк Gladкохатый не из породы тех, кто обвешивал себя тяжеловесными золотыми цепями с крестами — «только без гимнаста». Он из породы homo читающего и размышляющего. Автор напоминает читателю о том, что когда-то в нашем обществе был культурный код, по которому каждый новый человек допускался или не допускался в ближний круг общения. «Снова тебя тянет на анизотропное шоссе?» — спрашивает жена у Марка. И образы братьев Стругацких встают перед глазами читателя. Тот любитель отличной прозы, у которого такие знаковые писатели выплывают из подсознания, проникается доверием и к Вячеславу Мусиенко. В дебрях «Белой собаки», меняющей цвет, читатель натолкнется еще не раз на литературные аллюзии, в том числе, на «Волхва» Фаулза — и совершенно не случайно...

Когда я читала роман Вячеслава Мусиенко, мне все больше и больше хотелось, чтобы автор смог осилить тот замысел, на который замахнулся. Иногда в этом возникали сомнения. Слишком частые упоминания лейблов вечерних платьев, халатов и, простите, трусов сбивали с ритма, заданного самим же автором. Вместо Стругацких и Фаулза мне зачем-то периодически предлагался не замутненный интеллектом образ Оксаны Робски. Была в нулевых годах такая сказительница Рублевки. Нынче ее творения пылятся на складах невостребованной бумажной продукции. Но постепенно



Робски растаяла в тумане в час между волком и собакой, а Мусиенко повел свою литературную яхту на другие глубины.

Когда читаешь в отзывах о книге «Три цвета белой собаки»: эротический триллер, финансовый боевик с элементами мистики, — становится как-то дискомфортно от агрессивно-гламурных штампов. Леди и гамильтоны! Уверю вас, что ничего подобного в романе Мусиенко нет. Да, главный герой — банкир, да, его подставляют партнеры, да, у него есть жены, дети, внебрачные подруги и одноразовые попутчицы. Но это всего лишь вывеска, под которой прячутся совершенно неожиданные сюрпризы. Вот в этих неожиданностях — суть романа.

Наверное, настоящую прозу способны создавать только те писатели, которые чувствуют пульсацию времени, могут подключить к читателю ток эпохи, создать героя, нового и многогранного. В этих книгах разные сюжеты, персонажи, лексика, стилистика, вообще вся образная система. Вот уже несколько десятилетий лучшим ловцом нерва эпохи в постмодерне считается Виктор Пелевин. Сейчас вышел его новый роман «Тайные виды на гору Фудзи». Сначала мне показалось, что герой «Горы Фудзи» весьма похож на Марка Гладкохатого из «Белой собаки». Но я ошиблась. Пелевин своего героя долго водит, как Иван Сусанин, по буддийским тропам, а в финале оставляет от него мокрое место, униженное и оскорбленное. Героя, в общем-то, не жаль. Жаль времени, потраченного на прочтение книги. «Фильтруй санскрит!» — сказала я себе и пошла искать новые смыслы.

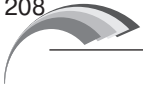
Но вернемся от лирического отступления к нашим баранам, вернее, к нашей собаке. В эпоху постмодерна все меньше идей витает в воздухе, все больше цитат с их десакрализацией обрушивается на голову бывшего интеллигентного индивидуума. Иногда это бывает бессмысленно, иногда забавно, а иногда рождается непредвиденное осмысление великих потускневших истин. С названием книги Вячеслава Мусиенко «Три цвета белой собаки» произошло такое интуитивное зарождение нового смысла. Когда-то Анатолий Виноградов написал роман о Стендале и назвал его «Три цвета времени». Французский Хемингуэй (так говорит о нем Дмитрий Быков) Ромен Гари написал роман «Белая собака». Между этими двумя произведениями, казалось бы, нет ничего общего. Почти. Кроме схваченного за жабры нерва времени.

Метафизическая белая собака в книге Вячеслава Мусиенко меняет свой цвет в зависимости от того, с какими вопросами и запросами расшатавшегося бытия приходит к ней главный герой. Марк Гладкохатый, стареющий плейбой, способный «отпатриаршить» на яхтах не одну красотку, открывает в себе черты, о которых раньше и не подозревал. Оказывается, он может любить, испытывать жалость и чувство вины по отношению к женщинам, с которыми его свела и развела судьба. И вот тут приближается финал, в котором все прояснится: перед кем он виноват, кто его предал, кого любит он и кто любит его. В ужасе от возможности такого хеппи-энда я едва удержалась от соблазна захлопнуть книгу и не открывать ее больше никогда. Но удержалась. И «Собака» меня вознаградила. Не в тех колодцах герой вылавливал свою вину... И с женщинами все оказалось достаточно просто, но совсем не так, как он думал. И у белой собаки действительно может быть три цвета. Книга заканчивается тогда, когда герой начинает не то чтобы прозревать, но видеть. Время обнулилось. Начался его новый отсчет.

Помните, как у Гребенщикова?

На что мне жемчуг с золотом,
на что мне art пошвеау;
Мне кроме просветления
не нужно ничего...

Ирина КАРПИНОС,
писатель,
Киев



НЕПРИКАЯННЫЕ И ОКАЯННЫЕ СЕРЫЕ ПЧЕЛЫ

Андрей КУРКОВ. «Серые пчелы». — Х.: «Фолио». 2018.

*Не думай легкомысленно о зле: «Оно не придет ко мне».
Ведь и кувшин наполняется от падения капель.
Глупец наполняется злом, даже понемногу накапливая его.*

«Дхаммапада»*

С недавнего времени очень актуальной и востребованной стала проза о войне на востоке Украины и о жизни мирного населения в inferнальной реальности. В каждой хайповой** теме всегда есть образцы литературы подлинной (для меня — это когда книга написана не зря, когда от нее становишься «больше», когда существует потребность оставить книгу на ближней полке в личной библиотеке) и литературы проходной, написанной на злобу дня. Касается это и художественных текстов.

Читая роман «Серые пчелы», я задумывалась, останется ли на моей полке эта книга. Думаю, что да. И не только потому, что рецензирую ее...

Мне уже приходилось писать отклики о книгах данной тематики, которая скорее всего надолго останется интересной и полезной, учитывая драматизм происходящего. Книги разные, и каждая по-своему талантливо сделана. Таков, безусловно, и новый роман Андрея Куркова.

Роман не самый длинный, но полнометражный — около трехсот страниц. Вопреки и наперекор наметившимся в мире в последнее время тенденциям превращения большой прозы в не очень большую, скорее в короткую.

Роман весьма кинематографичен и может впоследствии послужить основой для хорошего сценария. Автор пишет свой «фильм» кадр за кадром, движение за движением, деталь за деталью. Делает это вовсе не крупными броскими мазками. Живопись «Серых пчел» микроточечная, скрупулезная и видна даже с небольшого расстояния. Справедливости ради нужно сказать, что яркость пронзительных тропов всегда предпочтительна в современной беллетристике, но такова раздольная манера писателя.

В первой части текста тонко, достоверно и детально выписан быт «серой зоны», ничейной, брошенной почти всеми и неприкаянной, где с одной стороны позиции украинской армии, с другой — сепаратистов. А между — слепое пятно, поселок с двумя застрявшими вне бытия жителями, двумя врагами-приятелями, Сергеичем и Пашкой.

«Серая зона ни на кого не нападает. Она потому и серая, что ничего в ней не происходит и почти никого нет. А вот за ней, за серой зоной, другой горизонт и тоже вооруженный. И так получается, что оба эти горизонта против серой зоны орудиями ополчились. Хотя и тем, и другим на серую зону плевать. Они через нее друг в друга попасть хотят».

Контраст неспешного повествования, присущего деревенским сагам, и трагизма событий романа питают призрак естественного человеческого страха. Серое — в помощь.

«Страх — штука невидимая, тонкая и разная. Как вирус или бактерия. Его можно и с воздухом вдохнуть, и с водой или водкой случайно выпить, и через уши, через слух

* «Дхаммапада» — одно из важнейших произведений буддийской литературы.

** Х а й п — ажиотаж (сленговое).



заполучить, и уж точно глазами увидеть можно так ярко, что в глазах его отражение останется даже тогда, когда сам страх уже исчезнет. ...Откуда-то издалека... «бахи» артиллерии донеслись. Но такие далекие, что Сергеич даже шаг не замедлил... глаза к этой серости привыкшие у него. Черное плюс белое дают серое. Вот так и темень да снег сочетаются и дорогу зимнюю вечернюю видимой делают. ...серое тоже ярким бывает! Много ты понимаешь про серое! Я вон могу оттенков двадцать серого различить».

Непривычный, я бы сказала — «былинный» порядок слов в предложениях способствует монотонной вибрации ритма прозы, сильно напоминающей гул от вибрации улья. Наверняка автор этого и добивается. Щепки событий медленно затягивает в водоворот, а их цепь накрепко связана «резиновым словом «пока». Ведь в зоне ничего не бывает окончательным. Даже погибший неизвестно чей солдат бесконечно долго лежит в поле. И еды хватает ненадолго, и угля, а электричество исчезло на неопределенный срок. Пасечник Сергеич бережет своих зимующих в сарае пчел, а Пашка шастает в соседний поселок к сепаратистам за хлебом и сигаретами. Так и зимуют пока...

Ни столиц нет в подобных зонах, ни справедливости. Хотя Сергеич к ней стремится. Переименовывает обе улицы поселка, как принято с некоторых пор на большой земле, в Киеве и окрестностях (о чем рассказывает украинский воин Петро, который изредка захаживает к Сергеичу по ночам). Поменял пасечник таблички, и вроде бы справедливость восторжествовала — теперь он стал жить на Шевченко, а Пашка, сочувствующий просоветским боевикам, на Ленина. А не наоборот.

«Поэты — люди безвредные. Не то что политики! Теперь я на улице Шевченко жить буду!»

Брошенность вперемешку с обреченностью иногда сквозит в романе, в том числе когда пасечник покинул свой дом, увозя пчел от войны.

«Бросил Сергеич взгляд в небо, а дождь ему прямо в глаза открытые. И показалось ему, что дождь соленый. Ведь и на губы капли попали, и на язык. Словно это слезы небесные, а не дождь. Словно это небо за него, Сергеича, плачет... Осталась позади война, в которой он не принимал участия, а просто оказался ее жителем. Жителем войны. Участя совсем не завидная, но для человека куда более терпимая, чем для пчел. Но пчелы, они ведь вообще не понимают, что такое война!»

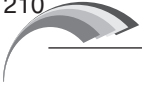
Роману свойственен некий небрежный стиль — такой себе *La sperezzatura* (итал.). Дело в том, что автор не особо заботится о мускулистости и сжатости текста, давая порой излишнюю детализацию и пояснения пояснений. Сверхламинарность дает ощущение антидинамики фабулы. Также в тексте во многих местах оставлены так называемые лишние слова. Однако они все же играют некоторую роль в лепке характеров простых людей с незатейливыми мечтами. И дают представление об их состояниях.

Подробные описания трапез, снеди, вкуса еды, приспособлений для выживания в полевых условиях свидетельствуют о важности первичных потребностей, вышедших на передний план во время войны, оккупации и лихолетья. Весь роман буквально кричит об этом. Об океанной жизни беженцев — скитальцев XXI века — и об их маленьких шемящих радостях, от которых «гладкость в голове» и спокойствие возникают.

«Борщ, сваренный Галей, сразу Сергеича наповал. Плавали в нем белые грибы сушеные, и фасоль, и куски телятины. Ел он его размеренно, неспешно, то и дело на Галю посматривая, так как впервые они вдвоем ужинали одновременно, а не так, как в предыдущие вечера у костра, где она его кормила, а сама просто сидела. Гая к борщу бутылку «казенки» достала. Пили они без тостов, по полрюмочки за раз».

Случившаяся у Сергеича и продавщицы сельмага Гали «любовь» тоже отражает скорее удовлетворение первичных потребностей. А со стороны пенсионера-беженца — и благодарность отзывчивой женщине.

В символическом ряду романа заметное место занимают туфли из кожи страуса. Те самые, туфли бывшего губернатора, подаренные пасечнику за лечебный сон на ульях. Их-то и бережет пчеловод как зеницу ока, в «туфельнице» ручной работы,



невзирая на неподходящий размер и невозможность использования по назначению. Сакральный смысл и других, казалось бы, утилитарных предметов в романе преувеличен автором умышленно, что дает представление об отношении героя к прошлому. Здесь и платье бывшей жены, и старые открытки, и фото, и восковые церковные свечи.

По стилистике произведение цельное и однородное, что свидетельствует об опыте и мастерстве писателя.

Из недостатков романа нельзя не отметить некоторую затянутость (о чем уже говорилось ранее), искусственность символики (люди, как пчелы, а пчелы, как люди) и минимум диалогов. Впрочем, скромный образ главного героя — молчаливого человека, который и чувства свои описать способен лишь наполовину, и не требует большего. Отношения с людьми (Пашкой, боевиками, бывшей женой и дочкой, крымскими татарами, оккупационными властями, местными из Запорожской области, даже Галей) неизменно ставят его в тупик, тут не до рассуждений.

«Подробнее она не объяснила, а потому уехал Сергеич домой озадаченный своей «сущностью», которую был бы рад и сам разгадать. Да не вышло!»

Добавлю к недостаткам чрезмерную статику характеров, несколько противоречащую финальному поступку Сергеича — уничтожению гранатой улья с посеревшими пчелами, побывавшими «в плену» у ФСБ.

По поводу инсайдов от прочтения этой книги упомяну тот же неординарный финал. Его абсолютную кажущуюся абсурдность. Перед нами уже иной персонаж, поражающий читателя непредсказуемостью и внешней нелогичностью поступка. Даже непритязательный человек, свыкшийся с несчастьями, в итоге теряет врожденную толерантность. И не стремится понять и простить всех на свете. Избавить от страданий, а если нужно, и от себя. И спасти. Даже своих окаянных пчел.

Что касается названия романа, то оно — бесспорная находка. Сомневаюсь, что у автора были варианты и долгие колебания. Как же еще было назвать эту книгу? Разумеется — «Серые пчелы».

Уверена — быть этому роману на читательских полках! В Украине и других странах. Любопытство всегда берет верх. Тем более, что ничего еще не закончилось. Мы — создатели новейшей истории. А в наших головах многое зависит от прочитанного и его осмысления. Ибо, как напоминает Курков: «сказанные слова не исчезают, они остаются».

Элла ЛЕУС,

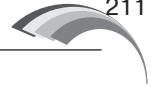
писатель, главный редактор литературного альманаха «Палисадник»,

Одесса

РЕАЛЬНОСТЬ, КАК РОМАН

Виктор ШЕНДРИК. «Был Городок». - К.: Печатный двор Олега Федорова, 2018.

У вас такое бывало — начинаешь читать книгу, и не можешь оторваться, и читаешь, забывая обо всем, а когда остается уже до конца две-три страницы, так хочется, чтобы их было еще, по крайней мере, двести? Если бывало, то вам — сюда, здесь именно такая книга — «Был Городок» Виктора Шендрика. Книга, написанная живо и остроумно. Не только увлекательная, но и познавательная, ибо речь в ней идет о событиях, происходивших в конце XVII века в городке Успенске на границе Украины и России, в Азове и Чигирине, в Москве, Варшаве и Париже, а среди действующих лиц — Богдан и Юрий Хмельницкие, Иван Мазепа, Степан Разин



и Кондратий Булавин, Петр Первый и кардинал Мазарини, и даже капитан-лейтенант мушкетеров месье д'Артаньян, который, как утверждает Виктор Шендрик, был хорошо знаком с Мазепой, но отношения между ними сложились напряженные.

Время является полноправным героем книги, в которой события уже далекого прошлого настолько напоминают сегодняшние, только в ином антураже и с другими исполнителями, что просто оторопь берет. Воистину, «все, что было, не уплыло», все повторяется, и «ничто не ново под луной». Судите сами:

«...И разгорелось восстание с новой силой, приобретая в ходе своем все характерные признаки гражданской войны. Обильно, как долги перед получкой, множились повсюду гайдамацкие загоны, представлявшие по сути своей бандитские группировки. Кровожадность и изощренной лютостью прославились гайдамаки настолько, что объявись они в сороковых годах двадцатого столетия, вряд ли кто-либо отличил бы их от батальона «Нахтигаль». ...Трудно представить себе количество крови, пролитой как украинским народом, так и многочисленными интервентами... Нам понятны интересы венценосцев, понятны и амбиции соискателей гетманской булавы... Но какие силы и побуждения влекли в горнило войны мещан и духовенство, казачью чернь и крестьян, то есть все слои населения, которые и принято именовать народом?

— Воля! — истово твердили они. — Вольности и права!

И отправлялись, одержимые, за этим убегающим миражом, и слагали свои горячие головы в угоду все тем же неизбывным властолюбцам»...

Как точно подмечено — «неизбывным». Точно, потому что проверено временем. И прошлым, и настоящим. Автор задается вопросом — кому чаще всего ставят монументы благодарные потомки? Ответ очевиден — знаменитым людям. Но кто они?

«...В Италии по сей день сохранились памятники Нерону. Установлены они не Нерону-поэту, хотя водился за ним и такой грешок. Установлены они Нерону — кровожадному и сумасбродному диктатору с явными признаками пиромании. Странно, но факт: наивысшую славу обретают наиболее отпетые бандиты и душегубы. Человека, совершившего одно убийство, сажают в тюрьму. Монстрам, погубившим миллионы человеческих жизней, ставят памятники, слагают о них песни».

Один из героев книги, как я упоминал выше, — гетман Мазепа. Заслуженно ли? Автор весьма убедителен, описывая время обучения Мазепы в Сорбонне, его службу гвардейцем при дворе короля, а также знакомство с капитан-лейтенантом мушкетеров д'Артаньяном, который с высоты своего жизненного опыта и дал наставление молодому гвардейцу — стать богатым и никогда не упускать своей выгоды.

Видимо, история с алмазными подвесками королевы и дальнейшие приключения добавили знаменитому мушкетеру предприимчивости и, как сказали бы сегодня, настроили на прагматичный, бизнесовый взгляд на окружающую действительность. Гетман урок усвоил «на отлично», став одним из богатейших людей своего времени. Он общался с кардиналом Мазарини и королем Людовиком, причем встреча с кардиналом стала судьбоносной, подарив не только воспоминания, но и... Впрочем, зачем рассказывать о том, что можно прочитать. А заодно узнать, где может находиться легендарный клад Мазепы — Мазарини, что стало самым тяжким камнем преткновения в отношениях гетмана и российского императора, и... многое другое, не менее интересное.

«Был Городок» — книга и о прошлом, и о настоящем, о «героях ушедших времен», и о нас с вами. Книга, которая объединяя реальность и фантазию, развлекает, дарит надежду и предостерегает одновременно.

Владимир СПЕКТОР,
писатель,
Германия





«Птаха»

В 5–6 номере «Радуги» за этот год была опубликована повесть Маргариты Черненко «Белая птица Не Улетай». А уже в октябре 2018 года в Арт-центре имени Ивана Козловского Национальной оперетты Украины по этой повести состоялась премьера спектакля «Птаха». Поставила пьесу заслуженная артистка Украины Ирина Калашникова. В главных ролях — актеры Александра Польшуй и Сергей Мельник.

...На сцене происходит поминутная перемена состояний, действие руководствуется эмоциями и мастерством актеров, поддержкой затаившегося в темноте зала. Стремительные перемены, неожиданный финал... Середина 1970-х годов, 80-е, 2000-е. Места действия — Киев (Русановка, Гидропарк), Баку, Кировоград, Рига. И множество аэродромов. Здесь происходит жизнь главных героев — студентки филфака Маши и пилота ГВФ Александра. В Гидропарке состоялось их знакомство, в Баку будет первое место работы, а в Риге они, пожив как муж и жена, расстаются навсегда. Вот уж поистине: «Мой адрес — не дом и не улица...»



Сценическое действие сопровождается музыкой того времени и удивительно пленительными поэтическими строчками — ведь студентка филфака пишет стихи. Режиссер Ирина Калашникова очень органично включила в ткань спектакля стихи Маргариты Черненко и Арсения Тарковского.

Густой фон из музыки и поэзии будоражит душу, тревожит, навеивает собственные воспоминания о том времени, краешек которого мы еще застали.

Радуют актеры: их взаимное притяжение наполняет флюидами зал, а это такая удивительная, нечастая вещь. Кстати, разговаривают они на двух языках — летчик по-украински, студентка по-русски, что составляет привычную ситуацию в Киеве.

И драма состоит в том, что оба вырваны из привычного мира, из киевской культурной среды. Летчик, завершив свою удачную карьеру, счастья так и не испытывает. Его, как птицу, тянет домой, на родину, к брошенной любимой, только там он чувствует себя хорошо. Новый дом в Риге, если он без Маши, не утоляет извечной тоски, здесь, на этой «Набережной туманов»...

Конечно, не обходится без ростков трагедии. «А завтра я умер», — безучастно произносит герой в зал, когда он решил и должен вернуться на родину. И именно эта смерть стала его выходом за пределы одиночества. Был ли он счастлив?.. Да, целых пять лет жизни когда-то, с Машей.

Актеры великолепно достоверны — и в счастье, и в раздумьях, и в страдании тоже. Сергей Мельник в летном кителе, Александра Польгуй в джинсовой юбочке действительно проживают свою жизнь на сцене, потому что другого для них и не может быть. Режиссер Ирина Калашникова очень точно расставила акценты в постановке, дозируя нужные опции счастья и тревоги. И стихотворения, и музыку, и шумы холодного моря.

Дмитрий КОРСУНЬ

Среди лучших фотокниг

Рады сообщить, что изданный «Радугой» фотоальбом «УКР.ИТТЯ» нашего автора Всеволода Ковтуна, выдержав соперничество более чем с тысячей других изданий, вошел в ноябре 2018 года в шорт-лист престижного конкурса «Лучшая фотокнига Центральной и Восточной Европы 2017-2018», проходящего в рамках одного из самых значимых событий в области фотоискусства — Европейского месяца фотографии (ЕМОР).

ЕМОР возник в 2004 году, связав в единое целое ранее существовавшие независимо друг от друга фотофестивали в Париже, Берлине, Вене, Братиславе, Будапеште, Афинах, Любляне и Люксембурге. Помимо конкурсной программы, под его эгидой ежегодно происходят десятки выставок, портфолио-ревью и семинаров на тему фотографии, проводимых всемирно известными авторами.

Будем с нетерпением и волнением ждать, когда из шорт-листа конкурса жюри выберет победителя.

«УКР.ИТТЯ» (в англоязычной версии — «POINTERTISSUE») — современный арт-проект на актуальном документальном материале, снятом автором в 2014–2017 годах в городах Украины, которая через семьдесят с лишним лет со времен Второй мировой войны была вынуждена вспомнить о бомбоубежищах. «В дома городов, куда не дошли бои, впились тревожно-красные стрелки со словом «Укриття». Колесо войны забуксовало, и эти указатели, напоминающие абрисом пули, остаются на стенах, как собственно пули остаются в человеческом теле,



когда до них не доходят руки медиков. Как организм, продолжая жить, обтягивает их живыми тканями, так эти указатели обрастают городскими артефактами, оставаясь при этом постоянным *me mento mori*», — сказано в предисловии.

Объем книги — 168 страниц, приобрести ее в типографском исполнении можно на сайте автора (otblesk.com/photo), а в электронном виде — на iTunes (AppStore), Amazon или Kobo.

На фото Сергея Мельниченко: книга «УКР.ИТТЯ» на стенде конкурса в Братиславе.

Наши вечера

Раз в месяц, а то и чаще, «Радуга» совместно со своими авторами проводит литературные вечера. То есть вечера у нас бывают чаще, чем сейчас выходит журнал. Разве что считать их устными номерами журнала... А в самом деле, почему бы и нет?! О самых последних, которые предшествовали выходу этой «Радуги», захотелось рассказать. Первый был в Белой гостиной Киевского дома ученых — презентация книг Бориса Финкельштейна «Инша дорога» и «Другая дорога», то есть сборника рассказов, который издательство журнала выпустило в двух вариантах — на украинском и русском языках. Автор предпочел не читать рассказы, а поведал, как их писал; так что речь зашла об особенностях и даже секретах творческой работы. А еще это повествование дополнили редактор «Радуги» Юрий Ковальский, редактор журнала «Всесвіт» Дмитрий Дроздовский (Борис Финкельштейн вот уже несколько лет автор и этого издания), секретарь НСПУ Виктор Мельник. Веселую пародию на своего коллегу прочел Александр Володарский. И совсем неожиданным было выступление одной из читательниц, пришедшей на этот вечер. А как же не выступить, если оказалось, что она вместе с Борисом Григорьевичем училась в одном и том же институте!

Много лет отдел поэзии «Радуги» возглавляла (60–70-е годы прошлого века) Изольда Антропова. А в начале этого года ее не стало. Но правильно говорят — писатель живет, пока помнят, читают его произведения. В № 3–4'2018 мы напечатали стихи Антроповой. А затем при активном участии дочери — Марии — выпустили поэтический сборник «Автопортрет». Его презентации была посвящена часть еще одного вечера «Радуги» в Белой гостиной Дома ученых. На этом же вечере



свою книгу, также изданную «Радугой», представил Борис Еромицкий. Звучала и музыка — несколько своих песен исполнила Анна Калита.

Вечер, посвященный выходу книги Николая Хомича «Черная Луна» (на русском языке ее выпустила «Радуга», а на украинском — издательство «Друге дихання»), был театрализованным. И неслучайно — ведь первая его часть проходила в Театре на Подоле. Фрагменты романа сыграли актеры Юлия Максименко и Глеб Иванов. Вторая часть вечера состоялась неподалеку от Андреевского спуска на горе Уздыхальнице, и опять же не обошлось без театрального действия. Теперь своим видением романа Николая Хомича поделились со зрителями актеры креативной АРТ-группы «Liumanov show».

А в музее Шолом-Алейхема актерские способности продемонстрировал сам автор — Сергей Черепанов, а помог ему играть текст новой книги «Рыба моей мечты» еще один писатель, он же заслуженный артист Украины Василь Довжик. Также к театральному действию ярко подключилась супруга Сергея — Лариса Черепанова. А как же иначе? Она ведь актриса театра «Радуга». А завершился этот вечер настоящим сюрпризом — выступлением солиста Национального театра оперетты Дмитрия Шарабурина.





Александр ВОЛОДАРСКИЙ. Рассказ «Гоголя вызывали?»



*Александр Володарский — прозаик, драматург. Автор трех книг иронической прозы. Автор семи пьес, по которым с успехом идут спектакли в театрах Украины, России, Беларуси, Молдовы, США.
Живет и работает в Киеве.*

Александр ВОЛОДАРСКИЙ



Александр ВОЛОДАРСКИЙ

ГОГОЛЯ ВЫЗЫВАЛИ?

Е. Черняховскому

«Пациент и врач подпишут декларацию об обслуживании... Медику разрешено обслуживать до 2000 пациентов. Средняя ставка для семейного врача за приписанного человека в 2018 году составит 370 гривен. Также тариф будет зависеть от возраста — за пенсионеров будут доплачивать». (Из прочитанного о медицинской реформе в Украине.)

— Квартира Сидоренко? Здравствуйте, я ваш участковый врач! Фу, пятый этаж, еле забрался. Ничего, с вас начну, потом спускаться — будет легче.

— А мы врача не вызывали.

— Я знаю, что не вызывали — я сам пришел. Добровольно! Пришел узнать, все ли вы, Сидоренки, живы, все ли здоровы? Если что, могу вымыть руки и послушать, фонендоскоп у меня с собой.

— Спасибо, у нас все здоровы.

— Ага, значит — здоровы и не кашляют... Приятно слышать. А про медицинскую реформу, Сидоренко, вы слышали?

— Слышали, конечно. Правда, что она реформирует — не совсем ясно.

— Ну, что она конкретно реформирует, я вам объяснить не могу. И никто не объяснит. Но лично меня реформа коснулась непосредственно: я был участковый врач, а стал — семейный! И теперь должен с каждым из пациентов заключить специальную декларацию о медицинском обслуживании. Чтоб получать хорошую зарплату, мне нужно набрать две тысячи пациентов, это вам не кот начихал.

— Так у нас был уже врач, ваш коллега. Мы с ним заключили.

— Как с ним?! Я же столько лет на вашем участке!

— Он раньше пришел. А нам, в принципе, без разницы, у кого лечиться. Толку все равно мало.

— Так если уж вам все равно — давайте лечиться у меня. Заключим со мной новую декларацию — это автоматически аннулирует старую.

— Неудобно как-то... Мы же...

— Удобно!

— Как же... Неудобно.

— А я говорю — удобно! Гиппократом клянусь — удобно! К тому же я вам за это денег дам.

— Денег? Простите, доктор... Когда больной платит врачу — это я еще понимаю, но чтобы наоборот — впервые слышу. И почему, интересно, пациент?

— Давайте так: обычный — по двадцать гривен пойдет, а пенсионер... Черт с ним, пенсионер — по полтиннику! Мне для пенсионеров ничего не жалко!

— Не пойму я вас, доктор. Отчего это за пенсионеров больше? От них же вам одна морока!

— Морока, а все равно больше. Потому как за обычного пациента оплата врачу фиксированная, а за пенсионеров Минздрав обещает доплачивать. Правда, сколько — пока неизвестно.

— Тогда это — грабеж! Мне на выборах за голос пятьсот гривен предлагали.

— Так вы же президента выбирали, можно сказать, решали судьбу Родины, а сейчас всего лишь участкового врача выбираете.

— Доктор! Вы же доктор, а не бизнесмен, и не стыдно вам торговаться?! Мое последнее слово: за обычного члена семьи — по пятьдесят, а за пенсионера — по двести. И я вам своего папашу отпишу.

— А где он?

— В той комнате лежит. Он, правда, в маразме, но я за него все заполню.

— Да-а, вы, больной, — не промах!

— Доктор, так это ж рынок. Можно сказать — здоровая, вернее, больная конкуренция!

— Хорошо. А бабушка ваша где? Я даже помню, как ее зовут. Неонила Петровна, правильно? Вот у меня память, да?! Я почти всех своих больных по диагнозу помню. У вашей бабушки — остеохондроз и диабет в легкой форме. Я вам скажу: если в девяносто лет у вас только остеохондроз и диабет — вам можно позавидовать. Давно она, кстати, ко мне на прием не приходила.

— И не придет.

— Что значит — не придет? Она тоже к другому врачу записалась? Не может быть, мы же с ней недавно на улице встретились, поговорили тепло.

— Умерла бабушка.

— Что вы говорите, примите мои соболезнования. Пусть земля будет ей пухом. И давно?... Я спрашиваю — отмучилась Неонила Петровна давно?

— Пять лет.

— Совсем недавно, значит... Время летит... Минутку... Но ведь переписи населения у нас не было. И в списках избирателей, она, наверняка, еще значится...

— Еще как значится! Я за нее проголосовал — пятьсот гривен на дороге не валяются.

— Вот видите, я же говорю... Знаете что, а давайте бабушку тоже ко мне запишем. Я вам за нее пятерку накину.

— Позвольте! Как же это, за бабушку — пятерку?! Маловато будет.

— Так бабушки-то, собственно говоря, нет. Пшик у вас есть, а не бабушка!

— Но моя бабушка — она же какая была! Вы не помните, а я помню! Никогда не жаловалась, к врачам не ходила! Из пенсии мне всегда игрушку покупала! И за такую бабушку — всего пятерку?



- Хорошо, десятку.
- Десятку?! Я лучше вашему коллеге бабушку бесплатно отдам, чем вам за десятку!
- Ладно. А какова ваша цена?
- Двадцать пять и не копейкой меньше!
- Двадцать и бесплатный талон на анализ мочи!
- Пятнадцать и два талона! По рукам?
- По рукам. Но у меня на прощанье к вам деликатный вопрос. Вы ведь в этом доме давно живете? Тогда скажите, кроме вашей бабушки, у вас из подъезда в последнее время никого больше не выносили?
- В каком смысле?
- В каком?! В прямом! Я спрашиваю: мертвые души в вашем подъезде еще есть? Если подскажите — буду очень признателен. Могу дать на семью еще два талона на бесплатный анализ крови. Или на кардиограмму...
- Но-о... я-я...
- Сидоренко, войдите в положение: мне у всех спрашивать неудобно, но что поделаешь, если у врача нынче — каждый пациент, живой или мертвый, на особом счету!



ПОДПИСКА

на журнал

«РАДУГА»

во всех отделениях

УКРПОЧТЫ

подписные индексы:

74420, 95025

(льготный для библиотек)

**Сделайте подарок себе,
своим родным и близким!**

По вопросам редакционной подписки обращайтесь:

rdga1927@gmail.com

Адрес редакции журнала «Радуга»: 01030, Киев-30, ул. Б. Хмельницкого, 51-А.
www.raduga.org.ua, E-mail: rdga1927@gmail.com.

Подписано в печать 20.11.2018. Формат 70 × 100 ¹/₁₆. Печать офсетная.
Усл. п. л. 17,74. Усл. кр.-отт. 20,32. Заказ. №

Отпечатано в типографии ООО «Бизнесполиграф»
02094, г. Киев, ул. Вискозная, 8.

Рисунки из альбома арт-студии Клавдии Боголюбовой
«Мне это рассказал Исаак Эммануилович...»



Камилла Наамауи, 12 лет, рассказ «Закат»



Елизавета Гоян, 15 лет, рассказ «У Бабушки»



Андрей Боголюбов, 15 лет, рассказ «Король»



4820092 430013

ПОДПИСНЫЕ
ИНДЕКСЫ
74420, 95025

ПОЭЗИЯ:

Виктор Шендрик, Инна Лесовая,
Андрей Коровин

УКРАИНСКИЙ МИР:

Юрий Ковальский.

Надо побеждать каждый день

